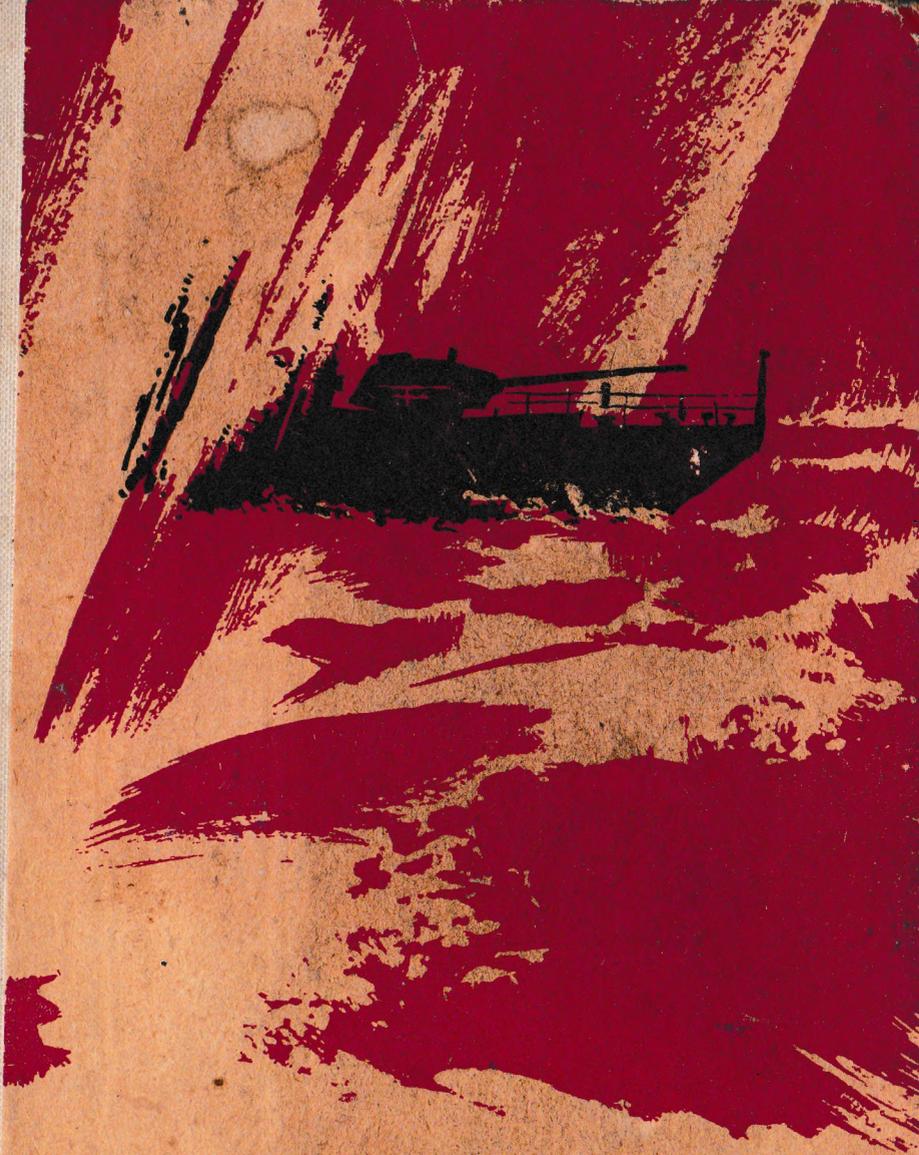


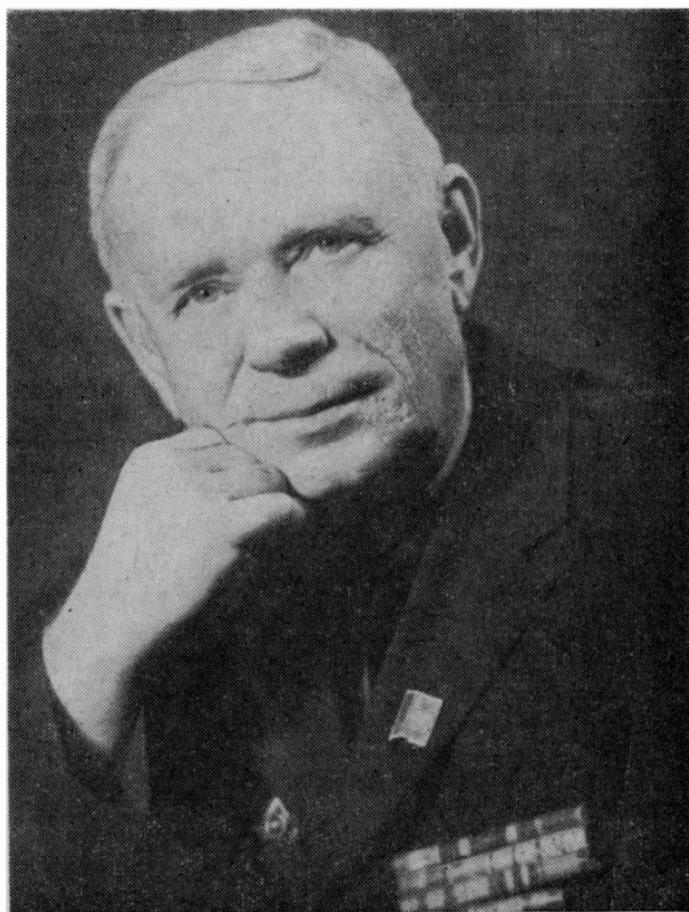
**ВПЕРЕД, ГВАРДИЯ!**



О. СЕЛЯНКИН

**ВПЕРЕД,  
ГВАРДИЯ!**





ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

# **ВПЕРЕД, ГВАРДИЯ!**

РОМАН

Издание второе,  
дополненное

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1975

Со многими героями романа Олега Селянкина «Вперед, гвардия!» читатель знаком по книге «Стояли насмерть», вышедшей вторым изданием в Пермском книжном издательстве в 1972 году. Действие в ней происходило во время обороны Ленинграда и Сталинградской битвы. В романе «Вперед, гвардия!» моряки-балтийцы, продолжая свой победный путь, воюют уже на Березине, Припяти, Нареве, принимают участие в штурме Берлина. В основу повествования автор положил многие действительные события из боевой жизни Днепровской речной флотилии.

© Пермское книжное издательство. 1975

## *Глава первая*

### **ПОКА ОРУДИЯ НЕ ЗАРЯЖЕНЫ**

#### 1

Сквозь метель пробиваются эшелоны от Волги к Днепру. Временами на железнодорожное полотно косматым валом накатывается снег, платформы тонут в нем, и тогда кажется, что катера сами, нацелившись в небо зачехленными стволами пушек и пулеметов, несутся по снежным волнам.

Это гвардейцы Сталинграда продолжают наступление.

Мимо развалин станций и щербатых от пуль и осколков печных труб проходили на фронт эшелоны.

На катере Мараговского не слышно ни обычных песен, ни шуток, ни дробного перестука костяшек домино. Лишь изредка поднимется кто-нибудь из матросов, подбросит в печурку несколько чурок и сразу же вернется на свое место, где и будет лежать неподвижно, прислушиваясь к гневному гудению огня в печурке, к вою метели и надоевшему перестуку колес.

Мараговский забился в самый дальний и темный угол кубрика. Глаза закрыты. Веки вздрагивают. Еще недавно думал он, что легче ему станет, когда повернет к дому, пойдет на помощь няньке своей Украине. А вышло наоборот. С каждым часом, с каждой минутой все ближе и ближе она, и все острее и мучительнее душевная боль. Кто ждет, кто встретит тебя там, Даня Мараговский? Кого обрадуешь ты своим приходом?.. Никто не встретит. Никто не обрадуется.... Нет больше маленького черноглазого Митьки... Не свернется он теплым калачиком у тебя на руках, не раздвинет тонкими пальчиками твои зажмуренные веки и не крикнет радостно:



— Мама! А папа смотрит! Видишь, у него в глазу щелочка!..

Мараговский судорожно всхлипнул, заскрипел зубами и закрыл лицо полдой шинели. Матросы зашевелились на своих рундуках. Переглянулись Копылов с Жилиным, приподнялись и сели.

— И вот, братцы, был у меня еще и такой любовный инцидент, — с напускной веселостью начал командир отделения мотористов Хлебников и заскреб пальцем остриженный затылок, не зная, что соврать дальше.

— Иди ты со своим инцидентом знаешь куда? — злобно сказал Копылов, помолчал немного и начал: — Главный... А, главный... Я тебя учить не собираюсь. Не дорос я еще до этого... Помнишь, в прошлом году ты как-то сказал, что меня эта война не зацепила?.. Может, ты и забыл, а я помню... Душу ты нам рвешь своим молчанием! Понимаешь это или нет? Думать, главный, надо! И о себе, и о товарищах!..

Много кубриков, много в них матросов, и везде своя жизнь. И если на катере Мараговского, казалось, сам воздух был насыщен грустью, то у Никишина, наоборот, царило оживление. Александр сыпал шутками, смеялся и был неистощим на смешные истории. И только потому, что перед самой отправкой эшелона, из Сарепты, когда стало известно, что им приказано идти на Днепр, он получил письмо:

«Здравствуй, Саша!

Большое тебе спасибо за твою весточку! Все ребята передают привет, поздравляют с освобождением Киева и желают боевых успехов.

У нас нового ничего нет. Только разве то, что рассказывали всем о нашей поездке к вам. А так все по-прежнему.

До свидания, Сашок!

Л..... тебя Нюра».

А в классном вагоне свои разговоры, свои занятия. Капитан-лейтенант Чигарев, оставшийся за командира дивизиона, с глубокомысленным видом изучает лоцманскую карту Днепра. Вернее, не изучает, а притворяется, будто занят этим. Ему хочется сосредоточиться, он хмурит лоб, трет его пальцами и ловит себя на том, что вот уже несколько минут смотрит на Ольгу Ковалевскую. Она устроилась у окна и что-то вяжет. Клубок ниток лежит у нее на коленях, крючок неторопливо движется в

тонких пальцах. На лице Ольги такое спокойствие, словно не на фронт она едет, а сидит дома и поджидает мужа, который должен вот-вот прийти.

«Интересно, что у них произошло с Мишкой? — думает Чигарев, покусывая карандаш. — Перед отъездом посидели вдвоем с полчаса в ее каюте, потом Мишка выскочил оттуда злой, как сто чертей, схватил вещи и ушел на пароход. Даже рукой не помахал ей на прощанье».

— Ольга Алексеевна, Михаил что пишет? — спросил Чигарев и, заложив прокладку между страниц, захлопнул лоцманскую карту.

Ковалевская, как ему показалось, покраснела, вскинула глаза и ответила с удивительным спокойствием:

— Прислал одно письмо из Москвы и замолчал. Как в воду канул.

На Мишку это похоже. Он с большей охотой на любое задание идет, чем за перо берется.

— Так, значит, больше и не пишет? — чтобы поддержать разговор, спросил Чигарев.

Ковалевская еще ниже опустила голову. Чувствовалось, разговор неприятен ей.

Везет Мишке! С Ольгой, допустим, понятно: втюрилась, как говорится, по самые уши. А матросам-то что? Только услышали его имя — сразу затихли разговоры в соседнем купе. Крамарев даже свесился с третьей полки, терпеливо ждет, не скажет ли Ольга, где и что делает Норкин.

У Чигарева пропала всякая охота разговаривать. Он прислонился плечом к стенке вагона, прижался лбом к холодному стеклу. За окном снежная кутерьма, сквозь которую не пробиться человеческому глазу.

Ну, скажите, почему так получается, а? Почти три месяца нет здесь Норкина, а его все еще помнят. За что так любят его? Он ни перед кем не заискивал, никому не делал скидок на дружбу или на боевые заслуги. Порой бывал даже излишне строг, даже придирчив. А вот его вспоминают, тепло отзываются о нем.

У Норкина они с удовольствием выполняли любое дело. У Чигарева же только служат. Михаил умел найти подход к каждому, бывало, и пошутит с кем-то по-товарищески, но всегда все чувствовали какую-то невидимую грань, переступить которую смелости никто не мог набраться.

И Чигарева матросы слушались, и ему оказывали знаки почтения, но все это было не то, далеко не то...

— Вы не заняты, Владимир Петрович? — спросил старший лейтенант Гридин.

Чигарев вздрогнул от неожиданности и поспешно ответил:

— Нет, не занят. А что?

Гридин, как всегда побритый и подтянутый, присел напротив него, облокотился на столик, пригладил рукой карманы кителя и сказал:

— Чуть-чуть неладно у нас получается. Заскучали матросы, да и разговорчики нежелательные появились.

— Например?

— Например, Мараговский открыто говорит, что всех полицаев вешать будет. «Предателей, — говорит, — я сам жизни лишу, а там пусть хоть под трибунал отдают. Дальше фронта не отправят».

— А что плохого вы видите в таких разговорах? — вскинул брови Чигарев. — Не целоваться же со сволочью?.. Если хотите знать, то для меня они хуже фашистов! Вот если бы Мараговский их оправдывать начал...

— И я не оправдываю, не защищаю их, — еще более понизив голос, продолжал Гридин. — Но ими займутся органы, те, кому положено...

— Знаете что, товарищ старший лейтенант, — зло перебил его Чигарев, демонстративно потянувшись за лощманской картой, — будем считать, что с этим вопросом покончено. Самосуда я не допущу, но и возражать против справедливой мести тоже не буду!.. Теперь о скуке... Я не конферансье, матросы не зрители... Мне, может быть, тоже скучно, да я молчу и делаю то, что полагается.

— Я, товарищ капитан-лейтенант, не о том, чтобы вы смешили матросов. В этом деле они нам сто очков вперед дадут, — сказал Гридин, покраснев от обиды. — Делом занять их надо! Сколько лежать можно? Без движения и ключевая вода становится затхлой!

Чигарев рассердился не на шутку. Уж очень много берет на себя Гридин. Вчера сам еще был матросом, а сегодня уже поучать взялся!

Старший лейтенант Гридин прибыл в гвардейский дивизион Норкина перед самым началом минувшей навигации. Худощавый, с лицом, усыпанным веснушками, он скорее походил на мальчишку, надевшего форму старше-

го брата, чем на заместителя командира дивизиона по политической части. Только орден Красного Знамени и медаль «За оборону Ленинграда» несколько смягчали первое впечатление. А из документов Норкин и Чигарев узнали, что Гридин матросом участвовал в обороне Хан-ко, и уже более благосклонно взглянули на своего нового товарища.

— Что ж, будем работать вместе, — сказал тогда капитан-лейтенант Норкин, протягивая руку.

На другой день Гридин начал знакомиться с матросами и командирами катеров-тральщиков. Он побывал на тралении, поиграл в футбол вместе с базовой командой, и Чигарев с удовольствием заметил, что замполита, хотя бы понаслышке, знают уже все, что он, в свою очередь, тоже познакомился со многими. Однако еще несколько дней капитан-лейтенант настороженно следил за каждым шагом Гридина: молодой, неопытный, вдруг ошибется. Сумеет ли он сам заметить ошибку и вовремя выправить? А это очень важно: матросы слова осуждающего не скажут, если ты сам сознаешься, что сомневаешься, как поступить в данном случае, но горе тебе, если ты всезнайка, если ты ставишь себя выше других! Тебя будут слушать внимательно, внешне — даже почтительно и... безжалостно высмеивать при каждом удобном случае. Тогда останется одно: писать рапорт и удирать из части, а еще лучше — и вообще из флотилии.

Но время шло, и успокоился Чигарев, а Норкин даже полюбил нового замполита. Гридин, или просто Леша, как его с глазу на глаз называл Михаил, быстро сошелся со всеми, к нему шли с просьбами и предложениями, обращались за советами. Этому способствовало, может быть, и то, что он еще вчера сам был простым матросом. Однако Норкин сказал как-то Чигареву: «Видно, у каждого политработника должна быть в характере черточка, располагающая к нему. Нет ее — нет и политработника».

Сегодня Гридин был неприятен Чигареву, и он с неприязнью подумал: «Небось к Мишке с таким советом не сунулся бы». Чигарев нахмурился еще больше и решил, что все это оттого, что он слишком либеральничает со всеми, что нужно быть поостроже.

— От скуки сегодня Копылов на ходу поезда спрыгнул. Учение «Человек за бортом» устроил, — продолжал Гридин, которому даже в голову не пришло, что у Чига-

рева может быть плохое настроение, что сегодня с ним вообще лучше не говорить о делах.

— Вот с этого и надо было начинать! Безобразничают? Взять в шоры! Посадить Копылова на десять, а Мараговского, чтобы впредь не распускал команду, — на трое суток!

— Я считаю...

— Вы поняли меня, товарищ старший лейтенант? — повысил голос Чигарев. — Или вы забыли, что я приказаний своих не отменяю?

Гридин поднялся, похуже, хотел сказать что-то обидное для Чигарева, но сдержался и вышел, козырнув на прощанье подчеркнуто официально.

Чигарев отвернулся к окну, покрытому замысловатым ледяным узором. Злость и обида не давали сидеть спокойно, казалось — мешали даже дышать.

Ну чем он не угодил им всем? И матросам, и офицерам? Зря не придирался, личных отношений на службу не переносил. А что получается? Все сторонятся его, уклоняются от дружеских человеческих разговоров. Некоторые же прямо осуждают его каждый шаг, каждое его приказание.

Почему?..

Чигарев тяжело вздохнул и лег на свою полку, так и не найдя ответа.

Темнота выползла из углов, из-под полок и растекалась по всему вагону. Дневальный зажег свечку и вставил ее в фонарь. Маленькое красноватое пламя вздрагивало, изгибалось под ударами невидимых струй воздуха. По стенам вагона замечались изломанные уродливые тени. При таком свете не считаешь. Остается лишь лежать, разговаривать с соседом или мечтать. Разговаривать не с кем. Все с Чигаревым почему-то держится настороженно. Правда, Ковалевская вроде бы подобрела за последние дни, но сейчас она лежит на полке и, кажется, спит. Чигарев видит ее голову. Косы змеями сползли на подушку и одеяло.

В соседнем купе спорят два молодых лейтенанта — командиры бронекатеров. Чигарев не может вспомнить их фамилии.

— Ну и застрянем в днепровской луже до конца войны! Целы будем, а пороху даже и понюхать не дадут! — горячится один. — Весь Днепр от немцев очищен! Что нам там делать теперь?

— Ты вечно в крайности бросаешься, — спокойно и даже немного ласково говорит другой. — Не такое сейчас время, чтобы гвардейцев отстранять от боев. Обживемся на Днестре за зиму, а весной начнем воевать...

— Где? Где и с кем ты воевать хочешь?.. Другое дело в Дунайской флотилии! По той речке идти да идти с боями!.. Выпадает же счастье людям... А мы и к Сталинградской битве опоздали, и теперь в обоз списаны!

— Не похоже...

— Не похоже?! А ну, взгляни на комдива! Взгляни! Сидит он в вагоне и на катера даже не заглядывает! Если бы воевать шли, то так бы он вел себя? Ни занятий, ни одной учебной боевой тревоги!

Голоса стали тише. Чигарев усмехнулся. Простота душевная! Не потому не занимаемся боевой подготовкой, что воевать не придется, не потому. Днестр длиннее, чем он кажется необстрелянным лейтенантам. По нему можно попасть на Березину, Припять, в Польшу, а там... Чем черт на войне не шутит? Реки и в Германии есть.

Скорей бы прибыть на место, узнать, какие перед флотилией поставлены боевые задачи, соответствующим образом составить план боевой подготовки. Вот тогда он, Чигарев, покажет, как надо учить матросов и как воевать!

По давней привычке Чигарев начал мечтать. Он отчетливо представил себе, как его дивизион, озаренный вспышками выстрелов, несется вперед, и только вперед. Разумеется, его посылают лишь в самые сложные походы, дают почти невыполнимые задания, и он всегда возвращается с победой. О нем говорят везде. Даже в Москве и там, в Берлине.

— Ну кто, дорогуша, так составляет заявки? — ворвался в сказочный мир голос майора Чернышева. — Никогда из тебя снабженца не получится! Сколько нам нужно снарядов? Сколько?

— Там точно указано, — оправдывался начальник боепитания.

— Вот за это я тебя и ругаю! — торжествовал Чернышев. — Увеличить в два раза! Немедленно увеличить! Глянет там начальство на нашу заявку, урежет часть, но мы свое все равно получим!

— А если не урежут? Солить снаряды будем или как?

— Как так «не урежут»? — искренне удивился Чернышев. — Где ты встречал такого снабженца, чтобы он

не урезал заявок? Я, дорогуша, воробей стреляный! Учись, пока меня от вас не забрали!..

Действительно, глупейшее, но справедливое внушение. Заявки на местах всегда завышаются, так как их обязательно урежут, а урезают их потому, что они завышены. Все знают об этом и поступают так, ссылаясь друг на друга. Заколдованный круг какой-то!

Скоро разговоры смолкли. Только дневальный, борясь с дремотой, тенью слонялся по вагону. Ольга перевернулась на спину и закинула одну руку за голову. Ей не спалось, вопрос Чигарева растревожил ее. Почему не пишет Михаил? Ушел на особое задание, или... забыл?

Конечно, неприятно, когда тебя спрашивают о том, что пишет человек, которого люди считают близким тебе, а ты вынуждена молчать. Но Ольгу беспокоило и даже угнетало другое. Она уже не раз спрашивала себя: «Люблю ли я Михаила?» Спрашивала, пыталась ответить честно и не могла. Михаил нравился ей, она гордилась, что именно на ней он остановил свой выбор; когда ему бывало трудно или плохо, жалость овладевала Ольгой, в такие минуты ей казалось, что для нее нет никого дороже Михаила.

Проходили эти минуты, и Ольга вдруг замечала, что Михаил пугает ее своей нервозностью, порывистостью, становится невыносимым из-за мелочной придирчивости. И что больше всего задевало и обижало Ольгу, — она чувствовала, что не имеет над ним той власти, о которой пишут в романах; он живет какими-то иными интересами, нежели она. Временами она даже недоумевала, что могло сблизить их.

А ведь сначала казалось — все будет хорошо... Вместе с группой матросов, воевавших в морской пехоте, Ольга прибыла на Волгу. Она равнодушно встретила свое новое назначение: не все ли равно, где служить?

И вдруг среди командиров, которые встречали прибывших, она увидела Норкина. Это было так неожиданно, что Ольга даже не сразу поняла, почему все почтиительно разговаривали с Михаилом, почему каждое его слово моментально ловилось окружающими. Ольга видела только дорогое для нее худощавое лицо и чуть сутулые плечи. Он или не он? Да, это был Миша Норкин, ее любимый...

Потом, когда прибывшие познакомились со всеми но-

выми командирами, он подошел к ней и сказал непривычно робко:

— Здравствуй... те... А я и не ждал...

Ольга от волнения тоже не могла говорить. Она, помолчав, только и спросила:

— Может быть, я пойду?

Он ответил радостной улыбкой, поднял ее чемодан и пошел к домику, в котором размещалась санитарная часть.

— Не нужно... Я сама... Тебя ждут, — слабо протестовала Ольга.

— Помолчи, Оленька, — тихо ответил он, и она замолчала.

Вечером Михаил пришел к ней в комнату, и они, вспоминая прошлое, рассказывая о себе, просидели почти до утра. Много раз так было. Михаил явно не выспался, осунулся. Она заметила это и сказала:

— Тебе, Миша, нужно нормально отдыхать. Ты сам на себя не похож.

Он начал спорить, доказывать, что ему даже полезно бодрствовать по ночам, но она оказалась непреклонной.

— На тебя, Миша, сотни глаз смотрят, а ты днем слоняешься как сонная муха, — продолжала убеждать Ольга. — Да и неудобно...

Норкин уступил. Разумеется, и теперь, если не было налетов авиации, они в укромном уголке просиживали вечера, но старались все это делать незаметно для других.

А через несколько дней Михаил и сказал, разминая пальцами папиросу:

— Давай поженимся, Оля?

Сказал каким-то обыденным тоном; стало обидно, немного страшно, неприятно. Она чуть отшатнулась от него и ответила:

— Фу, как грубо!

— Хочешь, чтобы я, как в романах, встал на колени и предложил руку и сердце?

— Нельзя же и так... Словно в кино сходить предлагаешь...

Тогда Норкин очень обиделся и два дня упорно стоял на своем.

Сколько раз после этого они ссорились и мирились! И все из-за пустяков...

А в день отъезда Михаила, кажется, разошлись окончательно.

Ольга позже всех узнала о его отъезде, сидела в каюте и волновалась: придет проститься или нет? Ведь только вчера поссорились.

В это время и слышались торопливые шаги Норкина, а еще через несколько секунд он порывисто вошел в каюту, опустился на кровать и сказал, бросив фуражку рядом с собой:

— Оля, давай поговорим серьезно.

Она взглянула на него глазами, блестящими от счастья, и чуть было не бросилась к нему. Ее остановило странное выражение лица Михаила. Его глаза были такими холодными, словно он пришел сюда лишь для того, чтобы отомстить за какую-то смертельную обиду.

— Что ж, поговорим, — ответила Ольга.

— Дальше так продолжаться не может, — сказал Норкин, упорно глядя куда-то в сторону.

«Вот оно, начинается», — подумала Ольга и даже подалась к Михаилу. А он, не заметив ее порыва, продолжал:

— Ты не любишь меня — это ясно.

— Ты так думаешь? — иронически спросила она.

— Это и ребенку ясно... Ты, Ольга, во многом изменилась.

— Не замечала.

— Ты омещанилась. От безделья, что ли, — зло сказал Норкин и сегодня впервые посмотрел на Ольгу. Она сидела прямо. Ее лицо побледнело.

— Что же ты замолчал? — спросила она, сдерживая волнение. — Тебе не понравилось, что я не бросилась к тебе на шею? Так ведь?

Михаил понял, что наговорил лишнего, что нужный разговор не состоится, но не хотел сознаться в этом и, сам не желая того, припомнил Ольге и ее слова о более спокойной должности, и то, что она в последние дни избегала оставаться с ним наедине.

Наконец Ольга не выдержала, встала, подошла к столу и сказала, машинально перебирая свои вышивки:

— Мне кажется, Михаил, что сегодня нам лучше прекратить разговор. Ты почему-то возбужден и говоришь сам не зная что...

И этот спокойный, почти дружеский тон окончательно сразил Норкина. Он понял, что Ольга не только пра-

ва, но еще и жалеет его. Стало обидно от того, что она оказалась выдержаннее, и это, конечно, потому, что не любила. Михаил поднялся, рывком надвинул фуражку почти до бровей и сказал, направляясь к двери:

— Все ясно.

Вот так они и расстались...

Разумеется, Ольга во всем виноватым считала только Михаила; она и заподозрить не могла, что изменился не только он, но и она, и что эта перемена в ней самой произошла незаметно для нее. Еще в институте за ней ухаживали, часто напоминали о ее красоте, убеждали, что ее счастье — удачное замужество. Но тогда у Ольги была ясная цель: она хотела стать хорошим хирургом. Вот и преодолела многие соблазны. Попав на фронт, ревностно выполняла свои обязанности: это приближало ее к заветной цели. Тут и познакомилась с Норкиным, который, как и она, тоже стремился к своей цели — стать настоящим командиром. Познакомились и вроде бы полюбили друг друга.

Врач в бригаде морской пехоты и на дивизионе катеров, Ковалевская не видела раненых, почти всегда была свободна, и от скуки смотрелась в зеркало, вышивала, вязала. И мечта незаметно стала меркнуть, а вскоре и вовсе осталась в памяти лишь как фантазия милой, невозвратимой юности. Сгубили мечту безделье и скука. Вышивки и вязания заполняли дни и все чаще и чаще наталкивали на мысль, что она, Ольга, создана не для науки. И теперь в бессонные ночи она рисовала себе картины тихого семейного счастья в собственной уютной квартирке. Какое оно, это счастье, — и сама точно не знала. Ясно было лишь одно — не Норкин принесет его.

Значит, порвать с Михаилом? Кажется, правильно и логично. Но в глубине души Ольги чуть теплилась надежда на то, что Михаил вдруг остепенится, поймет ее. А разве плохо быть женой человека, которого все уважают, ценят, который прочно занял свое место в жизни?

Да и трудно отказаться от Норкина, от всего хорошего, что раньше в мечтах связала с его именем. Особенно здесь, где на каждом шагу ее подстерегают воспоминания о нем, когда здесь все связано с его именем.

Неужели с Норкиным все уже кончено?.. Обидно, когда тебя бросают...

Равнодушно переругивались колеса. Вагон дрожал, скрипел, мотался из стороны в сторону на стрелках ред-

ких станций. Свеча оплыла, длинное коптящее пламя тянулось к потолку. Дневальный, видимо, задремал или задумался и не замечал этого.

## 2

Штаб бригады разместился в Киеве. Контр-адмирал Голованов хозяином прошелся по четырехэтажному дому, отведенному под штаб бригады, осмотрел его, сказал, кому где располагаться, а себе облюбовал угловую комнату на втором этаже.

— Вот здесь пока и осяду, — сказал Голованов. — Только оборудовать ее надо так, чтобы и отдыхать можно было.

Желание контр-адмирала учли: в кабинете поставили большой письменный стол с массивным чернильным прибором (Голованов считал, что адмирал, как и солдат, может обходиться или без всего, или должен иметь все, соответствующее его чину), несколько стульев, два кресла и книжный шкаф со стеклянными дверками. Изворотливые снабженцы достали не только бархатные шторы на окна, но даже и книги, которые Голованов сам расставил по книжным полкам.

Голованов и Ясенев сидели в кабинете. Они уже больше часа говорили о дивизионе Чигарева.

— Это твоё окончательное мнение? — спросил Голованов, перебирая радиogramмы, лежавшие у него на столе.

— Окончательное, категорическое! — Ясенев прошелся по кабинету, подошел к окну, присел на подоконник и продолжал с той же горячностью: — Хотя Норкин еще и не приехал, Чигарева мы не можем оставлять комдивом ни на час... Опять в нем зашевелился этот проклятый червяк себялюбия! А как же иначе? Командир такого дивизиона — не баран начихал! Много людей в подчинении, много уважения, а хлопот — и того больше!.. Вот и получилось: головка от радости закружилась, нос к небу лезет. Мечется, хватается за все сразу, советов не принимает...

— Не пойму, что же сейчас происходит в дивизионе? Спячка или горячку порют? — перебил Голованов, встал и тоже подошел к окну.

— Спячка на бешеном галопе! — почти крикнул Ясенев.

— А зачем табуретки ломать? Ну, не клеится у Чигарева, ну, зарвался на первых порах... Насколько мне известно, и у твоего Норкина срывы бывали, когда его впервые командиром роты назначили. Или я запомнил?

— Почему «у твоего»? Ты сам первый предложил вызвать его сюда.

— Да успокойся, пожалуйста!.. Ничего страшного пока не случилось.

Да разве будешь спокойным, если тот, кому ты верил, обманул твои надежды?! Не он ли, Ясенев, уговорил Голованова назначить Чигарева командиром дивизиона вместо Норкина? Он!.. А теперь самому приходится настаивать на его снятии... Обидно и за Чигарева, и за свою доверчивость.

И не в одном Чигарева дело. Неполладки в дивизионе (прав Голованов) — лишь капля, которая, упав, переполнила сосуд. Неприятности, откровенно говоря, начались еще с самого отъезда из Сталинграда. Когда узнали, что катера перебрасываются на Днепр, среди офицеров нашлись и такие, которые заявляли во всеуслышание:

— Отвоевались! Теперь будем до конца войны на Днепре лягушек гонять!

Своевременно не дали отпора — разговорчики возымели свое действие: кое у кого появилась беспечность и даже равнодушие к судьбе Днепровской флотилии.

— После войны все создадим, восстановим, а сейчас воевать надо, — говорили некоторые, и поток рапортов с просьбой списать из гвардии и направить на фронт хлынул к командирам частей.

Сама обстановка на фронтах подталкивала матросов на этот шаг. Действительно, в прошлом году Советская Армия разгромила немцев на Орловско-Курской дуге, освободила почти всю Украину! Единственное, что тогда успокаивало и сдерживало матросов — они в то время очищали Волгу от вражеских мин.

Потом были долгие зимние месяцы, заполненные лишь ремонтом катеров и боевой подготовкой. А Советская Армия за это время:

в январе развернула наступление Волховского и Ленинградского фронтов и сокрушила кольцо вражеской блокады вокруг Ленинграда;

во второй половине февраля из района озера Иль-

мень перешли в наступление войска 2-го Прибалтийского фронта;

в феврале войска Украинских фронтов блестяще завершили Корсунь-Шевченковскую операцию.

Ясенев понимал, что, когда кругом творилось такое, даже самая серьезная боевая подготовка не могла удовлетворить нормального человека. А если к этому добавить, что многие матросы бригады служили уже по седьмому году, то и вовсе станет ясно, что сколько ты ни внушай матросу: дескать, мы тоже не бездельничаем, дескать, командование не забыло о нас, — он смотрит на тебя исподлобья и твердит одно:

— А чем я хуже тех? Почему им можно врага лущить, а мне положено только боевой подготовкой заниматься?

Таково было настроение большинства матросов, а флотилию нужно было создавать заново не потом, а сейчас, немедленно. Ведь на Днепре не оказалось ни кораблей, ни баз. Исчезло даже оборудование из мастерских: фашисты взорвали всё, что не смогли или не успели вывезти.

Работы было много, а события торопили, подстегивали: хотя Днепр и был еще скован льдом, хотя и стояли недвижимы на клетках боевые катера, в штабе Голованова почти не умолкали телефонные звонки, шифровки пачками ложились на стол контр-адмирала.

— Когда катера смогут доставить бензин и взять на себя охрану переправ? — запрашивали из-под далекого Мозырьска.

— Материальные ресурсы изыскивайте сами, — усталым голосом в который уже раз брюзжал недовольный снабженец.

«Разработайте план боевых операций на период весеннего половодья», — требовала радиограмма.

И все нужно обдумать, подготовить, всем ответить, а тут еще и Чигарев...

Голованов вздохнул, пригладил рукой волосы и сказал, возвращаясь к столу:

— Приехал Норкин.

— Когда? — спросил Ясенев и весь подался вперед.

— Часа два назад его видели на вокзале.

— Прямо в часть ушел?

Контр-адмирал покачал головой. Нет, на Норкина не похоже. Основные правила службы он знает, уважает и

даже любит их и не нарушит без особой причины. Но сомнение вкралось в душу. Разумеется, нет ничего страшного и в том, если он прошел прямо в часть. Только обидно: о нем здесь думают, заботятся, может быть, даже и любят той скупой фронтовой любовью, которая не позволяет давать волю чувствам, а он не ценит этого. Разве не они с Ясенывым упросили наркома отозвать его с Волги и отправить на курорт, а теперь вновь вытребовали к себе?

— Что ж, у него там дружки, — не то с грустью, не то с завистью сказал Яснев.

— А мы с тобой для него кто? — резко повернулся Голованов, насупился и тем самым окончательно выдал себя.

В это время в кабинет и вошел Норкин.

— Разрешите войти, товарищ контр-адмирал? — спросил он.

Голованов вскинул на него глаза и ответил, усмехнувшись:

— Входи, пропавшая грамота.

Сказал адмирал три слова, но сказал просто, душевно, и Норкину почудилось, что он попал домой и перед ним не строгий начальник, а родной отец, соскучившийся о сыне. И готовая фраза: «Прибыл в ваше распоряжение», — выученная за годы службы фраза, которую он слышал и сам произносил много раз, вылетела из головы.

— Приехал, — сказал Норкин и как-то по-детски радостно и открыто посмотрел сначала на Голованова, потом на Ясенева.

Адмирал встал, вышел из-за стола, остановился около Михаила и протянул ему руку.

— Ну, здравствуй, раз приехал. Где пропадал? Поезд давно пришел.

— В перукарню забегал. Зарос немного за дорогу, — ответил Михаил, радостно улыбаясь.

— Слышишь, комиссар? — Голованов повернулся к Ясенеvu, словно приглашая его в свидетели. — Он уже одно украинское слово выучил!

Яснев не отрываясь смотрел на Норкина, прощупывая глазами каждую морщинку на его лице, отметил и аккуратно подогнанный китель, и щегольскую фуражку с чересчур острыми и широкими краями. Последнее не соответствовало установленной форме, но Яснев этому даже обрадовался: следит за своей внешностью,

франтит — значит, настроение прекрасное, значит, оправился после минной войны на Волге. Ишь, глаза так и брызжут смешинками!

— А с комиссаром почему не здороваешься? — добродушно подзуживает Голованов и легонько толкает Норкина в плечо. — Да вы обнимитесь, обнимитесь! Сегодня разрешаю, а потом — не обессудьте!

Прошли первые минуты встречи, и вот Норкин уже сидит около стола. Продолговатое, сухое лицо Голованова неподвижно. Его глаза из-под лохматых бровей смотрят строго, ничем не выдавая того, что адмирал рад и приезду Норкина, и тому, как он выглядит.

— Сегодня же принимайте часть, — тихо, но властно говорит он, и Норкин невольно выпрямляется на стуле. — Сроку даю месяц. Потом инспекторская проверка со всеми вытекающими из этого последствиями. Ясно?

— Так точно.

— Особых инструкций не даю: сами увидите, с чего начать. Одно скажу... Готовить дивизион нужно к боям. К тяжелым боям... Вопросы есть?

— Каковы силы нашей флотилии?

— Понимаешь, — начал было Яснев, но Голованов перебил его:

— Он должен знать все, и скажем без дипломатии: флотилия только создается. Например, наша третья бригада пока вместо четырех дивизионов имеет лишь твой.

По тому, каким тоном было сказано все это, Норкин понял, что адмиралу не совсем приятно говорить об этом, сразу заторопился и спросил:

— Разрешите идти, товарищ контр-адмирал?

— Идите, — кивнул Голованов. — И помни: как только Днепр освободится ото льда, работы, думаю, тебе хватит.

Норкин встал, повернулся и, твердо ставя ноги, вышел из кабинета, бесшумно притворив за собой дверь.

— Каков, а? — не удержался Голованов и подмигнул Ясневу, показав глазами на дверь. — Я теперь с него не слезу, пока все хвосты не вытянет!..

А Норкин, сдвинув фуражку немного на затылок, вышагивал по улицам Киева, чутьем угадывая дорогу к Днепру. Чертовски хорошо, что вернулся в свою часть! И ничего-то тебе не страшно, и даже слякотная погода кажется чудесной!

Вдруг улица резко повернула, пошла под гору и над крышами домов стала видна белая полоска реки. Приукрасил Гоголь! «Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире». Откровенно скажем, прибавил Николай Васильевич, прибавил! Тут по кораблям с обоих берегов прямой наводкой можно бить. Не Волга. Здесь не разгуляешься на просторе.

И если крестьянин, где бы он ни оказался, в первую очередь пытается определить, на что способна эта незнакомая для него земля, что уродит она, то Норкин мысленно уже воевал здесь, решал за врага задачу обороны Днепра. И пришел к выводу, что многое можно использовать, но одно неизбежно: кинжальные батареи. Будут ли это танки, вкопанные в берег по самые башни, или орудия, замаскированные в кустах, но они будут непременно. Против них бороться будет трудно...

Чем ближе Днепр, тем больше моряков. Некоторые из них неторопливо идут в город, но большинство спешит куда-то. И ни одного знакомого! Неужели здесь волжан нет?.. Что ж, возможно: фронт велик. Одно немножко обидно: бежит мимо матрос, развеваются у него за спиной черно-оранжевые гвардейские ленточки, а ты его не знаешь. Новичок этот матрос... Хотя почему новичок? Может быть, он уже не раз бывал в боях и кровью своей заслужил почетное звание гвардейца?.. Все может быть.

Норкин рванул на себя дверь проходной, вошел в узкий коридор. Вахтенный подался ему навстречу и замер.

— Что как на привидение уставился, Копылов? — усмехнулся Норкин. — Ни здравствуй, ни прощай так и не скажешь?

— Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант! — так рявкнул Копылов, вскинув автомат «по-ефрейторски на караул», что из окошечка бюро пропусков высунулся дежурный.

— То-то! — усмехнулся Норкин, очищая снег с фуражки и шинели. — Еще раз прозеваешь начальство — жизни не жди!

— Есть, начальство не прозевывать! — с особой лихостью ответил Копылов и прижался к стенке, уступая дорогу.

На берегу Норкин увидел катер, и показалось ему, что пахнуло на него свежестью воды, запахом краски и мокрых тросов. Казалось, еще немного — и раздастся

знакомый плеск волны... Но это только казалось. Красные днища катеров покоились на клетках. Не вился дымок из труб камбузов, не было заметно движения на палубах. Только несколько вахтенных с красно-белыми повязками на рукавах полушубков уныло поглядывали на город, растворяющийся в снежной пелене. Норкина раздражали безмолвные, безжизненные катера и сонная одурь, борясь с которой томились вахтенные на своих постах. И он отвернулся от катеров, зашагал к казарме, поднялся на крыльцо и открыл дверь. У входа незнакомый матрос со штыком на поясе. Он долго вертел в руках удостоверение Норкина, несколько раз сличал фотографию с оригиналом и вдруг крикнул:

— Смирно! Товарищ капитан-лейтенант! Дневальный по первому отряду бронекатеров — старший матрос Незнайко!

— Вольно.

А по коридору уже бежал офицер, придерживая рукой подпрыгивающую кобуру. Норкин усмехнулся и ждал его.

— Товарищ капитан-лейтенант, — тихо говорит Селиванов, и не поймешь, то ли от радости, то ли от неожиданности не может больше сказать ни слова и лишь часто-часто моргает длинными ресницами.

— Здравствуй, Леня.

— Здравия желаю... Здорово, чертушка! Пойдем ко мне в дежурку, пойдем! Посидим, поговорим! А ты, Незнайко, чуть что — посигналишь! — Селиванов сыпал словами, обнимал Норкина, подталкивал его.

— Подожди, Ленчик, сначала Чигареву покажусь.

— Нет его! Сразу после завтрака ушел с Ковалевской в кино, ведь сегодня воскресенье!

Это сообщение неприятно кольнуло. И года не прошло, а она уже с другим. Да и Володька тоже хорош! Задрал хвост морковкой и побежал за юбкой, дивизион бросил!

— Ознакомь меня с размещением личного состава, — сказал Норкин и неторопливой хозяйской походкой зашагал по коридору.

Но так и не удалось Норкину в этот день осмотреть свои владения. Едва они с Селивановым вошли в первый кубрик, как попали в настоящее окружение: матросы спрыгивали с нар, спешили изо всех углов. Конечно, это было нарушение устава, однако Норкин не мог и не хо-

дел поступать иначе: он пожимал руки, тянущиеся со всех сторон. Только начали немного успокаиваться — дверь настежь, и новая группа матросов во главе с Никишиным ворвалась в кубрик.

— Здравия желаю! — кричит Никишин, локтями пробивая себе дорогу.

Много, очень много знакомых лиц, но есть и такие, которые Норкин видит впервые. С ними он сам старался заговорить, чтобы хоть немного ознакомиться.

Здесь, в матросском кубрике, Чигарев и нашел Норкина, предложил:

— Может, ко мне пойдем, Михаил Федорович?

Кабинет у Чигарева просторный. «Словно специально для оперативок приспособлен», — подумал Норкин. Большой письменный стол солидно расположился в углу, а на нем — обыкновенная ученическая непроливашка. Четыре колченогих стула, кровать под серым одеялом — вот и все убранство жилища командира дивизиона.

— Бедновато живешь.

— И не говори! — живо откликнулся Чигарев. — Семенов и это конфисковать хочет. Для дома начсостава.

— Какой Семенов?

— А наш, с Волги. Он здесь тылом заворачивает... Дела когда принимать будешь?

— Сейчас. Коротенько сообщи обстановку общую, а подробнее — у дивизионных специалистов узнаю... И еще одно, Владимир Петрович... Останешься со мной работать?

— Нужен, что ли? — тихо спросил Чигарев, стараясь скрыть волнение.

— Привык к тебе.

Чигарев хрустнул пальцами и молчал. С улицы доносились приглушенный снегом мерный шаг матросов и знакомые слова песни:

Сталинград мы не сдадим,  
Волжскую столицу!

Даже песня примчалась сюда с берегов Волги...

— Ну?

— Трудно, Миша... Как-то вдруг...

— Ладно, отложим этот разговор на завтра, — согласился Норкин.

— Нет, не отложим, а просто пока помолчим немного.

Норкин бесшумно вздохнул, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, словно устал с дороги и готовился вздремнуть.

— Разрешите, товарищ капитан-лейтенант? — спросил Гридин, входя в комнату.

— Нет, не разрешаю, — сухо ответил Норкин.

Гридин в нерешительности остановился. Неужели он ослышался? Или шутит Михаил Федорович?

— Я вас вызову, товарищ старший лейтенант.

Гридин даже не скрывал обиды, он покраснел и исчез за дверью.

Чигарев все слышал, видел и понял. Норкин не злорадуется. В душе, может быть, и ругает, крепко ругает его, Чигарева, но не враг он ему. Сразу стало легче. Однако с ответом Чигарев не торопился. Хотелось еще раз обдумать все, решить окончательно. Разве затем, чтобы его понижали в должности, с таким трудом он добивался возвращения в действующие части? Конечно, нет! Он хочет служить... Может быть, попроситься в другую часть?.. Пожалуй, так и нужно сделать..

Решение, казалось, созрело, оставалось только высказать его, и тут Чигарев почувствовал, что никогда не сможет поступить так, не сможет убежать ни от Норкина, ни от дивизиона, ставшего родным за этот год.

Вспомнились и госпиталь, в котором он лечился и где его признали инвалидом, и мама, так просившая, чтобы он остался дома. Да, он инвалид, он имел формальное право остаться дома, но пошел к командующему флотилией, а когда тот отказал в просьбе — добился приема у заместителя наркома. Вице-адмирал молча просмотрел его личное дело, прочитал последнюю аттестацию и сказал, выдерживая паузу после каждой фразы, словно давая возможность обдумать сказанное:

— Оказывается, вы с гонором... С коллективом уживаетесь плохо...

Чигарев хотел сказать, что все это в прошлом, но вице-адмирал, видимо, решил, что он собирается оправдываться, и продолжал, предостерегающе подняв палец:

— Я верю написанному... Тут есть и хорошее... Ваше желание похвально... Просьбу удовлетворим, но на какие-либо привилегии не рассчитывайте. Сами решим, на что вы годны... Идите в управление кадров...

Все время — от Ульяновска, где тогда размещался наркомат Военно-Морского Флота, до штаба дивизиона

Норкина — в душе Чигарева боролись два чувства. Ему хотелось как можно скорее начать работать, вновь почувствовать себя не иждивенцем, а необходимым человеком. Но, стоило подумать о том, что предстоит встреча с Норкиным, — настроение сразу портилось, появлялось желание оттянуть неизбежную встречу хотя бы на один день. Однако, поразмыслив на досуге, Володя решил, что лишний день ничего не даст, что неприятного разговора с Норкиным все равно не минуешь, и даже дома в Саратове не задержался.

Норкин встретил его так, словно и не было между ними никогда столкновений. Вместе уничтожали последние фашистские мины на Волге, а потом Михаила и отравили лечиться. И вот он, Чигарев, остался за командира дивизиона...

Не справился — это ясно. Неужели только в зазнайстве корень ошибок?.. Ох, тяжело сознавать, что ты сам виноват в крушении своих планов...

Что же делать сейчас, что? Остаться у Михаила начальником штаба?.. А Ольга Ковалевская?.. Уж ее-то он и вовсе не надеялся встретить в дивизионе Норкина. Она, пожалуй, стала еще красивее. И словно забыла ту неприятную встречу под Москвой: разговаривает как с другом. А легко ли Чигареву? Объясняться в любви нет смысла: они с Михаилом с прошлого года любят друг друга; сунешься с объяснениями — друзей потеряешь, посмешищем всего дивизиона станешь...

Что же тогда делать? Может быть, действительно, уйти из дивизиона? Ведь не сможет он сдерживать себя до бесконечности. Вдруг прорвется?.. Нет, нельзя и уходить. Подумают, что напакостил и сбежал...

— Согласен, — тихо, но твердо и даже с каким-то ожесточением сказал Чигарев.

Норкин вскинул на него потемневшие глаза.

— Чего пялишься? Думаешь, вру? — не выдержав этого взгляда, спросил Чигарев.

— Нет, верю.

— Ни черта ты мне не веришь!.. Думаешь, не понимаю, что слаб еще самостоятельно командовать? Думаешь, хочу пересидеть горячее время за твоей спиной, а потом воспользоваться моментом и снова забраться на твое местечко?

— И так не думаю.

— Так чего же смотришь так, чего? — голос Чигарева постепенно повышался и теперь перешел на крик. — Мне бы только служить, пользу людям приносить! В действующей части быть! А кто ею командует — какое это имеет значение?

— Вот теперь врешь.

Чигарев неожиданно почувствовал себя слабым, беспомощным перед спокойствием Норкина.

— Не кривляйся, Володя, — продолжал Норкин. — Не для того нас учили, чтобы мы командные посты другим уступали... Я понимаю тебя. Тяжело сдавать часть, которую привык считать своей...

— Этого не отрицаю!

— И хорошо делаешь... Не такое сейчас, Володя, время, чтобы личными переживаниями заниматься. Не обижайся, но как командир дивизиона ты здорово начудил... Почему у тебя все живут в казармах, а не на катерах? Деревянные нары в три этажа, матросы на них как куры на насесте, а ты где? Куда смотришь? Где твоя противовоздушная оборона стоянки катеров? Ни одной огневой точки я не видел!

— Так ведь...

— На каждом катере есть пушки и пулеметы? Или указаний не было? А зачем у тебя голова?.. Мало я разговаривал с матросами, но и то узнал, что боевая подготовка в дивизионе своеобразная: «Отход, подход, приветствия на ходу и на месте». Ишь, какую темку откопал!.. Не спорю — это тоже дело нужное, стоящее, но... не главное!

Долго еще Норкин отчитывал Чигарева. Тот молчал. Слова Норкина лишь подтвердили его мысли, привели в систему, и он в душе уже ругал себя за то, что не набрался смелости поспорить со штабом бригады или самостоятельно изменить план боевой подготовки.

— Давай, Владимир Петрович, так условимся: сегодня покончим с этим разговором и возвращаться к нему не будем. Завтра — собирай штаб и составляйте новый план боевой подготовки. Основное ее направление тебе понятно?

— Подготовка к боям в условиях узкого и мелководного речного театра?

— Ишь, какой формулировочкой отчеканил! — добродушно усмехнулся Норкин, подождал немного и крик-

нул: — Рассыльный! — И едва тот открыл дверь: — Попросите ко мне старшего лейтенанта Гридина.

Гридин словно ожидал вызова и вошел почти сразу после того, как исчез рассыльный. Теперь на его обветренном лице не было ничего, кроме обиды, которую он неудачно пытался скрыть под маской официальности.

— Старший лейтенант Гридин явился по вашему приказанию, — сказал он, глядя на Чигарева, стараясь подчеркнуть этим, что иного начальства пока не знает.

— Я звал тебя, Леша... Может, поздороваемся? — И Норкин встал, протянул руку.

— Здравия желаю...

— Ну и обидчивый ты! — засмеялся Норкин, рывком притянул его к себе и обнял. — Нельзя, брат, так. — И шепотом в самое ухо: — У меня, может, есть на этот счет свои соображения?

Немного погодя все трое уже сидели за столом и с жадностью поедали обед, вовремя подсунутый догадливым коком. Говорили много о боевой подготовке, о возможных боях, и вдруг Норкин отставил в сторону стакан с чаем, закурил и спросил, выпуская к потолку струйку дыма:

— Как же это вы, други мои, Мараговского прозвали?

Гридин и Чигарев переглянулись.

— Он, говорят, руки опустил от тоски... Хлестнуть его так, чтобы волчком завертелся!

— Не согласен! — моментально отозвался Гридин. — У человека душевная травма, а мы его хлестать? Партия учит нас бережно...

— Значит, боевую подготовку побоку и лечить травму? — хитро прищурился Норкин.

— Отойдет, а тогда...

— Ты, Лешенька, философию мне не разводи! Пробовали отыскать следы жены Мараговского?

— Несколько раз увольнительную давали, а он с катера ни ногой.

— Сами искать будем — неожиданно вспыхнул Норкин. Глаза его опять потемнели, губы сжались в полоску. — Вот тут-то вы и не пощадили его. А вдруг она не найдется?.. То-то и оно... Завтра же навести справки, опросить соседей, если они найдутся... Ищите, одним словом!.. Может, на боковую пора? — закончил он опять же неожиданно мирно.

В казарме так тихо, что Норкин слышит, как тикают его часы, лежащие на тумбочке рядом с кроватью. Он отворачивается лицом к стене, натягивает на плечи колючее серое одеяло, пытается мысленно считать до сотни, но сразу же сбивается. Глаза открываются сами собой. Еще несколько бесплодных попыток, и вот он уже лежит на спине, смотрит на мерцающий огонек папиросы и думает, думает.

И если с дивизионом скоро все становится сравнительно ясным, то Ольга Ковалевская долго не выходит из головы. Почему у него с ней все так получается? Кажется, любили друг друга. Мечтали о встрече. А встретились... Да, Ольга всегда охотно выслушивала его планы, заботилась о нем, но стоило ему заговорить о любви, женитьбе, тут же умолкала, как бы отходила в сторону. Лишь однажды у нее вырвалось:

— Ну какие мы с тобой, Миша, муж и жена? Должность у тебя беспокойная, ты себя не бережешь... А если у нас будет ребенок? Вдруг мы с ним останемся без тебя?

Интересно, на что она намекала, когда сказала, что у него должность беспокойная?.. Верно, беспокойная. Что ж, искать тихое и теплое местечко?.. Нет, за такую цену он не согласен покупать себе счастье. Ведь оно, счастье, не только в том, чтобы сидеть дома и любоваться красавицей женой. Какая уж тут счастливая жизнь, если ты вечно будешь чувствовать себя виноватым перед товарищами, если... А как быть с совестью? Она не носовой платок. Ее в стирку не отдашь...

И если еще тогда, на Волге, он, может быть, и не понял Ольгу, то теперь все стало ясно: не любила она его никогда. И лучшее доказательство: уехал — и забыла его, уже с другим по театрам ходит.

«Ну, да это ее дело, а мы и так обойдемся», — решил Норкин, вздохнул и закурил новую папиросу.

### 3

Едва по казарме разлилась трель боцманских дудок, Норкин вскочил с койки, привычным движением натянул на себя брюки, тельняшку, зашнуровал ботинки и вышел в коридор. Там еще никого не было, кроме дневального. Михаил взглянул на часы и скомандовал дне-

вальному, который был готов мгновенно схватить любое его приказание:

— Боевая тревога.

И почти тотчас надсадно задрезжали звонки на всех этажах, вновь запели боцманские дудки и разногласно закричали дневальные:

— Боевая тревога!

На мгновение стало тихо, словно в замурованном склепе, а потом все здание задрожало, загудело от топота множества ног. Норкин сунулся было в один из кубриков и сразу отпрянул: прямо к его ногам с третьих нар, натягивая брюки, спрыгнул матрос. Норкин усмехнулся и ушел к себе. Он был доволен: матросы не забывали сигналов, не отвыкли исполнять команду.

Катера, стоявшие на клетках, обледеневшие и зятые брезентом, были похожи на каменные глыбы, присыпанные снегом. Почти невидимые в предрассветных сумерках, копошились матросы на своих боевых постах. Кто-то приглушенно чертыхался, пытаясь оторвать прихваченную льдом крышку люка. Норкин с Чигаревым, Гридиным и дивизионными специалистами медленно шли по проходу между катеров, прислушиваясь к отрывистым репликам матросов, упиваясь волнующими звуками: лязгом железа, шорохом чехлов, спадающих с пушек и пулеметов.

— В норму уложились, — сказал Чигарев, показывая карманные часы.

— А дальше что? — спросил Норкин и остановился так внезапно, что Гридин, шедший сзади, навалился грудью на его спину. — Дальше что, спрашиваю?.. Слушайте! — и Норкин предостерегающе приподнял руку, замер.

В городе, на спуске к Подолу, гудел мотор какой-то машины, глухие удары доносились с соседнего судостроительного завода, а здесь царил мертвая тишина. Катера словно вымерли. В другое время, перед боем, это всегда на Михаила действовало возбуждающе: та настороженная тишина была затишьем перед бурей. Еще мгновение — и грянет орудейный гром, вспышки выстрелов разорвут ночную мглу, и металлический град забарабанит по земле, занятой противником.

Сегодня не та тишина. Нет в ней взволнованной приподнятости. Не сжатая в комок воля, а вынужденное безделье породило ее. Разбежались матросы по своим

боевым постам, сорвали чехлы с орудий и пулеметов и замерли: что дальше делать? Ну, сидим на холодных решетчатых сиденьях. Ну, держимся за холодные рукоятки механизмов. А дальше что? Сидеть? Воля ваша.

— Начать учения, — распорядился Норкин.

— Правый борт! Курсовой сорок! — прокрипел над головой Норкина простуженным голосом Мараговский. — Огонь!

Лязг затворов, и задорный доклад Копылова:

— Противник уничтожен!

— Пробоина у семнадцатого шпангоута! — слышится вводная Никишина.

Минутная пауза, топот ног, и опять тот же беспечный, игривый ответ:

— Пробоина ликвидирована!

И так везде, на всех катерах: условный противник, условные повреждения, условное их устранение — и доклад. Только тон докладов разный. Если Копылов и некоторые другие играют, порой даже добавляют отсебятину вроде того, что видят танки или плавающую мину, то другие отвечают ворчливо, и за их уставными ответами улавливается плохо замаскированная мысль: «Да скоро ли ты отстанешь от нас? До чертиков все это надоело».

— Игрушечки для детей младшего возраста, — не то спросил, не то подвел итог Норкин.

Чигарев, потирая рукой замерзшее ухо, спросил:

— Значит, долой боевую подготовку?

— Зачем всю да еще сразу? — вмешался в разговор Гридин. Он теперь стоял между командиром дивизиона и начальником штаба. — Любому надоест, когда изо дня в день он будет слушать одно и то же. Каждый знает, что в носу корабля форштевень, а мы настойчиво доказываем это!.. Кое-что и долой придется... Спасибо говорить надо, что матросы еще играют, а не посылают нас подальше!

Возразить Гридину было нечего. В душе Норкин и сам был на стороне матросов. Ему тоже давно надоело ежегодно говорить на командирской учебе о том, что основная задача тральщиков — уничтожение минных полей. Заменить бы все это надо, но чем? Да и разрешит ли вышестоящий штаб? Ведь он прислал планы боевой подготовки.

Норкин прошелся между катерами и заметил еще одну особенность: вместе с ним перемещался и центр учеб-

ного боя. Там, где находился комдив, команды раздавались чаще, доклады сыпались один за другим, но зато сзади все погружалось в сонную дремоту.

— Командуй отбой, Владимир Петрович, — наконец сказал Норкин. — Вы, товарищи офицеры, можете идти к себе, а я еще к Мараговскому загляну. Пойдешь, замполит, со мной?

Офицеры, козырнув, ушли, а Норкин с Гридиным, осторожно ступая по обледеневшим поперечинам трапа, поднялись на палубу катера.

Норкин огляделся. Здесь все было знакомо до мелочей: и уже зачехленные пулеметы, и прямоугольник рубки, и каждый подернутый инеем кнехт, и каждый лист палубного настила. Все напоминало о недавних боях на Волге, о товарищах, павших там, — и Норкин, обняв Мараговского за плечи, сказал просто, по-товарищески:

— Дай в кубрик свет, Даня, и пойдём туда.

— Есть, — ответил Мараговский, и голос его дрогнул, зазвучал для Гридина непривычно ласково.

Втроем они спустились в кубрик. Яркий свет переноски заливает серебром борта, покрытые инеем. Иней везде: на бортах, на стеклах иллюминаторов, на матросских рундуках, на зеркале, прибитом к носовой переборке, космами свисает с потолка. Пар от дыхания клубится, расплзается в стороны, чтобы через несколько мгновений превратиться в блестящие кристаллы.

Сели на рундуки.

— Как живешь, Даня? — спрашивает Норкин.

— По-прежнему, — отвечает Мараговский, и Гридину кажется, будто мягче звучит его голос, будто дрогнули морщинки на его обветренном лице.

— Тогда, как говорится, и слава богу, — оживленно подхватывает Норкин. — А я уже было подумал, что ты забыл о семье.

Гридин вздрагивает от неожиданности. Как не тактично поступает комдив, растравляя больное место!.. Мараговский наклоняет голову и исподлобья выжидающе смотрит на Норкина, а тот продолжает как ни в чем не бывало:

— Говорят, даже следов жены не ищешь? — И вдруг резко, стукнув кулаком по столу: — Фашистов бить собираешься или нет? Если нет — живо спишу на базу к Чернышеву!.. Не боевой корабль, а похоронное бюро! Ни одной улыбки!

Лицо Мараговского потемнело, вздрогнули ноздри. Гридин ждал вспышки, но Мараговский молча выслушал гневную речь Норкина. Только острый надых судорожно двигался над воротником полушубка. И тут Гридин понял, что Норкин взял правильный тон: только так — дружески и гневно — давно следовало поговорить с главстаршиной. Нет, не в слезливом соблезновании нуждался Мараговский. Ему не хватало вот этой грубоватой ласки.

А Норкин все говорил. Он напомнил и пьянку на Волге, и прыжок Копылова с поезда, и сегодняшние учения. — Или забыл, как нужно проводить учения? — гневно спрашивал Норкин. — Ты командир, и сделай так, чтобы во время учений матрос юлой вертелся, башкой думал, а не выкрикивал, как попугай, давно заученные слова!.. Понял, Данька?

— Так точно, понял...

— То-то. — Норкин помолчал и вдруг спросил опять просто, как товарища: — Обиделся?

— Никак нет.

И снова Гридин почувствовал, что между этими двумя людьми — крепкая внутренняя связь. Мараговский не улыбался, не лез целоваться, отвечал официально, сухо, но было ясно, что беседа приятна ему.

— Старший лейтенант Гридин вместе с тобой сегодня пойдет в город. Ищите, — закончил Норкин, вышел из кубрика и спустился с катера на землю.

Мараговский по-хозяйски обошел катер, проверил шнуровку чехлов, задрайку люков, и лишь после этого направился в столовую.

#### 4

Работы у всех оказалось неожиданно много, и дни, как пули, пролетали быстро и незаметно. Боевая подготовка шла почти по старому плану, но теперь никто не играл. Около катеров появился ящик, одна из стенок которого была покрыта самыми различными отверстиями с ровными или рваными краями. Из этих отверстий во время учений, как из настоящих пробоев, хлестала вода. Ее упругая струя, вырываясь из-под щитов, обжигала руки, лица матросов, серебристой хрупкой кольчужой покрывала их шинели, полушубки, но люди работали,

боролись с ней. И в конце концов она, обессилевшая, сдавалась, никла, исчезала. Лишь ледяные слезинки, прилипшие к металлу, напоминали о ней.

Пока одни боролись с водой, другие работали в клубах дыма на пустыре, что раскинулся сразу за казармой. Здесь во время почти каждой тревоги горела ветошь, смоченная бензином или пропитанная соляром. Хочешь или не хочешь, а тушить ее надо, и матросы яростно набрасывались на нее с песком, войлоком и плетеными матами.

— Внимание, капитан-лейтенант Огонь идет! — говорили матросы, увидев Норкина. Он знал об этом своем прозвище, знал, что кое-кто даже из офицеров недоволен им, комдивом, считает это нововведение ненужным, но ничего не говорил и лишь украдкой посмеивался: матросы стряхнули с себя сонную одурь и самое главное — научились так быстро заделывать пробоины и тушить пожары, что Норкину пришлось спрятать часы в карман и взять в руки секундомер.

Правда, не обошлось и без открытых столкновений. Однажды дивизионный механик инженер-капитан второго ранга Карпенко прямо сказал Норкину:

— Не люблю, когда над народом издеваются. Матросам сейчас перед боями отдых нужен, а пробоин и пожаров у них впереди не счесть!

— Вы это только мне говорите, или с матросами также? — спросил Норкин и вспомнил, что именно этот вопрос задал ему командир батальона Кулаков еще в сорок первом году, когда у Норкина, еще лейтенанта, с языка сорвалось проклятое слово «окружение».

Карпенко пожал плечами и ничего не ответил. Он вообще недолюбливал нового комдива. Мальчишка! Давно ли ленточки носил, а уже дивизионом командует! Правда, и Чигарев не из старых, но тот хоть молчал, не вводил новшеств, а этот... Тоже мне Суворов нашелся!

Подобные высказывания Норкину уже приходилось выслушивать. И не только от Карпенко. Находились такие, которые свою лень пытались прикрыть словами заботы о человеке. Сначала Норкин прислушивался к ним, придирчиво проверял себя, но потом пришел к твердому убеждению, что так говорить могут люди недалекие или дорого ценящие только свое личное спокойствие. Об этом он прямо и сказал Карпенко. Тот, смуглый, с чуть заметными оспинками на широком лице, медленно прикрыл

веками черные глаза, посидел так несколько секунд, потом поднялся, одернул китель и спросил подчеркнuto официальным тоном:

— Разрешите идти, товарищ капитан-лейтенант?

Конечно, Норкин его не удерживал, и Карпенко, повернувшись как новобранец, вышел из кабинета. Даже его мерно покачивающиеся широкие плечи выражали презрение. Они словно говорили: «Ты еще в пеленках барахтался, когда я служить начал. Тебе не поучать, тебе молиться на меня надо!»

Норкину было неловко перед этим пожилым человеком, на груди которого поблескивала медаль «XX лет РККА», но он считал себя правым и учения продолжались; и тот же Карпенко, пренебрежительно морщась, скоро установил еще несколько ящиков с отверстиями для воды.

Доставалось всем. Все ежедневно ожидали чего-нибудь нового, неожиданного, но больше всех страдал Василий Никитич Чернышев. Норкин долго не заглядывал к нему на склады, словно не знал о существовании базы, и вдруг, когда его меньше всего ждали, явился в канцелярию и потребовал все сведения о наличии имущества. Он долго листал ведомости, вглядывался в цифры, около некоторых карандашом ставил «птички», а потом спросил:

— Эти сведения уже отправлены в тыл бригады?

— Еще нет, — ответил Василий Никитич и тяжело вздохнул. Он приготовился к разносу за это свое упущение и крайне удивился, когда Норкин одобрительно кивнул. — Семенову мы эти данные всегда успеем сообщить, — продолжил он уже более уверенно.

— Сколько боезапаса зажилили и не показали в ведомостях? — перебил его Норкин.

Доброжелательный тон Норкина обезоруживал, и, хотя на Чернышева нашла та полоса упрямства, при которой из него нельзя клещами слова вытянуть, он ответил. Норкин, прищутив правый глаз, посмотрел на стену, пошевелил губами, взглянул в свой блокнот и сказал:

— Цифры в ведомости еще урежь наполовину... Нет, на три четверти. Понял, Василий Никитич?

Чернышев понял, что комдив решил создать на базе тайный запас снарядов и патронов, что никому ничего отдавать не надо, и расплылся в улыбке.

— Может, и с вещевым довольствием так же? — спросил Василий Никитич и, будто разрезав что-то, взмахнул рукой.

Норкин молча встал, подошел к карте, висевшей на стене, и ткнул в нее пальцем.

— Киев, — прочел Василий Никитич.

Палец полез вверх по Днепру.

— Бобруйск, — опять прочел Василий Никитич и взглянул на Норкина. Тот в свою очередь пристально смотрел на него. Чернышев перевел глаза на карту, снова на Норкина, улыбнулся и кивнул. Норкин положил руку ему на плечо, легонько подтолкнул к столу, на котором лежали ведомости, и спросил:

— Гильзы есть?

— Откуда им взяться? — искренне удивился Чернышев. — С клеток стрельбы не производятся.

— Знаю, — нахмурился Норкин. — А в бою кто их собирать будет? Ты?

Чернышев опять пристально посмотрел Норкину в глаза, понимающе кивнул, и они расстались, довольные друг другом. А на другой день, чуть стало светать, базовская машина ушла куда-то. Вернулась она глубокой ночью. В ее кузове лежали позеленевшие латунные гильзы. Несколько дней ходила машина за город, туда, где в прошлом году шли бои, и посреди дощатого сарая выросла пирамида из гильз. Чернышев, глядя на нее, улыбался и заговорщически подмигивал работникам базы.

Большинство офицеров все понимало и одобряло сбор гильз, но некоторые скептически отмалчивались, смотрели на это как на одну из ненужных затей. Ольга не знала, кто прав, и не пыталась разобраться в этом. Ей хотелось одного: пусть Норкин ошибется, пусть ему немного попадет. Может быть, тогда хоть за утешением придет к ней. Вот тут-то она и поговорит с ним серьезно и обо всем! А если он не поймет ее, не изменится... Если он не уступит, она сама перестанет встречаться с ним. Так, пожалуй, Норкин лучше почувствует, кого он теряет.

Но офицеры вслух не выражали своего недовольства, начальство тоже молчало, словно все так и должно быть. Особенно раздражал Ольгу Чернышев. Казалось, для Василия Никитича, кроме Норкина, никого не существовало. И однажды Ковалевская не выдержала, сказала вечером в кают-компании:

— Ничего не понимаю, Василий Никитич! Зачем дивизиону это утильсырье? Ездите по полям недавних сражений, рискуете напороться на мину, а ради чего? Гильзы собираете! Разве это ваше дело?.. И вообще вы перед Норкиным точно школьник. Никогда не думала, что вы так начальства боитесь... Даже неудобно за вас.

Василий Никитич поднял на нее глаза, усмехнулся, поставил стакан и ответил:

— Начальства на своем веку я, свет-Алексеевна, много повидал и всякого. До вас никто мне не говорил, что я лебезил перед ним или, что того хуже, — боялся его!.. А вот Норкина боюсь.

Офицеры, сидевшие за столом, притихли.

— Перед ним — вы правильно заметили! — я словно школьник. Он мне каждый день задачки подкидывает. Да еще какие!.. Вот взять гильзы. Утильсырье? Мелочь?.. А ведь он даже эту мелочь увидел, ткнул меня в нее носом!.. Начнутся бои — потребуют с нас гильзы? Да еще как! А вы, товарищи офицеры, сдадите их мне?

Легкий смешок прошелестел по кают-компани, а Селиванов многозначительно кашлянул и бросил:

— Кое-что все же получите.

— Вот именно: кое-что!.. А у нас уже сейчас запасец есть на пожарный случай!

Ольга уже поняла всю нелепость своей претензии. Действительно, разве можно после боя собрать и сдать все гильзы? Да никогда! Большая часть гильз будет сброшена с палубы в воду ногами матросов, сброшена во время боя. А ведь все гильзы будут числиться за дивизионом.

Оказывается, Михаил заглянул в близкое будущее...

— Или взять историю с ведомостями, — продолжал Чернышев, польщенный всеобщим вниманием. — Здесь все свои... Уж я на снабженческом деле, кажется, собаку съел, любой комиссии кукиш так покажу, что он ей за розу сойдет, а Михаил Федорович меня, как слепого котенка, опять носом тычет!.. Фронт-то далеко от основной базы будет. Успеют ли ее склады за катерами?.. То-то и оно. Пока то да се — на катерах внутренний запасец снарядов имеется!.. Разумеешь, свет-Алексеевна?

Более чем ясно. И тут Михаил прав...

Ольга для приличия посидела еще немного, потом встала и ушла в свою комнату. Здесь было очень чисто. На подушку была наброшена кружевная накидка, на се-

ром одеяле временно лежал вышитый накомодник, а на стене висел маленький коврик. Все это Ольга сделала сама. Ей казалось, что так уютнее.

Ольга медленно сняла берет и устало опустилась на стул. Ну почему она такая несчастная?

Ждала писем от него... Самого его ждала... Он приехал неожиданно. И надо же было так случиться, чтобы не раньше и не позже она ушла в кино с Чигаревым?!.. Словно не видит ее, даже в санчасть ни разу не заглянул. Почему?.. Может быть, самой пойти, поговорить с ним?

Ольга встала, поправила прическу, разгладила пальцами морщинки около глаз, провела влажным пальцем по бровям и пошла к двери. Но по всем этажам брызнул сигнал боевой тревоги, и она убежала в санчасть, приготовила носилки, еще раз проверила содержимое сумки. За окном уже металось красноватое зарево, доносились приглушенные голоса, а она сидела праздно, сложив руки на коленях.

У катеров, освещенных искусственным пожаром, стояли Голованов, Ясенев и Норкин. Адмирал неторопливо подошел к ящикам, придирчиво проверил работу матросов и хмыкнул что-то неопределенное.

— Слушаю вас, — сказал Норкин.

Голованов повернулся к нему лицом, посмотрел так, словно впервые заметил его, и ответил:

— Ничего.

Норкин, заподозрив неладное, стал придирчиво смотреть на матросов. А они молча забрасывали огонь песком, плетеными матами, и он быстро гас, обдавая людей клубами вонючего черного дыма. Так же умело заделывали и пробоины. Да это и понятно: учение было обычным, а матросам хотелось блеснуть перед адмиралом. «Полный порядок», — подумал Норкин и украдкой облегченно вздохнул.

— Пойдем к тебе, — наконец сказал адмирал.

Когда вошли в комнату, Норкин торопливо смахнул со стола табачные крошки, выдвинул из угла вторую табуретку.

— А сам так и будешь свечкой стоять над душой? — усмехнулся Голованов, расстегивая шинель и снимая фуражку. — Садись на чем стоишь. Разговор длинный будет.

Михаил сел на кровать. Его смущали и это неурочное появление начальства, и бедность своего жилища. Кровать с облезлой погнутой спинкой, колченогий стол и две табуретки — вся эта обстановка почему-то раньше не казалась ему такой убогой. А теперь со стыда хоть сквозь землю проваливайся!

Надо будет завтра подсказать Чернышеву...

— Дела у тебя прилично идут, — сказал адмирал так спокойно, будто продолжал беседу. — Мы с Ясеныным знаем все, и кляуз не бойся.

Норкин встрепенулся и взглянул на адмирала.

— Чего уставился? Семенов жалуется. Закоптил ты у него территорию, — пояснил Голованов. — Мы его рапорт в долгий ящик засунем... Все это ладно, а вот с гильзами... Зачем собираете?

Норкин нахмурился еще больше. Его не удивила жалоба Семенова, а гильзы — совсем другое дело. О них знали только свои. Кто же проболтался? Или нарочно сказал?

— Ты, Михаил, о другом сейчас думай, — вмешался в разговор Ясенын. Он старательно разминал пальцами папиросу и не смотрел на Норкина. — Зачем собирал — нам тоже известно, и не об этом сейчас разговор... В какое положение ты нас с командиром бригады поставил, а?

Ушли Голованов и Ясенын, а Норкин все сидел на койке и думал. Чертовски неприятно, когда тебя уличают в нехорошем поступке! Дернула нелегкая связаться с этими растреклятыми гильзами, чтоб им ни дна ни покрышки!.. Хорошо хоть то, что еще есть возможность выпутаться...

Ох, тяжела ты, шапка комдива, тяжела... А лишаться тебя ох как не хочется...

Гильзы, разумеется, пришлось сдать. Те же матросы, что собирали их на полях недавних битв, теперь, ругая господу бога и его родню, швыряли латунные цилиндры в кузов машины. Только Карпенко не пытался скрыть своей радости. При встречах с Норкиным он чуть заметно усмехался одними глазами, а в разговорах с офицерами, к месту и не к месту, напоминал о том, что выдвижение молодых людей дело хорошее, но и опасное. За этими «выдвиженцами» глаза да глазки нужны! Зазеваешься — таких дров и столько наломают, что за всю жизнь не спалишь.

## *Глава вторая*

### **ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ТРИ**

#### 1

Капитан первого ранга Семенов — начальник тыла бригады, — как говорится, стоял у всех поперек горла. Вечно хмурый, он в сопровождении неизменного адъютанта «Шурки», поседевшего на военной службе, появлялся в самое неподходящее для визитов время, придирчиво рассматривал все и брюзжал, брюзжал без конца; критиковал существующие порядки и расхваливал прошлое, иногда бросая через плечо:

— Шурка, помнишь?

— Так точно, было, — следовал неизменный ответ.

Но не любили Семенова, разумеется, не только за постоянное брюзжание. После назначения Семенова на эту должность прошло более шести месяцев. За это время с ним много раз беседовали Голованов, Яснев и члены партийной комиссии, но он по-прежнему не хотел считаться с мнением сослуживцев, по-прежнему донимал своих подчиненных оперативками и — что еще хуже — считал себя кровно обиженным и свое новое назначение рассматривал как незаслуженное оскорбление. Все это сказывалось на его обращении с людьми. Стоило какому-либо офицеру появиться у него в управлении с заявкой или требованием, как Семенов немедленно вызывал его к себе в кабинет, бегло просматривал предъявляемую заявку, брал красный карандаш и безжалостно вычеркивал половину цифр. Часто бывало и так, что под сокращение попадало самое необходимое, без чего катера не могли жить. Увещевания и мольбы не помогали.

— Кому очки втираешь? — обычно гремел Семенов. — Тебя мать еще не родила, когда я все тонкости флотской службы познал!

Оставался единственный выход: обратиться с жалобой к Голованову или Ясневу. После этого, разумеется, со складов выдавалось все требуемое. Казалось бы, здесь можно и поставить точку: вопрос разрешен, справедливость восторжествовала. Но теперь офицера, который писал жалобу, Семенов считал своим личным врагом. Семенов был с ним изысканно вежлив, обходителен и... под различными предложениями старался ничего ему не дать.

Больше других от самодурства Семенова страдал дивизион Норкина, располагавшийся на территории тыла. И беда была не только в том, что он «влез в хозяйство» Семенова. Капитан первого ранга завидовал любви матросов к комдиву; злило его и то, что у Норкина вся жизнь еще впереди, а орденов уже больше, чем у такого заслуженного человека, как он, Семенов; обижало и внимание большого начальства к этому «молокососу»: с ним считались, к его мнению прислушивались.

Нечаянно и сам Норкин подлил масла в огонь. Его искусственные пожары, ночная беготня и надсадный вой сирен так надоели Семенову, что однажды он послал Норкину записку, в которой потребовал прекращения «всех указанных беспорядков».

Норкин прочел ее, пожал плечами и сунул в карман. Он знал, что Семенов не имеет права отдавать подобные распоряжения, надеялся, что тот сделал это в минуту сильного гнева и теперь раскаивается. Действительно, Семенов скоро одумался и, жалея о злополучной записке, приготовился оправдываться, защищаться, но начальство его не трогало. Сначала это удивило, потом начало раздражать. Поступок Норкина он истолковал как выражение полного презрения. Дескать, подумаешь, величина — капитан первого ранга, да еще начальник тыла бригады!

Несколько дней работники тыла дышали сравнительно свободно: оперативок не было, сам Семенов почти не выходил из кабинета, где за ширмой стояла его самая обыкновенная солдатская койка. Даже еду Семенову в те дни приносили в кабинет. И вдруг он, одетый и начищенный гораздо старательнее обычного, появился в комнате дежурного и сказал, пряча глаза под сдвинутыми бровями:

— Комендантский патруль дай в мое распоряжение.

Скоро в сопровождении двух патрульных матросов Семенов вышел из помещения. На катерах никто не обратил внимания на такое торжественное шествие, но зато к окнам зданий, обступивших гавань, бросились десятки любопытных.

— Товарищ матрос! — резко крикнул Семенов и поманил к себе пальцем Копылова.

Тот осторожно снял с плеча аккумулятор, поставил его на землю, подошел, козырнул и только хотел было отрапортовать, как Семенов закричал:

— Ты матрос или чухонка? Откуда выкопал такой бушлат? Свой на барахолку снес, а в хламиде флот позоришь? Распустились вы, как я погляжу! Забрать!

И Копылов, не успевший ни понять своей вины, ни оправдаться перед грозным начальством, под конвоем зашагал вслед за Семеновым. Скоро Семенов арестовал еще пять матросов и, торжествуя, водворил их всех на гауптвахту.

Когда Норкину доложили об этом, он узнал причины ареста и успокоился: за годы войны многие несколько небрежно стали относиться к форме одежды и кое-кого следовало подтянуть. Правда, все эти задержанные матросы выполняли особые работы, но разве Семенов не мог ошибиться? Да и сами пострадавшие склонны были рассматривать свой арест как досадное недоразумение.

Однако подобные случаи вошли в систему, и Норкин в одно из нашествий Семенова вылез на пирс и как почетный конвой пошел за капитаном первого ранга.

— Ты чего ко мне, как репей к собачьему хвосту, прицепился? — спросил Семенов, неожиданно остановившись.

Норкин машинально шагнул вперед, почти налетел на него и тихо сказал, еле сдерживая себя:

— Не позволю издеваться!

Разумеется, после этого Семенов и Норкин не стали друзьями. Стычки между ними продолжались по-прежнему, но теперь оба они действовали осмотрительнее, втайне надеясь, что весна все равно разлучит их.

И вот началась весна. В конце февраля все еще курились снегом и земля и крыши домов. Под ударами ветра беспомощно металась ветка яблонь и вишен. Казалось, что вот-вот не выдержат тонкие деревца сумасшедшего напора ветра и безжизненными обломками падут на землю.

И вдруг ветер стих. По-прежнему хмурилось небо, по-прежнему лучи солнца не могли пробиться сквозь тучи, но на землю сразу полились потоки тепла. За несколько дней стаял снег на улицах города, а лед на Днепре посинел, вздулся. Он еще пытался сдерживать бунтующую реку, но извилистые трещины уже изрезали его во всех направлениях. Еще одно усилие весны — и вот хрупкие, изъеденные водой и солнцем, льдины, тихо и скорбно шурша о берег, уже поплыли к Черному морю.

Сошел лед— ожили и катера флотилии. Один за другим скользят они с клеток в воду. А Днепр, словно соскучившийся, нежно покачивает их, убаюкивает. Все моряки на ногах с рассвета: красят облупившиеся борта, соскабливают кровавые пятна ржавчины, принимают топливо, боезапас, проворачивают механизмы. Над местом стоянки катеров до поздней ночи не смолкают человеческие голоса и рев моторов. Распорядок дня — святыня военного корабля — давно сломан, забыт, и даже Норкин не замечает этого, не пытается вернуть жизнь в законное и привычное русло. Он, как и другие моряки, соскучился по воде, изнемог в ожидании того момента, когда можно будет перевести рукоятки машинного телеграфа на «полный вперед» и рвануться вдаль, подминая под себя, дробя волны.

Да и бесполезно сейчас сдерживать матросов. Еще не было отдано распоряжение, а уже целые команды перекочевали из казарм в пока еще не обжитые кубрики, и первые робкие струйки дыма плывут над рекой, поднявшись из камбузных труб.

— Шабаш! — радостно сказал Норкин, когда последний катер был спущен на воду; снял кожаные перчатки, хлопнул ими по орудийной башне и сдвинул фуражку со вспотевшего лба, осмотрелся. И сразу увидел, что похудевший обветренный Селиванов распекал младшего лейтенанта Курочкина, недавно назначенного командиром бронекатера. Норкину не слышно слов Селиванова, но хорошо видно, как пылает от стыда лицо Курочкина. И ему стало жаль младшего лейтенанта. Ну разве можно так безжалостно взыскивать за какую-то мелочь с такого юнца, да еще в такой день? Ты, Ленчик, посмотри на флаги, посмотри на них! Белоснежные, еще сохранившие запах склада, они гордо реют над катерами. Вместе с ними, словно живая, трепещет гвардейская ленточка. Каким нужно быть сухарем, чтобы не чувствовать общей радости и ругаться в такой день!

Однако подойти к Селиванову и вмешаться в его разговор с Курочкиным нельзя: каждый офицер сам отвечает за свое дело, за свои поступки. Да и Лене виднее. Курочкин — его подчиненный.

— Я тебе, чертова перечница, что говорил? — слышит Норкин голос Крамарева и выглядывает из-за рубки. Крамарев в замасленном и перепачканном краской комбинезоне (когда он только успел так перепачкаться?! Не-

дели не прошло, как получил комбинезон!) сидит на корточках около мотора в полуглиссере и строго смотрит на «чертову перечницу» — Пестикова. За зиму Пестиков возмужал. Теперь в нем никто бы не узнал того добродушного и немного растерянного увальня, что в позапрошлом году добровольцем пришел в отряд подрывников. Черты его лица стали резче, грубее. Глаза смотрели настороженно, пытливо. Даже бушлат сидел на нем так, словно был не одеждой, а частью самого Пестикова. Одним словом, теперь Пестиков был настоящим матросом.

Однако сейчас вся плотная фигура Пестикова выражала такую растерянность, такое виноватое выражение было на его лице, что Норкин невольно улыбнулся.

— Я с тобой или с пулеметной треногой разговариваю? — продолжает наседать Крамарев.

— Воду из-под слани убрать вы наказывали, — отвечает Пестиков и машинально трет руки ветошью.

— А это что? Святой дух? — ожесточается еще больше Крамарев и сует под нос Пестикова консервную банку, на дне которой чуть плещется мутная, пятнистая от бензина вода.

— Так я и говорю — ребята на бронекатере палубу водой окатили, ну к нам чуток и попало.

— А ты зачем здесь? Для модели? Не смог закрыть машинный люк? Может, не умеешь? Иди сюда, научу. Иди, иди!

Пестиков послушно лезет к старшине, терпеливо слушает его рассказ о том, как нужно закрывать створки люка, несколько раз под добродушный смех матросов сам закрывает и открывает их.

— Теперь понял? — не отстает Крамарев. — И еще одно запомни: я из тебя эту мараговщину выколочу! Хочешь служить — служи. Не хочешь — брысь к чертовой матери!

Разделавшись с Пестиковым, Крамарев набрасывается на матросов, которые по-прежнему добродушно скалят зубы с катера:

— А вы чего иллюминаторы вытарасили? Шей как у бугаев, а мозги — воробьиные. У того только и дела: «Чик-чирик!»

Матросы хохочут, грызуются, но все же разбегаются по своим местам: неровен час, появится командир, привлеченный шумом, тогда закаешься смеяться во время общего аврала.

И опять радостно Норкину. Пусть ругается Крамарев, пусть смеются матросы, пусть. Не со зла, не от безделья ругаются и смеются. У всех приподнятое настроение, и каждый выражает свои чувства по-своему. Одни, как Крамарев, готовы с себя последнюю рубаху снять, чтобы их заведывание сверкало, как перед инспекторским взглядом. Другие — их большинство — веселы, беспричинно смеются, все время в движении. От них сегодня не жди ювелирной работы. Но прикажи им унести катер на руках — подхватят и унесут со смехом и песнями.

А песня — тоже под настроение. Вон десятка два матросов разбирают клетки, на которых еще вчера стояли катера.

— Жил-был у бабушки серенький козлик, — старательно и самозабвенно выводит запевала.

— Вот как, вот как, серенький козлик! — дружно рявкают остальные, и со скрежетом вылезают из бревен скобы и «ерши», которых, казалось, даже машиной не вырвешь. Исчезают клетки, растут штабеля пронумерованных бревен. Теперь они будут долго лежать будто забытые... А может быть, и недолго... Кто знает, что будет через неделю или две? Может быть, побитые, истерзанные катера приползут сюда и устало приткнутся к стенке. Тогда эти же матросы, только уже без песен, хмурые, сосредоточенные, разберут штабеля и осторожно положат израненные катера на их жесткое ложе... Не все катера придут сюда. Не все матросы вернутся вместе с ними...

— Ты, Мишка, чего бирюком сидишь? — спрашивает Селиванов и рядом с Норкиным присаживается на орудейную башню.

— Так просто.

— За так не вскочит и чиряк! — Селиванов залиристо смеется и вдруг резко обрывает смех: — Заболел, что ли?

Норкину приятна эта заботливость, он охотно поддается нахлынувшему теплomu чувству и тихо говорит, прислонившись к другу плечом:

— Взгрустнулось что-то... И радостно, и грустно...

Селиванов внимательно всматривается в его лицо, не находит ничего, способного вселить тревогу, и продолжает по-прежнему радостно, беззаботно:

— А мы с Гридиным постановили, что спуск катеров на воду следует ознаменовать культпоходом в театр. Одевайся и — вперед до полного!

— Что там идет? — спрашивает Норкин для очистки совести. Ему хочется в театр. Ведь всю зиму не только в театре, но и в кино городском не был. Всё дела, заботы, да и около касс такие очереди, что посмотришь-посмотришь — и обратно, в дивизион.

— А бес его знает! — пренебрежительно машет рукой Селиванов и соскакивает с башни. — Пошли?

— Так ведь билетов не достать...

— Да ну тебя! — начинает сердиться Селиванов. — Если ты всю зиму ушами хлопал, то другие не терялись и такие знакомства завели, что хоть птичье молоко достанут!

Сборы были недолгими, и скоро почти все офицеры веселой гурьбой шагали по городу. Даже такие «солидные дяди», как Карпенко и Норкин, заразившись общим волнением и забыв про свое звание и служебное положение, старались не отставать от молодых лейтенантов, которые сейчас походили на студентов, сдавших последний, самый трудный экзамен.

— Товарищ комдив! — услышал Норкин и оглянулся. Из кабины полуторки, остановившейся рядом с тротуаром, выскочил Чернышев и, схватив Норкина за пуговицу шинели, затараторил: — Семенова переводят начальником в Северную группу флотилии! Обрадовался старик и говорит: «Хватит портянки считать! Пора, видно, Семенову опять за оружие взяться: много ли от сопляков толку? А нам к войне не привыкать, еще с гражданской все знаем!» Я, как узнал эту новость, сразу сюда — обрадовать!

Офицеры заулыбались, но еще воздерживались от бурного выражения восторга: командир дивизиона почему-то вдруг нахмурился. А Норкин подумал о том, что перевод Семенова не случаен, за ним что-то кроется. Как бы узнать — что? Оживает флотилия? Начинаются бои на Березине?

Так и не решив этого вопроса, Норкин широко улыбнулся и сказал, пожимая Чернышеву руку:

— Спасибо, Василий Никитич! Сегодня у нас настоящий праздник!

Чернышев, словно из-за него произошло перемещение Семенова, важно выслушал благодарность, сел в машину и уехал, а офицеры, балагуря и вспоминая чудачества Семенова, направились к театру.

В полутемном коридоре театра неторопливо разде-

лись, поправили прически, ордена, кортики и робкой стайкой, словно впервые в жизни попали в театр, вошли в фойе. Здесь много военных. Среди мундиров видны и цветастые женские платья. Женщины, постукивая высокими каблучками, ходят по фойе, гордые и неприступные.

Появление группы моряков, разумеется, не осталось незамеченным. Стоять под любопытными взглядами было неловко, и Норкин, чтобы приободрить товарищей, грубовато сказал:

— Ну, чего встали? Пошли!

И вдруг в противоположном конце фойе вскрикнула женщина:

— Миша... Миша Норкин!

От неожиданности Норкин остановился и растерянно, почти с испугом посмотрел на женщину, которая бежала к нему. Он успел заметить только синий китель и развевающиеся светлые волосы. А женщина уже налетела на него, обняла и звонко чмокнула в подбородок. Ее лучистые глаза были рядом, Норкин посмотрел в них и прошептал:

— Наташка!

На них оглядывались те, кто гулял по фойе, улыбались и проходили мимо, оживленно переговариваясь.

— А мне можно? — почему-то робко сказал Селиванов и протянул Наталье руку.

Наталья отшатнулась от Норкина, мгновение стояла, широко открыв изумленные, неверящие глаза, потом слабо вскрикнула и почти упала Селиванову на грудь. Его она не обнимала, не целовала. Только по-детски прижалась к нему и чуть слышно всхлипывала.

— Барашек мой... Милый барашек, — услышал Михаил ее сдавленный шепот.

Чувствуя себя лишним, Норкин отвернулся и сразу же увидел Ольгу. Она, взяв Чигарева под руку, шла по фойе к залу. Близко — никого знакомых. И вообще, только какая-то девушка стояла рядом и бесцеремонно рассматривала его. Норкин снова посмотрел в сторону Ольги и Чигарева. Но они уже исчезли в толпе.

Норкин тяжело вздохнул. «Опять лишний», — подумал он, и ошибся. Он не видел, как вспыхнула Ольга, когда Наталья обняла и поцеловала его, не видел ее растерянной улыбки и того жеста отчаяния, с каким она

взяла Чигарева под руку. Он заметил только ее гордо откинутую голову и довольное лицо Чигарева.

— Вы — Миша, друг Лени, да? — вдруг спросила незнакомая девушка. — А я — Катя, подруга Наташи... Они, эгоисты, бросили нас, так давайте сами познакомимся.

Последние слова скорее походили на приказание, чем на просьбу, и Михаил подал ей руку, отвечал на какие-то вопросы и окончательно пришел в себя только тогда, когда они с Катей уже сидели в зале.

После спектакля, когда Михаил уже получил пальто Кати, к нему подошел сияющий Селиванов и, даже не попытавшись скрыть своей радости, тихонько спросил:

— Миша... можно до утра?

Норкин кивнул и отвернулся. Он завидовал чужому счастью.

— Надеюсь, вы меня проводите? — спросила Катя.

На небе, затянутом тучами, ни звездочки. В окнах домов ни одного огонька. Даже за городом не видно белых столбов прожекторных лучей. Темно, безлюдно. В узком переулке громко стучат Катины каблуки. Норкин, безвольный и апатичный, молча шагал рядом. Чтобы вовлечь его в разговор, Катя рассказывает о том, что они с Натальей закончили курсы медицинских сестер и теперь назначены в госпиталь флотилии, что у нее отдельная комната, но Михаил хмуро отмалчивается или отвечает односложно. Тогда замолкает и она.

Так, молча, они подошли к большому дому, казавшемуся мрачным, нежилым. Катя достала из сумочки ключ, открыла дверь и пропустила Норкина вперед. В темном коридоре он остановился. «Зачем?» — мелькнула мысль, но дверь уже закрылась, щелкнул замок. Потом Катя в темноте взяла его за руку, повела за собой, и он больше уже не думал, хорошо ли он поступает. Да и кого ему стесняться? Никому он не нужен, никого не обманывает.

Маленькая комната заставлена мебелью. Но сразу бросились в глаза двуспальная кровать с никелированными шарами по углам и потертые, приземистые кресла вокруг стола.

— Это все хозяйское, — пояснила Катя.

Она уже сняла пальто. Ее щеки порозовели от мороза, глаза возбужденно блестели.

— Выпить хочешь?

Михаил кивнул.

Катя достала из буфета графинчик, поставила на стол рюмки.

Чокнулись, выпили, и опять надолго замолчали.

— Ты всегда такой?

— Какой?

— Такой... Из-за угла мешком пришибленный.

Катя подошла к комоду и стала у зеркала поправлять прическу. Норкин впервые за весь вечер посмотрел на нее внимательно. Она была, наверное, очень молода, но какая-то скорбная тень лежала на ее лице, что делало ее похожей и на обиженную кем-то школьницу, и одновременно на женщину, уставшую от жизни.

Норкин пересел на стул за ее спиной. Она не обернулась, занятая своей прической. Тогда он осторожно обнял ее и привлек к себе. Катя покорно опустилась к нему на колени. Сделала это так спокойно, непринужденно, словно села на стул. Так же спокойно позволила поцеловать себя, а потом осторожно освободилась от его рук, встала, подошла к постели и спросила, снимая кружевное покрывало:

— Где ты любишь спать? С краю или у стенки?

## 2

Михаил проснулся. За окном разливался молочный рассвет, он, казалось, струился в комнату, падал на стол, на графин с остатками спирта, освещал спящую Катю и груды одежды на стуле.

Норкин осторожно приподнялся на локте и посмотрел на Катю. На белой наволочке темнел овал ее лица в черной рамке волос. И его снова удивило невинное, детское выражение ее лица.

Что знал Михаил о Кате? Много и почти ничего. Ночью она горячим шепотом сбивчиво рассказала, что у нее есть мать и отец, но где они сейчас — ни слова. Ей самой уже двадцать (она подчеркнула «уже»). Училась в институте, была влюблена в одного, который «оказался не таким, как думала». Бросила учебу и убежала из дома. Хотела попасть к партизанам, стать такой же отчаянной разведчицей, как Зоя Космодемьянская, чтобы о ней узнали все, а главное — чтобы узнал он. К партизанам не попала, даже до прифронтовой полосы не доехала: в поездах было невыносимо тесно, то душно, то

холодно, а тут еще и есть все время хотелось. Вернулась домой и добилась отправки в армию через военкомат. И вот теперь она медицинская сестра и работает вместе с Натальей.

В этом месте рассказа Катя замолчала, будто ждала одобрения или порицания. Михаил лениво отмалчивался. Он не понимал ее, а спорить не хотелось. В его голове никак не укладывалось, как это можно одновременно мечтать о подвиге и в то же время бояться тесноты в поездах, падать духом из-за того, что один день хлеба во рту не было.

— Ты, может быть, смеешься надо мной? — как-то безразлично спросила Катя. — Ну и пусть. Все вы всегда так: сначала от страсти млеете, а потом сразу очень нравственными становитесь и только нас осуждаете.

— Но ведь я ничего не говорю...

— А я тебя просто пожалела. Смотрю, стоишь один. Взяла и пожалела...

Вчера он почему-то не задумался над этими словами, а сейчас вспомнил, и стало обидно. Неужели он до того дошел, что ему, как последнему нищему, милостыню бросили?

Михаил пошевелился, осторожно слез с кровати. Катя открыла глаза и посмотрела на него.

— Мне пора, — сказал Михаил, стараясь не смотреть на нее.

Все время, пока он одевался, Катя лежала неподвижно и, казалось, спала. Но как только Михаил надел шинель, она встала, всунула ноги в туфли, набросила пальто и проводила его до двери.

— Соскучишься — заходи, — просто сказала она, стоя в дверях. Ее несколько не смущали косые взгляды редких прохожих.

— Обязательно, сегодня же, — поспешно пообещал Михаил и торопливо зашагал к Днепру. Ему было стыдно, казалось, что все смотрят на него, знают, откуда он идет. И дернул черт Леньку затеять этот культпоход! Ведь как все хорошо шло, спокойно и главное — чисто, а теперь попробуй другим мораль читать. Разумеется, никто возражать не станет, любой матрос терпеливо его выслушает, но сам думать будет: «А ты-то что? Тоже рыльце в пушку!»

Норкин злобно плюнул на тротуар. «Первый и последний раз!» — решил он и еще быстрее зашагал к реке. Но

у переправы в гавань невольно замедлил шаги: к буксирному пароходнику, курсировавшему между правым берегом Днепра и гаванью, спешило много рабочих из судоремонтных мастерских и знакомых из управления тыла. Встретаться с ними не хотелось. Может, переждать?.. Только и не хватало, чтобы явиться на катерá после подьема флага!.. Эх, была не была!

Однако воспользоваться буксиром не пришлось: около мостков стоял его личный полуглиссер, в нем сидел Крамарев. Увидев Норкина, он сразу же включил стартер. Всем своим поведением Крамарев подчеркивал, что ничего предосудительного не случилось, просто комдив был в городе по делам, вот он и ждал его.

— Тебя кто послал? — прервал Норкин неловкое молчание, как только полуглиссер отошел от берега.

— Сам, — ответил Крамарев, не поворачивая головы, и спросил: — К верхнему мосту? Ведь вы еще вчера говорили, что туда обязательно сходить надо.

Норкин кивнул, и Крамарев, подняв полуглиссер на редан, вывел его на простор вздувшейся реки. Упругие струи воды с шипением проносились вдоль бортов и ложились за кормой белой полоской пены.

Норкин, насупившись, смотрел на нос полуглиссера. Значит, Крамарев сам решил прийти за ним. Решил выручить... Стыдно: ты сделал плохо, а подчиненный тебя выгораживает... Может быть, повернуть полуглиссер, отказаться от помощи Крамарева? Хотя, стоит ли? В дивизионе так и так знают, что комдив прогулял ночь: вахтенные передали это друг другу как особо важное обстоятельство, да и Крамарев не мог самовольно угнать полуглиссер.

Нет, от своих матросов случившегося не скроешь. А что работники тыла не знают, так это не их дело! Пусть за собой следят!

Немного повеселев, Норкин уже более уверенно стал подыскивать себе оправдание. Действительно, а что особенное он сделал? Разве комдив не человек и не может одну ночь за полгода провести в городе?.. Это, конечно, пустяки. Дело не в том, что ночь провел в городе. С кем провел — вот о чем люди судачить будут...

Что ж, за это ответ и держать...

Вот и мост. Развороченные взрывом быки. Между ними железные клыки ферм. Они перегораживают реку. Около них вода пенится, бурлит, клокочет. Пролеты за-

биты льдинами и деревьями. Они, как плотина, преграждают путь воде. В этом железном заборе есть только один узкий проход. В него стремительно врывается бующий поток.

Да, выход из Киева вверх по Днепру — лишь через этот узкий лаз.

— Спасибо, Крамарев, — тихо сказал Норкин, когда полуглиссер остановился около флагманского катера.

— Не за что, — так же тихо, но твердо и, как показалось Норкину, со значением ответил тот.

### 3

Очистился Днепр ото льда — от Голованова, как он и обещал, сразу поступил боевой приказ: «Произвести контрольное траление в районе Белобыля и на Днепре ниже Канева. Одновременно отконвоировать караван барж в город Мозырьск, где передать его коменданту города».

Два отряда катеров-тральщиков Норкин сразу же нарядил на траление, а сам с четырьмя катерами решил сопровождать караван. Только принял такое решение, прибежал Гридин и спросил:

— Михаил Федорович, может быть, нам с вами все же лучше пойти не с караваном?

— Почему так думаешь?

— Что ни говорите, а там будет траление. Понимаете? Бо-е-во-е тра-ле-ни-е!

Норкину всегда нравилась горячность своего заместителя, поэтому не сердило даже и то, что сейчас он говорил несколько назидательно. Словно поучал. И, пряча добрую усмешку, Норкин сказал:

— Конечно, боевое траление — это боевое траление. Его нечего и сравнивать с конвоем какого-то каравана... Правда, никаких данных о вражеских минных постановках на Днепре и его притоках мы не имеем... Зато в караване есть баржа с бензином. И ее в целости и сохранности нужно провести через район, где в прибрежных лесах еще затаились бульбовцы и прочая сволочь. Сам понимаешь, одной хорошей очереди может хватить на то, чтобы наш груз дымом пошел. Но, как ты сказал, траление всегда остается тралением. Так, что ли, Леша?

Гридин покраснел и смущенно пробормотал:

— Вы мне ничего этого не говорили.

— А ты разве спрашивал? Ты просто принял свое решение и стал агитировать за него. Неумело, грубовато, но азартно агитировать. И, чтобы покончить с этим вопросом, сам выбирай, куда пойдешь. Свою волю не навязываю.

А еще немного погодя на четырех катерах-тральщиках они вместе пошли навстречу льдам, плывущим с верховьев. Не шли, а ползли, обдирая с бортов краску. Порой напор льда был так силен, так яростен, что обшивка корпусов потрескивала, вдавливалась внутрь. Казаюсь, вот-вот лопнет от чрезмерного напряжения.

Изучились основательно, но в Мозырьск пришли в указанный день, правда, только к вечеру. Норкин намеревался немедленно сдать караван, чтобы бежать обратно, однако комендант города — подполковник со свисающими к подбородку усами — сказал, глядя открыто, даже весело:

— Извини, милоч, принять караван сейчас — никак не могу: с минуты на минуту сведут переправу и тогда тут такое начнется!.. Завтра утречком, как только снова разведут ее, ты и проскочишь вверх, где тебя и встретит тот, кому положено.

Едва Норкин вернулся на катера, к нему подошел Мараговский и сказал, отводя глаза в сторону:

— Понимаете, товарищ комдив, здесь на самом берегу госпиталя. Разрешите наведаться туда? Может, земляка встречу?

За спиной Мараговского грудилось еще человек десять. И все, если судить по тому вниманию, с каким они прислушивались к разговору, тоже намеревались искать земляков. Что ж, намерение даже очень похвальное. Норкин чуть не сказал «добро», когда случайно глянул на берег и увидел там женщин в солдатском обмундировании.

Так вот какие они, ваши «земляки»!

Однако и теперь не появилось желания задержать матросов на катерах, заветное слово было уже готово сорваться с языка, но тут на катер вбежал Гридин и сказал в полный голос:

— А комендант города, оказывается, с дальним прицелом не принял у нас караван сегодня! Здесь каждую ночь немецкие бомбардировщики хозяйничают! Выходит, пока не сдадим караван и не получим соответствующую расписку, сами за него отвечаем!

И матросы, кляня коменданта, разбежались по катерам. А девчата и женщины на берегу все ждали чего-то. К наступлению полных сумерек их стало еще больше. Около них вились раненые, такие невоинственные, негероические в кальсонах и халатах.

Стемнело — появились вражеские самолеты. Они ходили над городом, бомбили его, а к реке, где стоял караван, пока почему-то даже не приближались. Но все равно моряки стояли на своих боевых постах. Следили за разрывами зенитных снарядов, пятнавших черное небо, вслушивались в прерывистый вой моторов вражеских самолетов, а краешком глаза поглядывали на девчат, грудившихся на берегу.

И вдруг один из прожекторов ударил в серебристую звездочку, которая ползла к реке. Звездочка сразу же заметалась, устремилась к границе прожекторного луча, но второй голубоватый столб теперь тоже подхватил ее. Туда же спешили и третий, и четвертый...

— Огонь! — приказал Норкин и даже махнул рукой, словно его жест могли видеть на всех катерах.

Горячие трассы, казалось — из самой реки, потянулись к вражескому самолету. Еще несколько секунд — и они слились с прожекторными лучами. Какое-то время, показавшееся Норкину невероятно долгим, самолет лежал на прежнем курсе, потом перешел в пике, свалился в штопор и рухнул на землю, взметнув к небу сноп кровавого пламени.

Все это произошло так быстро, было столь невероятно радостно, что на катерах закричали «ура» значительно позднее, чем на берегу.

Остаток ночи тоже продежурили у пулеметов, но самолеты больше не появлялись. А утром, едва стали видны наличники домов, смотревшихся в Припять, Норкин вызвал Мараговского и дал ему наказ:

— Немедленно иди к сухопутному здешнему начальству и добудь о самолете соответствующую справку. Чтобы была со всеми подписями, какие положены, и с печатью самого коменданта города.

Вернулся Мараговский только к обеду и злющий — дальше некуда.

— Чуть не пристрелил его, — заявил он, вручая Норкину справку, которой командиры зенитчиков и понтонеров свидетельствовали, что самолет сбит огнем катеров. Только резолюции коменданта города и его же печати и

не хватало, чтобы эта бумажка стала документом. — Он сказал, что самолет запишет на своих зенитчиков.

Ни один из матросов не высказал своего возмущения решением коменданта Мозырьска. И это лучше всего свидетельствовало о том, насколько оно было велико. Поэтому Норкин громко заявил:

— Мы с замполитом сами займемся комендантом. Вот сдадим караван и займемся.

Комендант встретил их радушно, усадил за стол, даже спросил, не хотят ли чаю. Норкина не тронуло это гостеприимство, он сразу же выпалил, зачем пришел.

— Значит и ты о той бумажке печешься? — вздохнул комендант.

— Что поделаешь, раз вы не завизировали ее с первого раза.

— Не могу я сделать этого, не могу, — комендант даже замахал руками, словно хотел подальше от себя отодвинуть злополучную справку, из-за которой придется конфликтовать с гостями. — Посуди сам: мои зенитчики уже полгода бьют и все мимо!

— Разве это моя вина? — пожал плечами Норкин.

Комендант будто не заметил грубости, продолжал по-прежнему спокойно, доброжелательно:

— Полгода мои бьют мимо, а твои только пришли, еще с девчатами нашими не успели познакомиться, и на тебе, сбили!.. Нет, и не проси, запишу этот самолет на счет своих зенитчиков.

— Чтобы хоть как-то оправдать расход боезапаса? — продолжал хамить Норкин.

— Для поднятия морального духа запишу! — комендант даже поднял вверх палец, подчеркивая этим всю серьезность своих намерений. — Им это вó как надо!.. Слушай... Может, и на счету твоих матросов это первый сбитый самолет?.. Да, дела... Если так... Хотя, не может быть такого! Да я бы с такими орлами!..

Гридин под столом так стиснул рукой колено Норкина, что тому стало больно. Он резко встал, козырнул, как того требовал устав, и вышел из помещения комендатуры. Почти до самой реки шли молча, будто поссорились. Лишь у катеров Норкин спросил:

— С чего это ты начал меня лапать?

— Боялся, что вы сознаетесь, скажете, что и у нас на счету это первый сбитый вражеский самолет.

— Если хочешь знать, Лешенька, за добрую славу

нашего дивизона я не только этот треклятый самолет подарю кому угодно!

Конечно, всю беседу с комендантом почти дословно пересказали матросам. Те полностью одобрили их дипломатический маневр, а Мараговский тряхнул чубатой головой и заявил:

— Ничего, наш день еще не кончился!

Но, чувствовалось, настроение у всех было основательно подпорчено: что ни говорите, а обидно, когда твоя боевой трофей другому приписывают.

А под вечер, когда ждали, что вот-вот можно будет бежать в Киев, от коменданта города прибыл связной и вручил Норкину письмо, в котором очень вежливо говорилось, что несколько дней переправа разводиться не будет и катерам «надлежит действовать соответственно сложившейся обстановке».

— Ну, Лешенька, что скажешь? — смеясь, спросил Норкин.

На лице Гридина было только недоумение, он никак не мог уловить, что развеселило комдива.

— Люблю, Леша, таких хитрых и хозяйственных мужиков, как этот комендант! — смеялся Норкин. — И самолет наш себе ловко забрал, и еще нас же заставляет вместе с зенитчиками охранять переправу! Ведь не будем же мы прятаться, если появятся вражеские бомбардировщики?

Теперь захохотал и Гридин. Потом посерьезнел, даже заволновался:

— Надо поговорить с матросами, настроить их так, чтобы не осрамились...

— Разрешите, товарищ комдив? — подал голос Мараговский, молча присутствовавший во время всего их разговора. И продолжал, как только Норкин повернулся к нему: — Когда вы у коменданта были, сюда приходил полковник — командир дивизии. Очень просил забрать боезапас и подбросить его к фронту. Бездорожье, говорят, полное.

— Выходит, товарищ комендант имеет шанс остаться с носом! — усмехнулся Норкин.

— А мы заодно и здешних немцев, может быть, посмотрим. Интересно, после Сталинграда поубавилось у них спеси или нет? — дополнил Гридин.

Но ни немцев, ни фронта, как такового, не увидели, хотя, если верить полковнику, его дивизия стояла на пе-

редовой. Просто приткнулись катера к заболоченному берегу, к ним подбежали солдаты и мгновенно утащили куда-то и патроны, и гранаты, и ящики с минами и снарядами.

— Михаил Федорович, неужели так и уйдем, не взглянув на немцев? — прошептал Гридин, хотя рядом никого не было.

Норкина и самого подмывало смальчишничать, поэтому он сразу же приказал малым ходом идти вверх по Припяти.

Шли, как показалось, очень долго, скользя в тени деревьев, стоявших плотной стеной вдоль берега. Норкин уже подумывал, что пора и возвращаться, когда Копылов доложил еле слышным шепотом:

— Похоже, катер стоит. Вон там, под ивой.

Действительно, впереди что-то темнело, напоминающее катер. И Норкин скомандовал:

— Стоп, подойти к берегу, — и, едва катера остановились: — Четыре человека — в разведку!

Четыре тени бесшумно скользнули в ледящую воду, почти по грудь погрузились в нее.

Вот, прячась под нависшими над рекой кустами, они подобрались к тому катеру, остановились метрах в десяти от него...

О чем-то шепчутся...

Один из них пошел еще дальше...

Заглядывает в иллюминатор...

Отвязав трос, сплавляет катер к товарищам...

Когда немецкий катер оказался рядом с затаившимися катерами, один из матросов-разведчиков поднял два пальца. И сразу Гридин, Мараговский и еще три человека, уловив жест Норкина, прыгнули на палубу катера, скрылись в его кубрике.

#### 4

С трофейным катером на буксире вернулись в Киев. Трофей, оказавшийся катером понтонеров, осмотрели Голованов с Ясеныным и многие другие. Все хвалили, поздравляли с удачей. Лишь Ясенева проворчал:

— И все-таки, Михаил, не забывай, что ты теперь комдив.

А еще дня через два базу дивизиона вдруг перевели из Киева в заливчик около деревни Мышеловка, и сразу

словно забыли о дивизионе. Может быть, потому, что траление даже подобия мин не обнаружило?

И скоро жизнь опять вошла в обычную колею: точный распорядок дня, корабельные учения, работы, ночные тревоги, неожиданные выходы, стрельбы, учебное траление. Опять замелькали дни. Но они не приносили желанного удовлетворения ни Норкину, ни другим морякам: черноморцы доколачивают фашистов в Крыму, а ты тут слушай соловьиные трели! Всем казалось, что брось дивизион туда — дело сразу пошло бы быстрее.

Сводки Совинформбюро моряки теперь выслушивали с особым вниманием. Все чаще и чаще опять начали поговаривать о том, что флотилия отвоевалась. Не помогали ни беседы, ни лекции о том, что пока Днепровская флотилия находится в резерве, что она может быть брошена в бой в любое мгновение: матросы рвались в бой сегодня, чтобы скорее покончить с войной.

Добавила волнений и весна. Она разукрасила берега Днепра яркой зеленью, словно снегом, усыпала цветами вишни, груши и яблони. По ночам в кустах неистовствовали соловьи и — отчего еще больше страдали матросские сердца — смеялись, пели девчата. Ну разве будешь спокойным в такую ночь? Вот и вздыхали моряки, кляли Днепр и командование.

Одним из первых опять не выдержал Мараговский. Как-то после отбоя он постучал в дверь каюты Норкина.

— Войдите, — ответил Михаил.

— Не могу больше, товарищ капитан-лейтенант, окочиваться здесь, — прошептал Мараговский, остановившись сразу у двери. — Хоть в штрафную, но пошлите!

Глаза его подозрительно заблестели, и он поспешно отвернулся к темному иллюминатору.

Норкин знал, как тяжело сейчас было Даниилу. Ведь они с Гридиным наводили справки, искали следы жены Мараговского — и нашли. Даниил по каким-то лишь ему известным приметам узнал ее полуистлевший труп среди множества лежавших в огромном рве. Ни в тот момент, ни позже никто не видел слез Мараговского. Его катер первым выходил по боевой тревоге, его матросы первыми бросались на огонь, и Норкин думал, что у Мараговского все в душе перегорело, остался только холодный пепел. Но, выходит, ошибся.

— Сделаю, Даня, как ты просишь, — сказал Норкин, вспомнив все это.

Мараговский благодарно взглянул на него и вышел. А Норкин сжал голову руками и долго сидел так. Тошно было ему, он никак не мог разобраться в самом себе: то его неудержимо тянет к Кате, то он прячется от нее и проклинает себя за близость с ней. Действительно, хотя бы на фронт скорей!

Ночь спал беспокойно и впервые встал с головной болью. Тут к нему подошел Селиванов, сказал, смущенно улыбаясь:

— Понимаешь, Мишка, мы с Натой решили записаться... То есть записались, а третьего мая свадьбу справляем... Придешь?

Первого и второго мая празднуют матросы, а третьего можно повеселиться и комдиву. И Норкин принял предложение.

Собрались днем. В маленькой комнате было невероятно тесно. За столом, заставленным бутылками со спиртом и самогонкой, просто чудом умещалось пятнадцать человек. Сначала все сидели чинно, говорили преимущественно о делах, недобрый словом помянули союзников с их пресловутым вторым фронтом, а потом, когда посуда на столе несколько опорожнилась, громко кричали «горько».

Однако в маленькой комнатке было душно, на улице — яркое солнце, молодая зелень, и гости решили прогуляться. Звали и Норкина, но он немного опьянел, ему не хотелось в таком виде показываться в городе, да еще с Катей, и он отказался. Наталья поняла его и заявила тоном, не допускающим возражений:

— Тебя, Михаил, мы никуда не отпустим. И так почти не виделась, а поговорить хочется.

Когда гости ушли, Норкин тоже, чтобы не мешать молодоженам, стал собираться, ссылаясь на неотложные дела. Но тут вмешался Селиванов, молчавший до сих пор:

— И кого ты обманываешь? Нашел дела в праздник!.. Кроме того, раз Натка сказала, что останешься — не спорь.

— Так ведь это ты, а не я у нее под каблуком, — неудачно отшутился Норкин.

— Каблук каблуку рознь, — отпарировал Леня, бесцеремонно снял с ноги Натальи туфлю и поставил рядом со своим ботинком. — Видишь разницу?

— Ленчик, да ты с ума сошел! Отдай туфлю!

— Нашему брату иногда нужно чувствовать каблук на своей шее. Конечно, если он жмет в меру и в нужный момент.

Михаил спорить не стал. Потом они пили чай, и Наталья рассказывала, как они с Дорой Прокофьевной выбирались из горящего Сталинграда. Говорила она спокойно, как о случившемся давно.

— Там, на переправе, меня и ранило осколком, — сказала Наталья, поднимая рукав. Действительно, руку чуть повыше локтя пересекал рубец. Он уже побелел, был чуть заметен, но Леня как-то особенно осторожно и нежно погладил его. — Да все это чепуха! Зато мой Ленчик цел и мы с ним встретились!.. А Дора уехала в Уфу.. Хочешь, дам ее адрес? Она будет очень рада весточке от тебя.

— Адреса не давай, — вмешался Леня. — Он и домой раз в год пишет.

— Правда? — удивилась Наталья. — А ты подумал, каково твоей маме? Неужели ты не понимаешь, что значат для нее две твои строчки?.. Ну, подождите, мальчики! Возьмусь я за вас!

И она взялась. Конечно, прежде всего за Леню. Теперь он появлялся на катерах не только тщательно выбритый, выютюженный, но и спокойный, уверенный в себе. От обычной его суетливости почти не осталось и следа.

С Михаилом она поступила тоже просто. Однажды приехала в дивизион, критически осмотрела каюту и кабинет Михаила и распорядилась:

— Ты пока сиди в каюте и пиши письма, а я в кабине у тебя приберу. Чисто там, а беспорядок. Никакого уюта! — И уже на палубе, вахтенному: — Капитан-лейтенант занят и просил никого не пускать к нему. Пусть обращаются к начальнику штаба и замполиту.

И кто бы мог подумать, что у Натальи, которая беспрекословно выполняла все распоряжения старшей сестры, такой властный характер?.. А живут они с Леней хорошо. Очень хорошо...

Сегодня Норкину не спалось. Он ворочался на своей койке, прислушивался к шорохам.

Вахтенный пробил четыре склянки. Норкин взял фуражку и вышел на палубу. Пахло цветами, нагретой землей и молодой зеленью. Луна прочно обосновалась под черным куполом неба и бросала свой свет на землю.

Белые домики деревни утопали в зелени садов, а развесистые каштаны и кудлатые тополя так обступили заливчик, что казалось, будто катера стоят в огромном ангаре под легкой, но в то же время и плотной крышей.

С берега доносились приглушенный смех и торопливый шепот.

— Стой, кто идет? — окликнул кого-то вахтенный. В его голосе не было слышно ни тревоги, ни требовательности. Он окликнул потому, что этого требовал устав, да и комдив стоял на палубе. Кого остерегаться здесь? Видимо, на вахтенного тоже подействовала майская ночь.

— Свой! — донеслось в ответ, и Норкин узнал голос Гридина. Вот он взбежал по трапу, спросил у вахтенного:

— Где комдив?

— Я здесь, Леша.

— Севастополь освободили! — выпалил Гридин.

Минутная пауза, потом вахтенный радостно ругнулся и спросил:

— Разрешите будить команду?

— Боевая тревога! — крикнул Норкин, спрыгнул с катера на берег и, не разбирая дороги, пошел к домику, где размещался штаб. За его спиной прозвучала первая низкая нота сирены, ее на мгновение заглушила звонкая скороговорка звонка, но она все крепла, становилась выше, выше и над притихшей деревней, над сонным Днепром заметались протяжные, хватающие за сердце вопли сирен. Черные тени матросов метнулись из кустов на катера, загремели откиннутые люки, заурчали моторы, раздалось несколько отрывистых команд, и все стихло: катера к бою были готовы.

— Чего стал, как пень? Пройти мешаешь! — набросился Чернышев на Норкина, потом узнал его и уже не так зло, но и без робости: — Извините, товарищ капитан-лейтенант, но под этим тополем обмывочный пункт разворачиваться должен.

— Не надо его разворачивать, Василий Никитич... Севастополь освободили.

И тут случилось то, чего никак не ожидал Норкин. Он считал Чернышева хорошим хозяйственником, изворотливым снабженцем, для которого все не относящееся к его делам было второстепенным, недостойным внимания. И вдруг теперь Василий Никитич как-то сразу об-

мяк, всхлипнул и, сморкаясь в большой платок, тихонько пробормотал:

— Вот и свершилось... Нет сволочей там больше...

А на площадке перед штабом бурлило черно-синее море. Прожекторы, направленные с катеров, освещали возбужденные лица моряков и пеструю стайку смеющихся девчат, державшихся в сторонке. Они появились здесь сразу после того, как выяснилась причина внезапной тревоги. И над всем этим возвышался Гридин. С непокрытой головой он сидел на плечах матросов, потрясал листком бумаги и что-то кричал. Но его никто не слушал. Зачем? Самое главное уже сказано: Севастополь освобожден! Подробности? Это завтра успеется!

Вдруг раздалась басистая очередь крупнокалиберного пулемета, пули, как цветные жуки, вырвались из-под черного купола деревьев и понеслись ввысь, теряясь между звезд. Это послужило сигналом: хвостатые ракеты тоже вырвались на простор, расплзлись во все стороны, рассыпались на тающие комочки.

Норкин стоял на берегу и, сдерживая волнение, смотрел на матросов, на темное небо, исполосованное пулеметными и автоматными очередями, и не говорил ни слова.

Из-за стволов развесистых каштанов вынырнули два снопа света, подпрыгнули, осветив кусточек белого палисадника, снова упали и поползли прямо на моряков. Норкин узнал автомашину командира бригады и пошел к ней. Она остановилась около штаба, фары потухли, и ночь сразу стала непрогляднее. Открылась дверка и, согнувшись чуть не пополам, из машины вылез Яснев.

— Я еще с половины дороги догадался, что вам все известно, — сказал он, здороваясь с офицерами и матросами, окружившими машину. — Можете не докладывать — все ясно: настроение приподнятое, и поэтому самовольно открыли огонь. Ишь, вторая Москва объявилась. Тоже салютует.

В голосе Яснева не было недовольства. Так иногда ворчит на расточительность сыновей отец, получивший дорогой, но очень понравившийся ему подарок.

Яснев походил по катерам, заглянул в штаб, а потом спросил, словно между прочим:

— А отбоя у вас сегодня так и не будет?

Норкин не успел подать команды: матросы, словно листья, увлекаемые ураганом, очистили берег, скрылись

в кубриках. Наступила тишина. Слышно было, как вздыхал кто-то из вахтенных. Он словно хотел разжалобить пулеметы, около которых нес вахту.

— Ночка-то хороша,—сказал Ясенеv, глядя на звездное небо и прислушиваясь к шелесту листьев.— Последний?

Они вышли на берег Днепра и уселись над безмолвной водой. Луна освещала их лица. Ни журчание, ни плеск не нарушали тишины. Даже соловьи притихли. Словно все вокруг погрузилось в глубокий радостный сон. Только на западе изредка светлело небо: это прожекторы обходили свои участки.

— Хорошо,—опять сказал Ясенеv, снял фуражку и распахнул китель.—Ты, Миша, любишь природу?

Норкин растерялся. Он думал, что разговор пойдет о боевой подготовке, дисциплине, одним словом, о чем угодно, только не о природе.

Любит ли он природу?.. Как-то не задумывался над этим. Мальчишкой любил лазать по горам, спускать камни с почти отвесных круч, а потом следить за их нарастающим бегом; хорошо было и бродить по лесам, выслеживать бурундуков, наблюдать за суетливыми белками, подкрадываться к брошенной «хозяином» берлоге или, связав два бревна, спускаться на них по быстрой, порожистой реке. Все это нравилось. Но о том, что все это — природа, не думал. За годы пребывания в училище и вовсе не замечал ее. Нравилось и море, то манящее-ласковое, то гневное и непокорное, и далекие берега, спускающиеся к морю неприступными серыми скалами. Даже вздыхал белыми ночами, но это, пожалуй, по другой причине. А в годы войны...

— Я на природу с военной точки зрения смотрю,—ответил он развязно, стараясь скрыть свое смущение.—Водная преграда, возвышенность...

— Возвышенность! — вскипел Ясенеv.— Все эти возвышенности по-русски называются горами, холмами, курганами!.. Ха, возвышенность!.. Неужели у тебя душа так зачерствела, что ты земной красоты не замечаешь? Война не вечно будет, да и воевать-то хорошо нельзя, если нет у тебя души, настоящей, большой души!.. Скажи, ты любишь кого-нибудь?

Норкин насупился. Вопрос обидел, кровно обидел. Любит ли он кого-нибудь? Не человек он, что ли?.. Да за одну мамину слезинку...

— Ты, Миша, меня неправильно понял, — сказал Ясенев потеплевшим голосом. — Я не про это... Кого ты любишь: Ковалевскую или эту... новую?

Михаил обнял руками колени и задумался, глядя на черную неподвижную воду, казавшуюся сейчас твердой. Вопрос для него сложный, запутанный. Да, Михаил еще несколько раз ходил к Кате. Его и сейчас тянет к ней, но в то же время он под различными предложениями оттягивал очередную встречу. Почему? Кто его знает...

Он теперь уже более подробно знал биографию Кати, знал и причину, побудившую Катю «пожалеть» его.

— Война, Миша, не разбирает, кто любил, а кто еще только собирается, — сказала Катя в минуту откровенности. — Так и умрешь, не изведав. А про тебя Натка говорила, что ты — отчаянный. Сам смерти в пасть лезешь. Ну вот... Дальше все сам знаешь...

И опять Михаил не спорил с Катей. Он не собирался размениваться на мелочи, но зачем же отказываться от того, что жизнь дает? Катя была первой женщиной в его жизни, но разве это любовь? Если да, то зря поэты на нее столько бумаги и чернил извели...

Или Ольга... Появилась она перед тобой, да еще с Чигаревым — желанная, лучше нет никого. А не стало ее — словно так и надо. Знакомая, и только.

— Смог бы ты хоть с одной из них жить так, как Селиванов со своей женой? — требовал ответа Ясенев.

— Нет, ничего бы не вышло, — ответил Норкин и вздохнул.

— Та-а-ак, значит, не пришло еще твое время. — Немного помолчали, и опять Ясенев начал первым: — Не думай, что я завел этот разговор по долгу службы. Конечно, нам, политработникам, во все нужно вникать, но с тобой статья другая... Дошел до нас слухок, что ты сошелся с этой... Как ее?

— Катя.

— Сошелся с Катей... А что, думаю, за человек она? Будет ли у вас счастье? Ведь завести семью — не огород посадить.

— Рано еще о семье думать. Война.

— Тут, Мишенька, дело такого сорта: полюбишь — не станешь философствовать. Так-то... А вообще как дела в дивизионе?

— Ничего, — ответил Норкин и повеселел. — Только вот Мараговский просит перевести его в действующие

части. Я поддерживаю его просьбу. И рапорт соответствующий заготовил...

— Напрасно, — покачал головой Яснев. Он застегнул китель и надел фуражку, как бы подчеркивал этим, что дружеский разговор окончен. — Так у нас вся бригада разбежится, только дай слабину.

— У Мараговского особое положение...

— Знаю! — нетерпеливо перебил Яснев. — А у других? Возьми Крамарева. Ты знаешь, что его родное село здесь, на Днепре? Сутки хода на катере. Надоедал он тебе просьбами? Ждет, терпеливо ждет, когда комдив вспомнит о нем, догадается и даст ему хотя бы двое суток отпуска. Понимаешь? Только двое суток!.. Дай ему свой полуглиссер, и он мигом слетает... Между прочим, я не приказываю. Ты командуешь, твое и последнее слово. И вообще, товарищ капитан-лейтенант, мало внимания вы уделяете молодежи. Ты хорошо знаешь молодых лейтенантов? Вряд ли. Ты придирчиво проверяешь их, учишь — и все. Ничего больше не скажу, но ты вспомни Кулакова... Теперь о Мараговском. Делом его заняться надо. Настоящим, живым делом. Чтобы он чувствовал, что и здесь крайне необходим... Комсомольцы Киева начали восстанавливать Крещатик. Почему бы вам не включиться в эту работу?.. Я, конечно, не приказываю, тебе решать...

После отъезда Яснева до самого подъема Норкин ходил по берегу около катеров. Он не замечал настроенных взглядов вахтенных, наблюдавших за ним.

Прав, как всегда, прав оказался Яснев. Тут и спорить нечего!

Запели боцманские дудки, а вахтенные, прокричав в люк кубрика уставную команду, добавляли вполголоса:

— Комдив по берегу ходит.

Услышав о комдиве, моментально просыпались самые сонливые, торопливо совали ноги в ботинки и бежали на зарядку. Норкин не делал замечаний, словно он здесь не хозяин, а случайный гость. Он все ходил, нетерпеливо поглядывая на домик, в котором размещался штаб. Там уже проснулись. Слышалось, как откашливался Чигарев, как Чернышев пилил кого-то, а оперативный дежурный настойчиво вызывал штаб бригады. Наконец появился улыбающийся Гридин. Он остановился на крыльце, прищурившись, посмотрел на небо, на катера, увидел комдива и заторопился к нему.

— Здравствуйте, Михаил Федорович!

— Здравствуй, Леша. А я тебя жду.

Гридин перестал улыбаться, нахмурился и уставился на носки своих ботинок. Молодой, недавно получивший офицерское звание, он иногда думал, что комдив и другие офицеры только терпят его присутствие. Действительно, чем он заслужил право быть заместителем командира гвардейского дивизиона? Ему ли воспитывать людей, дравшихся в Сталинграде? Эти мысли больно задевали самолюбие и отравили Гридину не один час его пребывания в дивизионе. Прямых поводов для того, чтобы утверждать это, у него не было, но во многом он видел намек. Вот и сегодня. Почему комдив не разбудил его? Небось, Чигарева, Селиванова или кого-нибудь другого он запросто поднял бы за полночь, а его — не потревожил. Значит, чуждается.

— Я бы тебя разбудил, да сначала сам хотел все обдумать, — словно отгадав его мысли, сказал Норкин, и лицо Гридина посветлело. — Ты был прав, когда предлагал начать здесь строительство стадиона. Если мы уйдем, то он как память о нас останется. И еще. Комсомольцы Киева начали восстанавливать Крещатик. Поможем?

— Само собой! — ответил Гридин.

— Тогда шуруй по своей линии, а моя поддержка обеспечена... И еще... Ясенев здорово всыпал мне за Крамарева. Своей вины не отрицаю, ну а ты, замполит, куда смотрел?..

После обеда матросы с лопатами и ломачами на трех катерах отправились в Киев. Пестиков, устроившись у рубки, рвал пальцами струны гитары, но остальные так шумели и смеялись, что были слышны только отдельные аккорды.

— Десант, к бою! — заглушая все шумы, крикнул Копылов, беря лопату наизготовку.

— Перестань сгальничать! — одернул его Мараговский. Он был назначен старшим и сейчас внимательно осматривал и матросов, и их снаряжение.

## 5

Не пришлось Крамареву побывать дома. Сначала он отнекивался, ссылаясь на то, что сейчас в дивизионе каждая пара рук на строгом учете, а потом Норкин опять

забыл о нем. Дела было столько, что все перестали скучать. Теперь боевые листки рассказывали не только об отличниках боевой подготовки, но и о лучших землекопах, каменщиках, плотниках. Постепенно начали втягиваться в работу и офицеры. Они превратились в десятников, прорабов и просто разнорабочих. А Норкин, как заправский начальник строительства, на оперативках теперь требовал «расширения фронта земляных работ», разносил Чернышева за то, что не хватает ломов, лопат, кирок, что обеды привозятся в Киев холодными.

И вдруг все, к чему привыкли за последние дни, с чем сжились, оказалось ненужным. Началось с телефонного звонка. Он раздался ночью. Оперативный дежурный по дивизиону вялой рукой снял телефонную трубку и сказал, подавляя зевок:

— «Тридцать четвертый» слушает.

— Комдиву, замполиту и начальнику штаба немедленно прибыть к командиру бригады, — сказал адъютант Голованова.

Оперативный дежурный окончательно проснулся, послал рассыльных за Норкиным и Гридиным (Чигарев, как обычно, спал в соседней комнате), и минут через пятнадцать из заливчика на простор Днепра вылетел полуглиссер.

— Зачем вызывают — не знаешь, Михаил Федорович? — спросил Гридин, ежась от свежего ветра.

Норкин покачал головой. Он сам вел полуглиссер, казалось, весь был поглощен тем, чтобы не наскочить на какое-нибудь случайное бревно. На самом же деле и его волновал один вопрос: зачем вызвали? Что случилось? А в том, что случилось что-то большое, важное, — никто не сомневался: Голованов не Семенов, по пустякам тревожить не будет.

Киев приближался с каждой минутой. В предрассветных сумерках уже видны купола лавры, белыми пятнами обозначились дома. Еще немного, и, обдав брызгами гранитную стенку берега, полуглиссер подлетел к Подолу.

— Прикажете ждать? — спросил Крамарев, пересаживаясь к штурвалу.

Норкин кивнул и быстро зашагал к штабу бригады. Там флагманские специалисты, сидя над картами, торопливо строчили какие-то бумаги и, как показалось Норкину, как-то по-особенному посматривали на него и его

спутников. В этих взглядах, бросаемых тайком, он уловил и сочувствие, и откровенную зависть.

— Порохом пахнет, — прошептал Норкин, повернувшись к Гридину.

Тот чуть заметно наклонил голову. За эти минуты он словно переродился. Все мальчишеское, торопливое осталось за порогом штаба. Он подобрался и даже по ковровой дорожке ступал так, словно шел в тыл врага по залежам хвороста.

— Контр-адмирал ждет, — сказал адъютант, едва они вошли в приемную.

— Разрешите войти, товарищ контр-адмирал? — спросил Норкин, останавливаясь у порога раскрытой двери.

— Да, да, — нетерпеливо ответил Голованов, швырнул на стол толстый красный карандаш и поднялся. — Здравствуйте и садитесь. Догадываетесь, зачем вызвал? Ну, Норкин? Ты ведь все время хвастал, что у тебя нюх особый?

— На фронт? — спросил Норкин. После первых же слов адмирала он уже не сомневался в этом. Только почему Голованов нервничает и даже злится? Никогда не замечал за ним ничего подобного.

— Да, на фронт. И там вам придется драться... Здорово драться! — подтвердил Голованов, заложил руки за спину, подбежал к окну, метнулся обратно к столу, остановился около него и продолжил менее зло, решительно: — Ваш дивизион передается в оперативное подчинение Северной группы кораблей флотилии. Немедленно начать подготовку и завтра ночью выйти... Успеете к походу приготовиться?

— Извините, это к Семенову в подчинение идем? — спросил Норкин, до которого только сейчас дошел смысл слов адмирала. — Вот это да!

— Что да? Что? — вспыхнул Голованов. — Разве там не наша флотилия? Или приросли здесь к бабьим подолам?

Голованов наседавал на Норкина, а тот чувствовал, был уверен, что именно вот эта передача дивизиона в подчинение к Семенову и волновала, беспокоила адмирала.

— Базу со штабом дивизиона оставить на старом месте, — продолжал командир бригады уже спокойнее. —

С ними — начальника штаба. Остальным немедленно готовиться к походу. Вопросы есть?

— Все ясно, — ответил, вставая, Норкин. — Разрешите идти?

— Ну, тогда попутного ветра и три фута под килем, — окончательно смягчился Голованов.

Но когда Норкин был уже у дверей, адмирал окликнул его. Норкин, конечно, остановился. Адмирал быстро подошел, положил руки ему на плечи и сказал:

— Ты там смотри... Понял? Я тебя только в оперативное подчинение передаю... Все понял?

— Так точно, все.

— Ну, тогда ступай, — сказал Голованов и подтолкнул его к двери. — Мы с Ясенывым еще заглянем к вам в дивизион.

Всю дорогу до базы молчали. Норкин мысленно прикидывал, что и в каком количестве взять с собой, какие распоряжения отдать перед уходом, наконец — чем вызвана эта передача дивизиона Семенову. На фронте был, как говорили матросы, устойчивый штиль; сводки Совинформбюро, похожие друг на друга, как близнецы, были безрадостными. Иными словами, ничто не предвещало начала больших боев, и вдруг — к Семенову! С чего бы?

Гридину, наоборот, хотелось поговорить, но он сдерживал себя оттого, что молчали остальные.

А Чигарев злился. Почему адмирал так категорически приказал оставаться здесь именно ему? Значит, не забыл еще Голованов старых ошибок, не доверяет. А ему так хотелось на фронт! И больше всего, пожалуй, из-за Ковалевской. Чигарев чувствовал, что слишком далеко они зашли для простой дружбы, что еще немного — и он признается ей в своей любви.

Ольга, кажется, не любит Михаила. После того случая, когда он ушел с Катей и мочевал у нее, даже имени его слышать не хочет. Самое время сейчас говорить Ольге о любви, да Норкин уходит на фронт. Что ни говорите, а толки будут: дескать, как только Норкин уехал, так он, Чигарев, осмелел, полез со своей любовью...

Полуглиссер подошел к борту тральщика. Норкин поднялся на его палубу и сказал дежурному офицеру, встречавшему начальство:

— Командиров отрядов ко мне. Командира базы — тоже!

Потом Норкин быстро прошел в свою каюту, где все было прибрано заботливыми руками Натальи, раскрыл лоцманскую карту. Да, дорожка знатная... Сначала по Днепру, потом по Березине... Сотни километров по незнакомым рекам, на которых даже знаки речной обстановки не выставлены! А это значит — определять фарватер только по приметам, днищем катера нащупывать глубину на перекатах...

Когда дверь перестала скрипеть, Норкин спросил, не отрываясь от лоцманской карты:

— Все собрались?

— Так точно, — сухо ответил Чигарев и отвернулся к окну.

— Начнем, — сказал Норкин и выпрямился. — Объявляю готовность номер три... На фронт выходим сегодня ночью. Немедленно еще раз проверить машины, документацию, получить боезапас, топливо. Командиру базы...

Чернышев вскочил и замер, раскрыл блокнот.

— ...немедленно выдать все. Посадить всех писарей, если мало — забирайте штабных, но чтобы к вечеру оформление накладных, требований и прочих бумажек было закончено!

— Слушаюсь, будет исполнено.

— Выдай, Василий Никитич, и энзе. Понимаешь? Те снаряды, что в ведомостях тыла не числятся... У Семёнова на голодный паек наверняка посадят.

— Не взять всех...

— Дай, сколько возьмут!.. Ты, Владимир Петрович, чуть я просигналю — гони ко мне тральщики со снарядами.

Чигарев медленно опустил голову.

— Выполняйте!

Непривычно тихо на катерах. Не слышно обычных шуток. Матросы безмолвны, как тени. Пулеметчики набивают ленты, аккуратно укладывают их в коробки, а остальные носят ящики со снарядами. И все это делается без понукания. Даже командиров отрядов и катеров не видно: они проверяют карты, журналы, еще раз просматривают таблицы условных сигналов.

Под вечер приехал Голованов с Ясеневым. Они обошли все катера, заглянули в штаб, поговорили с матросами и остались довольны.

— Готов, значит? — спросил Голованов, глядя на матросов, которые швабрами уничтожали последние следы

недавнего аврала. — Быстро справились, молодцы... Еще одно запомни: скрытность, скрытность и еще раз скрытность. Без отличительных огней идите. Не побьетесь?

Норкин невольно улыбнулся. Только так и ходили все эти месяцы. Война на Волге многому научила.

— Ну, ну, верю, что умеете, — улыбнулся и Голованов.

Норкин решил воспользоваться хорошим настроением адмирала и спросил о том, что больше всего волновало его в эти часы:

— Одного не пойму: что такое за штука Северная группа флотилии, которой Семенов командует? И почему именно мой дивизион туда перебрасывается? Или у меня своей бригады нет?

Голованов переглянулся с Ясенывым, взял Норкина за локоть, отвел подальше от катеров и лишь тогда сказал, понизив голос, хотя близко и не было никого:

— Командование фронта поставило перед флотилией ответственной задачу: артиллерийским огнем и высадкой тактических десантов способствовать наступлению вдоль Березины двух стрелковых корпусов. Сам понимать должен, какой важности эта задача, ее решить далеко не каждый сможет. Вот поэтому и создается Северная группа. В нее войдет первая бригада. А ты, наверно, ее силы знаешь?

Норкин кивнул, ибо точно помнил, что она состояла из 2-го гвардейского дивизиона бронекатеров (12 единиц), 10 сторожевых и 9 минных катеров, 12 полуглиссеров и плавучей батареи № 1220.

— Твой дивизион придается той бригаде. Для усиления придается.

— Но ведь та бригада из Припяти...

— Что было, то было! — перебил его Голованов. — Если больше вопросов не имеешь, от всей души желаю счастливого плавания!

Яснев ничего не сказал. Он обнял Норкина, потом, оттолкнув, почему-то погрозил пальцем и сел в машину.

Ночь неохотно опускалась на землю. Солнце давно уже спряталось, а лучи его все еще бродили по небу, словно из озорства поджигали кромки облаков, и красноватые отблески небесных пожаров подали на реку. Она, казалось, горела. Только в восточной части неба робко светились две звездочки. Они, как две провинци-

алки, впервые попавшие в большой город, старались быть незаметными, боязливо жались одна к другой.

Дивизион разделился на два лагеря: уходящие не спускались с катеров и с видом очень занятых людей слонялись по палубам, украдкой поглядывая на берег; остающиеся толпились у самой воды, перекидывались скупыми фразами. Обособленно держались девчата, прибывшие сюда из деревни. Они смотрели на катера из-под развесистых каштанов.

Наконец стемнело. Купы деревьев стали чуть заметными на фоне неба.

— Пора, — сказал Норкин, повернулся к Чигареву, протянул руку. — Держи, Володя. Не забудь, о чем я тебе говорил.

Чигарев горячо стиснул ее, долго не выпускал из своих рук, будто хотел сказать что-то, потом порывисто притянул к себе Михаила и неумело чмокнул в щеку.

— Даю пять минут, — бросил Норкин через плечо и покосился на Селиванова. Леня благодарно взглянул на него и со всех ног бросился к штабу, где стояла Наталья.

Ровно через десять минут Норкин приказал:

— По местам стоять, со швартовых сниматься!

И тишину разорвал гул моторов. Ни огонька, ни человеческого голоса. Плавно отошел от берега первый катер, за ним второй, третий, их приземистые силуэты, как тени, заскользили по заливику к Днепру.

Норкин устроился на катере Мараговского и теперь сидел перед рубкой, вглядываясь в ночной мрак. Мимо проплывал Киев. Его дома, громоздившиеся на горах, сливались с ними и походили на мертвые, безлюдные скалы. Казалось, там все спали и никто не видел катеров, идущих с приглушенными моторами и с погашенными огнями. Но вот вспыхнул яркий огонек и замигал, бросая точки и тире.

— Желаю счастливого плавания, — прочитал и доложил сигнальщик.

— Ответьте.

Теперь замигала лампочка на катере Мараговского, ставшего флагманским. Несколько точек и тире. Только одно слово: «Спасибо». И снова ночь, темнота.

Взорванные фермы моста вынырнули неожиданно. Теперь бы только проскочить в тот узкий проход... Впереди вспыхнули два слабых огонька. Это Крамарев с

Пестиковым зажгли фонари на железных балках, торчавших по краям прохода. Шума воды не слышно, но катер уже попал в ее неистовые струи и, как разыгравшийся конь, рыская, бросался из стороны в сторону.

— Самый полный! — говорит Мараговский. Звенит машинный телеграф, катер делает рывок вперед, еще мгновение — и у самых бортов мелькают изогнутые балки. Дорога свободна!

Без огней, следя за белым буруном впереди идущего, крадучись катера устремились на север.

Не сомкнули в эту ночь глаз и Наталья с Катей. Проводив последний катер, они решили идти в Киев.

— Подождите, Наталья Прокофьевна, сейчас машину организуем, — сказал Чернышев, вечно спешащий куда-то.

— Спасибо, Василий Никитич, мы и так дойдем.

— Ведь четырнадцать километров...

— Дойдем.

И они пошли не торопясь, понуриив головы, каждая занятая своими думами.

Каким коротким оказалось счастье Натальи! Только месяц... «Медовый месяц», — грустно подумала она. За все время замужества лишь один день и были вместе. В другие дни встречались поздним вечером, а чуть начинало светать — Ленчик уже уходил, чтобы поспеть к подъему. И все-таки она ни в чем не раскаивалась! Пусть мало побыли вместе, пусть разлучила война, — они нашли друг друга, узнали, что такое счастье. Только бы ничего не случилось с Ленчиком...

Тоскливо было на душе, но в то же время и верила Наталья, что эта разлука — последнее испытание.

Иначе чувствовала себя Катя. Она шла по обочине дороги, и слезы текли по ее щекам. Даже проститься не подошел... Постеснялся... Действительно, кто она ему? Пе-пе-же. А вот она, кажется, полюбила. Впервые в жизни полюбила...

Трудными для Кати были последние два года. Уехала из дома с намерением помогать солдатам, облегчать их страдания, и горячо взялась за дело. Ее не смущали ни страшные гноящиеся раны, ни длинные бессонные ночи около постели капризного раненого. Но был у нее один недостаток, от которого она не смогла, да и не пыталась,

избавиться. Ей всех было жалко, она полностью находилась во власти безрассудной жалости. Попросит у нее раненый наркотик — она знает, что его без разрешения врача давать нельзя, покачает отрицательно головой, но раненый взмолится и... она уступит. Потом кается, но завтра все это повторяется снова. Жалость и губила ее.

В госпитале, где она работала, лежал капитан-танкист. Лицо его было обезображено ожогами. Он говорил Кате о своей любви, уверял, что без нее и жизнь не в жизнь. Не помогло. Тогда танкист изменил тактику, начал жаловаться на свое уродство, сетовал, что никогда ему, уроду, не видать счастья, не иметь своей семьи. Катя вступила с ним в спор, а потом, чтобы окончательно убедить его в противном, согласилась стать его женой. «Он любит меня, и я обязана скрасить его существование, — думала она и даже считала свой поступок маленьким подвигом. — Ведь он стал таким, защищая меня!»

Свадьба была отпразднована в лесочке за госпиталем, а медовый месяц длился целых две ночи. Уезжая, капитан пообещал писать и вызвать ее к себе при первой возможности. Очевидно, так и не появилось у него этой возможности.

После него одни домогались ее, других, как и Норкина, от жалости пригревала сама. Кате казалось, что для нее теперь все уже кончено, что она навсегда излечилась от глупости, которую почему-то называют любовью. И ошиблась: чувство подкралось исподволь, принесло с собой муку раскаяния за прошлое, вечную тревогу за настоящее и неутолимую жажду, страстное желание быть с любимым всегда и везде.

— Перестань, Катя, плакать, — сказала Наталья, беря ее под руку. — Слезами не вернешь их... Скоро сами к ним поедем.

— А мне что из этого? — зло спросила Катя.

— Встретитесь...

— Ну? Что замолчала? — Катя остановилась и, прищурившись, с насмешкой смотрела на подругу. — Встретимся, а дальше что?

Наталья удивленно смотрела на Катю. Та стояла перед ней злая, решительная, казалось — готовая на любой самый необдуманный поступок.

— Катька... Что с тобой?

— Со мной? Все со мной! И я сама, и прошлое!

А счастья не было и не будет! — Голос Кати забирался все выше и выше, вдруг оборвался, и она, не разбирая дороги, бросилась в лес.

А на катерах было все по-прежнему: ровно гудели моторы, спокойно несли вахту матросы. Даже фарватер пока находили легко и ни разу не коснулись мели.

Ночь, словно почувствовав, что она не может остановить движение гвардейцев, начала потихоньку отступать. Погасли звезды, нежная голубизна разлилась по небу. И вдруг разом вспыхнули белые перья облаков и запылали, окончательно прогоняя ночь. Скоро взошло и солнце. Большое, золотистое, оно быстро поднялось над лесом, а поднявшись, сразу уменьшилось, перестало спешить, убедившись, что за ночь ничего особенного не произошло. Его лучи осторожно и нежно ощупывали лица людей, чуть отпотевшую броню катеров, весело играли в складках трепещущих на ветру гвардейских флагов.

— Может, отдохнете, товарищ капитан-лейтенант? — предложил Мараговский, который сегодня выглядел бодрым и даже жизнерадостным.

— Хорошо идем, — ответил Норкин, оглядываясь.

Катера, словно связанные невидимой нитью, точно выдерживали равнение и быстро бежали вверх по Днепру. Впереди пенили воду высокие, стройные тральщики. За ними утюжили реку бронекатера, недовольно ворча, будто жалуясь, что их не пускают вперед, сдерживают накопившуюся за зиму силушку.

— Отдохнуть вам надо, — продолжал наседавать Мараговский.

— Если ничего не случится, придем раньше указанного срока.

— Это как пить дать, а поспать вам все же надо.

— Сообрази, Даня, чайку горяченького.

Мараговский махнул рукой: «Э-э, да что тут говорить!» — и крикнул коку, копошившемуся около печурки:

— Чаю комдиву! И покрепче!

Под вечер, когда тени катеров стали заметно длиннее, на катере, где шел Гридин, замелькали красные семафорные флажки. Копылов, изнывавший от скуки, с явным удовольствием прочел:

— «Комдиву. Прошу сличить место с картой. Гридин».

Норкин взял лоцманскую карту и взглянул на неё. Ничего особенного не видно. Та же голубая лента реки. Ни дебаркадера, ни приметного знака. Зачем же Гридин просит сверить место? Норкин сдвинул фуражку на затылок, сморщил лоб и еще раз посмотрел на карту. И вдруг он увидел несколько заштрихованных четырехугольников и около них надпись: «д. Думка». Думка... На берегу ни одного домика. Лишь тропинка вьется по обрыву и кончается у воды. Думка...

Крамарев сидит в своем полуглиссере и не спускает с обрыва влажных глаз. Словно ощупывает каждый камешек, словно ищет что-то.

— Крамарев, — тихо окликает его Норкин.

Тот вздрагивает, растерянно смотрит на комдива, молча встает. В его глазах скрытая надежда.

— Здесь? — спрашивает Норкин.

Крамарев кивает.

— Подойти к берегу, — приказывает Норкин.

Катер сбавляет ход и осторожно притыкается носом к обрыву. Крамарев бросается к борту, хочет спрыгнуть на землю, но остается на месте: никто не имеет права сойти раньше комдива. Норкин легонько толкает его в спину. Прыжок — и Крамарев бежит вверх по тропинке. От него ни на шаг не отстает Пестиков.

Весь дивизион остановился у деревни Думка. Поднялись моряки на обрывистый берег. Ни одного дома. Несколько печек-временок — и всё. Из земли торчат железные трубы. Почти рядом с ними темные ямы — лазы в землянки.

Вперед шагал Крамарев. Нет больше родной деревеньки. Нет отчего дома... Никого и ничего не осталось у Крамарева... Дожди и вешние воды давно смыли пепел, и теперь буйная крапива растет там, где четыре года назад стоял дом. Вытопан огород. Не найдешь и следа грядок. Нет и сада. Вместо большого тенистого тополя — обгорелый пень... Понутив голову, стоит Крамарев над ним. О чем думает он сейчас? Не угадаешь. Да, пожалуй, и нет у него сейчас мыслей.

Сзади Крамарева, не нарушая его одиночества, стоят боевые товарищи, побратимы по прошлым боям. Ни одной улыбки, ни одного лишнего движения. Подойдет матрос, снимет бескозырку и замрет.

Приход катеров не остался незамеченным. Из землянок вылезают люди. Это женщины, старики и детвора.

Они молчаливо смотрят на моряков, не понимая, почему они без фуражек стоят именно у пепелища хаты бывшего председателя колхоза Крамарева. Тут по всему берегу надо ходить с непокрытой головой: везде могилы, на каждом метре чья-нибудь жизнь загублена.

Наконец от толпы отделилась пожилая женщина. Лицо ее изрезано морщинами. На иссохших руках, покрытых узловатыми синими венами, она держала белобрысого мальчугана лет пяти. Болезненно бледный, с глазами, налитыми недетским страхом, он прижимался к ее впалой груди, сосал грязный палец и недоверчиво глазел на незнакомых людей.

— Уж не Иван ли? — не то спросила, не то подумала вслух женщина.

Крамарев медленно повернулся к ней.

— Тетка Степанида...

— Ей-богу, Иван! — воскликнула женщина, размазала ладонью слезы и начала тормошить мальчонку: — Глянь, Петрусь, кто это приехал? Батяко твой приехал!

Крамарев со стоном потянулся к сыну. Мальчик вынул палец изо рта, обхватил тетку за шею и спрятал лицо в ее головном платке, свалившемся на плечи.

— Ты чего, Петрусь? — ласково говорила тетка Степанида, пытаясь освободиться от цепких детских рученок. — Ведь твой батяка приехал, гостинцев привез!

— Петрусь... Петрусь, — шептал Крамарев и по-прежнему робко тянулся руками к сыну.

Выручила тетка Степанида. Она разжала пальцы мальчонки и передала его отцу, который нежно и в то же время крепко прижал его к себе.

Петрусь на руках отца сидел с таким видом, словно отбывал наказание, и все время смотрел на тетку Степаниду, не понимая, почему она отдала его этому незнакомому дяде и почему называет его батякой.

— Вон там, где раньше клуб был, и похоронили их всех, — тихо, поминутно смахивая слезы, рассказывала тетка Степанида. — А Петрусь-то в то время у меня лежал. Ножку ему бревном придавило... Лечила я... Да разве без докторов с таким делом справишься?

Крамарев посмотрел на ноги сына. Босые, грязные, как у всех остальных мальчишек. Но одна из них, правая, уродливо скрючена. Крамарев судорожно глотнул воздух, прижал к себе сына и замер. Ох, сын мой, сынку...

Крамарев смотрел в землю. Вдудуались желваки на скулах Мароговского. Норкин отвернулся к землянкам. А тетка Степанида все рассказывала. И видели моряки горящую хату, слышали доносящиеся оттуда голоса отца, матери и жены Крамарева.

— Время выходит, — прошептал Карпенко, подходя к Норкину.

Норкин взглянул на часы. Да, пора... А Петрусь уже немного освоился. Он теребит ремешок на фуражке отца, пытается открутить блестящую пуговицу. И отец помогает ему: вырывает ее с мясом. Ничего не жаль для сына. За одну слезинку его готов Крамарев жизнь отдать!

— Мотористы говорят, что наворачстают, — прошептал Гридин, пробившийся к комдиву через толпу. Норкин кивнул.

Крамарев, по-прежнему прижимая к себе сына, отошел в сторону, присел на обгорелый пень, между корней которого выбился тонкий зеленый стебелек. Постепенно распалась толпа. Норкин заметил, что некоторые матросы, пошептавшись с товарищами, убежали на катера и скоро вернулись с тугими вещевыми мешками. Несколько мешков исчезло в землянке тетки Степаниды, а остальные разобрали жители.

— Там немного еды и списанное обмундирование, — тихонько пояснил Гридин, заметив удивленный взгляд командира дивизиона. — Я разрешил. Не возражаете, Михаил Федорович?

— Нет, Леша, не возражаю, — так же тихо ответил Норкин, взяв Гридина за локоть и спросил, уточняя: — Значит, зачисляем маленького Крамаренка на все виды довольствия?

Только отец не подарил сыну ничего, если не считать пуговицы, которую потребовал сам Петрусь. Да сын и не нуждался в подарках от него — понял, что отец дороже всего, — доверчиво обнял сильную отцовскую шею и что-то шептал ему в ухо. Отец радостно улыбался, слушая его.

— Пора, — наконец сказал Норкин и, словно извиняясь, посмотрел на матросов. — Ты, Крамарев, оставайся, завтра с Пестиковым догоните на полуглиссере.

Крамарев прижал к себе сына, поцеловал несколько раз, передал тетке Степаниде и сказал, низко поклонившись:

— Спасибо, тетка Степанида... Век не забуду...

Ревут моторы катеров, и они несутся, наверстывая потерянное время. Сотни матросских глаз шарят по реке, отыскивая притаившиеся опасности.

— Что же ты... не остался? — спрашивает Мараговский.

— Зачем сердце ему и себе рвать? — отвечает Крамареv. — После войны совсем вернусь.

Злобно шипит за бортом вода. Кровавая луна выполняет из-за леса.

— А еще говорят, чтобы я злобу свою схоронил, — доносится до Норкина голос Мараговского, и ему кажется, что он даже видит его кривую усмешку, которая сводит губы.

Черная, непроглядная ночь. Такая же черная злоба заливает душу Мараговского и других матросов. Они с нетерпением ждут встречи с врагом.

А катера идут вперед, пожирая километры безлюдной реки, с каждым часом все приближаясь к той незримой черте, где не нужно будет сдерживать злость.

## *Глава третья* **В ОЖИДАНИИ БУРИ**

### 1

Последние полтора месяца капитан первого ранга Семенов был доволен жизнью. Назначение командующим Северной группы льстило самолюбию (не смогли обойтись без бывалого, проверенного в боях командира!), но еще больше приятных минут доставило сознание того, что, как он считал, ему удалось даже изменить состав частей, назначенных в группу. По первоначальному плану она должна была состоять из двух дивизионов тральщиков, отряда катеров противовоздушной обороны и трех бронекатеров-малюток. Разве это силы? С такими силами ни о каких наступательных операциях и думать не приходилось: слишком слаба была огневая мощь, и, что того хуже, — все те катера были укомплектованы молодняком и запасниками, которым уже давненько перевалило за сорок. Молодежь рвалась в бой, но можно ли сколько-нибудь серьезную операцию доверить необстрелянным головам? А «сорокаты», как любовно называли моряки

старичков, наоборот, были чересчур спокойны. Вот если бы заполучить что-то среднее!..

Вот и поглядывал Семенов с завистью на 1-ю бригаду и дивизион Норкина. Как бы их прибрать под свою команду?

— Эх, и загремел бы тогда Семенов! На весь мир загремел бы! — изливался Семенов перед своим адъютантом, который был способен часами выслушивать любые речи своего начальника. — Загремел бы я, Шурка?

— Так точно, загремели бы.

— То-то и оно... А что Голованов может? Зачем ему такую силищу? Баб на Подоле обхаживать?

— Так точно, не нужна она ему.

— А я напишу рапорт командующему, и пусть он, так сказать, наведет порядок. Как думаешь, Шурка?

«Шурка» пригладил рукой свой седеющий ежик, осторожно вздохнул и ответил:

— Непременно наведет.

Вот тогда Семенов и написал обстоятельную докладную на имя командующего флотилией. В ней говорилось о задачах, которые поставлены перед Северной группой, о бесспорной слабости ее сейчас и еще о многом другом. Семенов не пожалел красок, и перед командующим оказалось два выхода: усилить группу гвардейцами или в самый последний момент доложить главнокомандующему, что флотилия воевать не может. Командующий флотилией, недавно получивший звание капитана первого ранга, конечно, избрал первое.

— Нет, брат Шурка, есть еще у Семенова порох в пороховницах, и тут не навоз лежит! — сказал Семенов, прочитав приказ командующего, и похлопал себя по лбу. — Такие сейчас у нас с тобой дела здесь будут, что сам Нельсон в гробу от зависти перевернется!.. Хоть сейчас сверли дырки на кителе! Это тебе не сорок первый год!

Адъютанту казалось, что он знал своего начальника, как говорится, вдоль и поперек, мог по легкому покашливанию безошибочно определить настроение, по еле уловимому движению губ, бровей или руки догадаться о том, кого вызвать и зачем, но теперь удивленно смотрел на Семенова. Хитер старик! Действительно, сейчас не сорок первый год!

— Это когда армия отступает, правительство на орден скуповато бывает и командующим только взыскания

лепит, — развивал Семенов свою мысль. — Там хоть горы свороти лично — не заметят. Теперь — другой коленкор! Как рванем — дым коромыслом! Погуще, чем в гражданскую!.. Готовь, Шурка, дырки: с Семеновым, брат, не пропадешь!

Одно лишь портило радужное настроение: опять придется работать с Норкиным, с этим зазнавшимся выскочкой. Только теперь, мил дружок, обстановочка изменилась! Не в Киеве, не побежишь под крылышко к Голованову или Ясеневу.

Так успокаивал себя Семенов, но на душе у него было смутно. Все-таки Норкин — командир гвардейского дивизиона, его так просто не прижмешь к ногтю.

Семенов не любил, побаивался, но и уважал Норкина, надеялся на него. Уважал за находчивость в бою, умение обращаться с людьми и за военное счастье, в которое искренне верил. «Прибрать бы этого дьявола к рукам, а там дело пошло бы!» — не раз думал Семенов и хмурился. Пробовал уже. Еще в Сталинграде. Приглашал к себе домой, говорил, что дочка скучает и будет рада новому человеку. Отказался Норкин, придумал причину. А ведь дело-то ясное: уцепился за юбку своей врачихи и боится отцепиться! Эта отцовская обида, пожалуй, больше всего и повлияла на их взаимоотношения.

А пока дивизион Норкина не прибыл, Семенов занимался текущими делами: ежедневно заседал на оперативках, рассказывал офицерам о гражданской войне или уходил на «рекогносцировку», как он называл свои кратковременные отлучки на полуглиссере. Штаб Северной группы располагался в Рыбацкой слободе, отсюда до фронта было еще идти да идти, самолеты противника почти не тревожили маленький поселок, вот и позволял себе командир группы эту маленькую роскошь. Для новичка странным показалось бы лишь то, что «рекогносцировки» неизменно производились в сторону, противоположную фронту. Об истинной причине этого знали только сам Семенов и частично его адъютант.

Дни стояли жаркие, безоблачные. Ни на реке, ни на берегу не видно ни одной живой души. Все попрятались в тени, отдыхали. Только с наступлением короткой июньской ночи оживали берега реки. Но едва солнце успевало скрыться за волнистой каймой горизонта, как воздух начинал дрожать от гула моторов фашистских самолетов. Сначала создавалось впечатление, что гудят сонные му-

хи, но потом гул становился все явственнее, мощнее, и скоро в нем тонули все другие звуки. Порой до слободы доносились глухие удары, вздрагивала земля и багровые вспышки озаряли небо. Прожекторные лучи, как ножницы, резали небо, а самолеты все шли, шли и бомбили глубокие тылы. Моряки порой видели черные силуэты самолетов, но огня не открывали: приказ запрещал!

Так было изо дня в день. И вдруг в ночь на 19 июня все изменилось. Ночь, как и предыдущая, была душная; как и раньше, потянулись на восток фашистские самолеты. Первый их эшелон уже прошел слободу, и тут в небо ударил густой столб разноцветных искр. Они, казалось, вырывались из самой земли, будто сама земля поднималась на свою защиту. Искры взметнулись веером, и на темном небе за несколько секунд возникла огневая стена.

— Какой там дьявол стрельбу поднял?! — крикнул Семенов, вылезая из штабной землянки.

Ему никто не ответил.

— Я этому мерзавцу пропишу ижицу! — гремел Семенов, потрясая кулаком. — Оперативный дежурный! Послать полуглиссер и выяснить!

Фашистские самолеты сбросили несколько бомб, и стена огня сразу стала плотнее: к трассирующим пулям прибавились и снаряды.

— Отставить полуглиссер! — распорядился Семенов. Он уже убедился, что неизвестные огневые точки только отвлекают на себя самолеты, что штабу никто и ничто не угрожает, а раз так, то зачем рисковать полуглиссером? Пусть те умники сами выкручиваются, как знают и смогут.

Коротка июньская ночь. Кажется, давно ли заливал землю холодный лунный свет, давно ли вышли на ночную вахту соловьи, а небо уже начало светлеть, и среди соловьиного пения затерялся звук моторов последнего улетевшего самолета. Теперь только соловьи и тарыхтящий движок радиостанции нарушали тишину. Семенов зевнул, зябко повел плечами, скрылся в землянке и лег на койку. Самое время спать, а сна ни в одном глазу. И все из-за этих чертовых огневых точек! Откуда они взялись? Вчера пусто было, а тут... Славно лупили! Хотя никого и не сбили, но сразу видно, что дело свое знают. Такую огневую завесу поставили, что посмотришь на нее, посмотришь, а соваться — еще подумаешь.

Нет, что ни говорите, а проще было в гражданскую. Ни тебе самолетов в таком количестве, ни танков, ни огнеметов, ни прочей гадости. Знай рубай да постреливай!

Семенов размечтался, забылся, и вдруг его привычное ухо вновь уловило гул моторов. Слабый, словно захлебывающийся, он медленно плыл, заполняя ночь.

— Шурка! Опять летят, что ли?

Адъютант, спавший за дощатой перегородкой, перестал храпеть. Секундная пауза, и недовольный сонный голос спросил:

— Слушаю вас?

— Кого там черт несет? Или оглох, не слышишь?

Заскрипела койка и, кашляя, адъютант вышел из землянки. Семенову показалось, что тот отсутствовал вечно, он хотел было встать или крикнуть, но в это время в прямоугольнике двери появился силуэт человека.

— Дивизион Норкина подходит, — сиплым голосом доложил адъютант.

— С луны он, что ли, свалился? Рано еще ему...

— Уже позывными обменялись.

Семенов быстро оделся и вышел из землянки. По реке плыли редкие, почти прозрачные пятна тумана. Среди них плотным строем клина шли катера. «Ишь, как отразил атаку самолетов, так и сюда пришел», — подумал Семенов. Сейчас он, старый моряк, забыл о своих чувствах к Норкину и на все смотрел глазами профессионала. Молодцы! Такое расстояние прошли, а порядочек образцовый!

Катера, сбавив ход, рулили к берегу. Семенов нахмурился и скрылся в землянке, бросив через плечо:

— Шурка, лампу!

Керосиновая лампа принесена. Красноватый язычок пламени вздрагивает в закоптелом стекле. Семенов достал из зеленого ящика-сейфа первую подвернувшуюся под руку папку с документами и сделал вид, что очень занят, а сам прислушивался.

Вот заглушили мотор последнего катера. На берегу сдержанный говор. Значит, здешние уже встретились с гвардейцами, обнимаются, делятся новостями... Кто-то быстро поднимается к землянке.

— Капитан первого ранга отдыхает?

Семенов узнает голос Норкина.

— Какой там отдых! — ворчит Шурка. — С вечера не ложился. Работа!

Семенов одобрительно крикает: молодец Шурка!

— Доложите ему о нашем прибытии.

— Давно доложено. У нас не как у других, служба поставлена.

Ну разве не золото Шурка?! На все у него готовый ответ, и не просто так, а в самую точку!

— Разрешите войти, товарищ капитан первого ранга?

Семенов торопливо согнал с лица самодовольную усмешку и ответил устало, раздраженно:

— Да, входите.

— Дивизион... — начал было Норкин, но Семенов перебил:

— Что за стрельбу вы там устроили? Вам приказано совершать весь переход скрытно, а вы такой трезвон подняли, что в Берлине услышать могли! Это вам не в Киеве на Крещатике девок тралить! Воевать пришли! За такие дела у нас в гражданскую к стенке ставили!

Начав сравнительно спокойно, решив поругать только для вида, Семенов увлекся, вошел в роль и теперь разносил Норкина от всей души, искренне веря в свою правоту.

— К стенке ставили! Понимаешь? К стенке!

Больше Норкин не хотел и не мог терпеть. Он не рассчитывал на теплую встречу, однако и разноса не ждал. Торопился, ночей не спал — может, завтра в бой, а тут...

— А тех, кто баржи со снарядами без охраны бросает, у вас к стенке в гражданскую не ставили? — выпалил он, тоже повышая голос. — Где это видано, чтобы их, даже не замаскировав, посреди реки на якоря ставили? Вот и пришлось исправлять чужую глупость!

Семенов осекся. Как он мог забыть про баржи! Пятую ночь там болтаются! Ладно, что их пока еще не разнесли в щепки... И, чтобы скрыть смущение, Семенов раскрыл лоцманскую карту и ткнул пальцем в голубую ленту реки:

— Здесь занимай огневую позицию. Оборудовать энпэ, протянуть нитки, выбрать цели и — с богом! Чтобы фрицы у тебя и дохнуть не смели!

Норкин нагнулся над картой, измерил расстояние от огневой позиции до линии фронта и удивленно спросил:

— Так и стоять на предельной дальности стрельбы?

Семенова опять прорвало. Раньше о месте стоянки катеров он не подумал, сейчас ткнул пальцем наугад, но

не сознаваться же в этом мальчишке?! Побагровев, он стукнул кулаком по карте и крикнул:

— Умники! Мы здесь ночей не спали, все обдумывали, а он пришел и сразу учить! Ясен приказ? Выполняйте!

Норкин не спеша нанес на свою карту место огневой позиции, козырнул и вышел. А еще через несколько минут его полуглиссер проложил к фронту первую пенную дорожку. За ним, угрюмо ворча приглушенными моторами, потянулись остальные.

Вот и указанное место. Селиванов даже присвистнул от удивления.

— Ты один думал или кто помогал? — спросил он у Норкина.

— В жизни иногда бывает: один дурак напутает, а тысяча умных разобратся не могут! — ответил Норкин и выругался. — Становись к тем кустам!

— Точно! Словно для нас специально готовили! — согласился Леня.

Отлогий берег, поросший низкими кустами, у самой воды кончался обрывом, и катера подошли к нему вплотную, скрылись под ветвями, нависающими над рекой. Норкин с ненавистью взглянул на высокий голый яр, который Семенов навязывал ему, и от злости даже плюнул на неповинную землю.

Через несколько минут дивизиона как не бывало. Только несколько радужных бензиновых пятен, то ширясь, то сжимаясь, плыли по сонной реке. А по зарослям кустов, прдираясь сквозь них, шли матросы-связисты. Чуть заметно, бесшумно вращались у них за спиной катушки с проводом, и «нитка» ложилась на деревья, соединяя пушки с их глазами и мозгом — наблюдательным пунктом.

К вечеру все было готово, связь проверена, но энпэ молчал. Так и легли спать, не выпустив ни одного снаряда. Завтра с утра комендоры опять бросились к пушкам и весь день продежурили у них безрезультатно. Тогда кто-то тайком от Норкина сам позвонил на энпэ, дескать, уснули вы там, что ли? Ответили зло:

— На фронте спокойно, а вести огонь по отдельным целям мешает расстояние.

Только к вечеру второго дня зуммер ожил. Комендоры метнулись было к орудиям, но тут же, разочарованные, опять побрели в кусты: Семенов вызывал Норкина.

И все-таки кто-то высказал затаенное:

— Может, после этого разговора к фронту передвинут?

Норкин, застегивая китель, подошел к телефону, взял трубку, бросил в нее:

— «Седьмой» слушает вас.

— «Седьмой», ты там загораешь или по ягоды всех услад? — задрезжала мембрана. — Может, у тебя коммандоры стрелять разучились? Если так, то пришло своих девок-писарей. Они у меня всему обучены!

— Целей нет, — сдерживаясь, ответил Норкин.

— А ты ищи! Растревожь, разозли — с избытком появятся! — кричал Семенов. — Немедленно открывай огонь! Приказываю!

Страшное это слово — приказываю, если его произносит человек, которому не следовало бы и знать его. У осужденного на смерть есть право обжаловать приговор или просить о помиловании: ошибку судьи исправят другие люди. У воина, получившего приказ, нет этого права. Он обязан, если хочет сберечь свое честное имя, немедленно выполнить приказ. Хорошо и даже приятно это делать, когда ты знаешь, что тобой, жизнью твоей, распоряжается умный человек, когда ты сам веришь в необходимость и возможность выполнения его приказа. У Норкина не было ни того, ни другого. Буква устава стояла за Семеновым, и Норкин, машинально повторив полученный приказ, вызвал к телефону Селиванова, находившегося на наблюдательном пункте.

— Глаза на проводе, — сонным голосом ответил Селиванов.

— Все спишь? А работать когда? — крикнул Норкин.

Слышно, Селиванов о чем-то шепчется со своими управленцами.

— Ну! — торопит Норкин.

— Понимаешь, цели есть, конечно... Да ты сам загляни в таблицу!

Норкину не нужна таблица стрельбы, он и без нее знает, что с такого расстояния его пушки могут бить только по площади, ибо еще не забыл закон рассеивания снарядов. Но приказ...

— Открыть огонь, — роняет в трубку Норкин.

Немного погода стволы орудий медленно приподнялись, развернулись в сторону кустов и выбросили короткие языки пламени. Залп пошел. Обычно в этот момент

всё замирало, все, затаив дыхание, ждали сообщения о результатах залпа, но сегодня комендоры спокойно сидели на своих местах и от безделья протирали чистые стекла прицелов. Несколько раз неохотно рывкнули пушки и снова укутались в чехлы.

— Ну как? — спросил Норкин, тая в душе смутную надежду на «авось».

— Как в копеечку! — зло ответил Селиванов.

А вечером, когда в штабе группы прочли сводку дивизиона, Семенов пришел на полуглиссере к месту стоянки катеров и снова ругал Норкина.

— Снаряды выпустили, а толку ни на грош! — кричал он, потрясая кулаками. — Народное добро разбазариваешь?

— Дистанция...

— Она всегда будет! Стрелять уметь надо!

Шквалом пронесся Семенов по дивизиону и ушел в штаб Северной группы, снова запрятался в свою землянку.

Что делать? Отказаться стрелять? Или... врать о результатах стрельбы?

Выход нашел Селиванов. Утром он сам потребовал огня, а потом доложил:

— Рассеяно до батальона пехоты и подавлено три огневых точки противника!

— Фашисты к наступлению готовятся, концентрируют силы? — спросил Норкин, которого удивило, что сегодня стрельба была такой эффективной.

Селиванов что-то проямлил. Норкин понял лишь одно: Леня сегодня придет на катера и тогда все расскажет.

— Видишь? Значит, можно и с такого расстояния лущить! — рокотал в телефонной трубке самодовольный бас Семенова. — Действуй в том же духе! Наградями народ не обойду!

Вечером пришел Селиванов, потный, запыленный. Он долго полоскался в речке, рвал гребнем свалывшиеся волосы и чертыхался, проклиная Березину, жару, войну и тех, кто ее выдумал. Наконец, вышел на берег, оделся и подсел к Норкину с Гридиным.

— Чего, кума, зажурилась? — спросил он, толкая Норкина плечом. — Начальство жить не дает? Три к носу: на том свете зачтется!

— Точно! Известно — наше дело телячье: обмарался

и стой, жди, пока высохнет! — радостно подхватил Копылов, вынырнувший из кустов.

— Геть! — цыкнул на него Крамарев.

— У вас тут собрание? — спросил Селиванов, оглядываясь. — Весь гвардейский собрался.

— На собрание их палкой сгонять надо, — заметил Гридин.

— Это смотря по тому, какая у него повестка, — опять высунулся Копылов. — Нам в порядке профилактики больше про вред алкоголя да венерические заболевания рассказывают, а тут...

— Что «тут»? Думаешь, я тебе личное письмо Гитлера принес?

— Начхать нам на него!

— На самого или письмо его?

— Да на обоих! — задорно тряхнул головой Копылов. — Сидим в кустах, глядим на небо и отыскиваем там херувимов, а что на фронте — не знаем! Разве это порядок?

Норкин приподнял голову, пробежал глазами по матросским лицам — и стих говор, присмирел Копылов, уселся на землю и замер, приглаживая рукой непокорный вихор, торчащий на затылке.

Кратким был рассказ Селиванова. Наблюдательный пункт находился в боевых порядках пехоты, в самом центре фронтовых событий, но ничего радостного, утешительного не заметили моряки: ни новых батарей, ни накапливающихся резервов, ни малейшего намека на близкое наступление.

— Тишина! — будто ругательство, бросил Селиванов это слово. — Наши заняли оборону, для вида постреливают, и все!.. Да что говорить о наступлении, если в батальонах по пятьдесят-восемьдесят человек!.. На карте у начальства три батальона оборону держат, а если разобратся, то во всех окопах и полной роты нет!..

— А у них? — спросил Норкин.

— У них? — Селиванов задумался. — Пожалуй, вроде того.

— Тогда кого же мы подавляли и рассеивали?

— Да как сказать, — замялся Селиванов. — Не хотелось говорить об этом при всех, да, видно, придется. Уж больно форма-то доклада хорошая... Обтекаемая! Почуяли мы, что кроют вас за отсутствие результатов, ну и...

— Соврали? — резко, злобно, словно выстрелил Норкин.

— Где? Когда соврали? — ошетинился Селиванов. — Замолчал фашистский пулемет после наших залпов? Замолчал!

— Пулеметчик до ветру пошел.

— А ты откуда знаешь? У тебя там дружки? — Селиванов отыскивал глазами того, кто бросил последнюю реплику, и не мог найти. Кругом одинаково угрюмые лица. И он закончил уже более спокойно, без задора: — Раз замолчал — мы считаем: подавили... Да и чего тут особенного? В сводках Совинформбюро и то говорится, что столько-то подавлено, столько-то рассеяно.

Где-то недалеко призывно крикает утка. Булькает вода под ногами аистов. Издали доносится глухой разрыв снаряда. Единственный.

— Скажи пожалуйста, а ведь складно у нас получается, — говорит Жилин, и не поймешь, осуждает или, наоборот, одобряет он эту обтекаемую формулировку. — Какое-то начальство пером на бумаге вензеля выписывает, а нам нельзя? Мы — человеки маленькие, незаметные?.. Не знаю, правда или нет, а рассказывали мне такой случай. Недавно он был, — Жилин говорит неторопливо, спокойно. — Собрал командующий фронтом командиров соединений, обрисовал им обстановку и просит высказаться по существу вопроса. Каждый из них, конечно, встает, вытаскивает из кармана грамотку...

— И давай по ней сам себя хвалить! — не выдержал Копылов. — У нас завсегда так!

Матросы на него зашикали, а Жилин глянул и продолжал:

— Достает, значит, грамотку и пошел крыть по ней! За ним — второй, третий... А командующий сидит и карандашиком по бумаге водит, водит... Много народа высказалось, а потом и он слово взял. «Скажите пожалуйста, — говорит, — как интересно получается. Подсчитал я сейчас ваши цифирки, и получается у нас такая картина... Нету фашистов перед нами! Всех мы месяц назад перебили, а тут видимость одна, что фашисты! Может, без подготовки пойдем вперед и займем ихнюю оборону?..» Тут, конечно, шум, гам. Как, дескать, без подготовки? Он всех уложит!.. Так вот оно и получилось... Мы приврали, другой добавил, глянь — и сами себе в глаза такого дыма напустили, что своего носа не видать.

Порыв ветра пролетел над кустами, склонил их к земле, и стал виден белоснежный гвардейский флаг. Он трепетал, сопротивляясь струям воздуха. Норкин встал и сказал, ткнув пальцем по направлению флага:

— Чистый он. Ни одного грязного пятнышка!.. И не будет! Понятно?

## 2

Если бы тогда у Норкина спросили, что он ненавидит, то он, не задумываясь ни на минуту, уверенно ответил бы: гитару. Обыкновенную гитару, увенчанную пышным бантом и прочно обосновавшуюся в матросских кубриках с незапамятных времен. В этот вечер она так стонала, так жаловалась на свою судьбу, что захотелось все бросить и завять, глядя на луну, насмешливо щурившуюся из-за облаков.

Выручил Гридин. Он боком втиснулся в щель между переборкой и тумбочкой, присел на табуретку и устало облокотился на столик. Его мальчишеское, обычно задорное лицо выражало растерянность, недоумение.

— Я, Михаил Федорович, к вам, так сказать, неофициально, — сказал Гридин и замолчал.

Будь ты проклята, ненавистная гитара! Норкин хлопнул иллюминатор. Звуки стали доноситься глуше.

— Что-то у нас не того, — продолжил Гридин, справившись с первым волнением. — Настроение у ребят плохое. А я не знаю, что делать... Наверное, рано мне в замполиты... Только вы прямо скажите! Как коммунисту!.. Я понимаю, что не так это просто: вчера матрос, а сегодня — офицер, замполит гвардейского дивизиона...

Норкин ласково и в то же время немного укоризненно смотрел на своего заместителя. Гридин для него был младшим братом, который по простоте своей душевной запутался, растерялся среди самых простых событий и теперь нуждался в помощи. Почему-то вспомнился Лебедев. Три года назад он так же смотрел на Норкина, направляя его шаги...

Теплое чувство переполнило Норкина, он распахнул иллюминатор: теперь ему не была страшна никакая гитара!

— А как ты, Леша, представляешь себе работу замполита? Настоящего замполита? — спросил Норкин, сделав ударение на слове «настоящего».

— Если бы знать, — вздохнул Гридин.

— И я не знаю... Отстрелялись комендоры на «отлично» — слава дивизионному артиллеристу! Решили задачу минеры — молодец дивизионный минер! В том, Леша, их работа и заключается — научить других пользоваться оружием. А у нас — особенно у тебя — обязанности значительно шире, их трудно уложить в какие-то рамки.

Норкин замолчал. Как передать словами мысли, которые теснятся в голове? Как нарисовать словами настоящего комиссара, Лебедева?

— Вот Ясенев...

— С него и бери пример! — оживился Норкин. — На первый взгляд, он ничего не делает, только ходит, беседует с матросами, дает советы. А если разобраться?

— Это и ребенку ясно, — ответил Гридин. — А вот как мне быть? С чего начать?.. Гожусь я в замполиты или вы меня только из жалости держите?

— Флот не богадельня! — гневно перебил его Норкин. — Для пользы дела не только выгоню, но и под трибунал отдам!

Гридин заметно приободрился: искреннее возмущение Норкина сказало ему больше, чем любая положительная аттестация, подшитая в личное дело.

— У тебя такая должность, что ты везде одновременно должен быть! — продолжал Норкин. — Там, где ты сейчас всего нужнее!.. Ведь не случайно в боевом уставе сказано, что комиссар во время боя находится там, где требуется его присутствие... Сегодня ты нужен здесь, у меня в каюте, и ты пришел... Значит, есть комиссарское чутье.

Гридин удивленно посмотрел на Норкина. Зачем он понадобился комдиву? Почему тот не вызвал его, раз была нужда?.. Или вернулась малярия? Не похоже...

— Да, Леша, ты нужен мне, — продолжал Норкин, разминая папиросу. — Мне ведь тоже трудно приходится... Вспомнился последний год учебы в училище. Мы уже сдавали государственные экзамены, когда приехал нарком. Осмотрел училище, потом собрал нас и говорит: «От всей души желаю, чтобы вы быстро не продвигались по службе». Понимаешь? Не в том смысле, чтобы мы оставались вечными лейтенантами, а шире, глубже понимай. Он хотел сказать, что командиру нужно постепенно продвигаться по службе, чтобы накапливать

опыт... Тогда мы недоверчиво восприняли его слова, а теперь я все это своим хребтом чувствую... Возьми Карпенко. Он слушает меня, а я по глазам читаю: «Молокосос, а туда же, командовать лезет!» — Лицо Норкина потемнело, нахмурилось. Он закончил неожиданно злобно: — И буду командовать!.. Мы с тобой виноваты в том, что покривили душой, примирились с нашим неопределенным положением... А матросы воевать хотят! Да еще и так, чтобы перья от фашистов летели!.. По себе сужу... Мы выдержали все атаки врага, выстояли в Сталинграде, а освободить родную землю — нам еще не довелось. Разве не обидно?.. Вот и тоскуют матросы. Дела настоящего ждут.

— Точно! — воскликнул Гридин. — Я думал, что только мне это по молодости лет кажется, а выходит...

— Ты учти, Лешенька, мы с тобой тем же миром, что и матросы, мазаны. Их думки — наши думки... Только колокольня у нас повыше и горизонт пошире, — усмехнулся Норкин, довольный тем, что высказался, облегчил душу, да и Гридину помог. — Завтра утречком пойду к Семенову и поставлю точку. Воевать будем, Леша, воевать!

Гридин встал и, широко улыбаясь, протянул руку:

— От всей души с вами, Михаил Федорович!

Норкин горячо пожал ее, задержал ненадолго в своей и сказал, чуть заметно усмехаясь:

— Видишь, как оно получается: шел ты ко мне как больной, а выступать пришлось в роли доктора.

Уже утром Норкин отправился в штаб группы. Семенов он нашел на берегу Березины. Капитан первого ранга сидел в тени деревьев и оживленно рассказывал что-то офицерам штаба, слушавшим его с постными физиономиями. Увидев приближающегося Норкина, Семенов нахмурился, демонстративно повернулся к нему спиной и продолжал:

— Главное для командира — добейся точного выполнения твоего приказа! Начнешь раздумывать, искать более правильное решение — гроб!

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга? — спросил Норкин.

— Что у вас? Неужели не можете подождать до конца офицерской учебы?

— Очень срочное, — ответил Норкин. Он подготовился к подобной встрече, и слова Семенова несколько не

поколебали его решимости. — Я пришел доложить, что сейчас мы напрасно разбрасываем снаряды...

— А вы стреляйте по целям, вот и не будете разбрасывать! — вспыхнул Семенов.

— Все свои соображения я изложил в рапорте. Если вы письменно подтвердите прежнее приказание, прошу разрешения обратиться с этим вопросом к командующему.

Если бы Норкин волновался и кричал, то Семенов осадил бы его. Но спокойствие комдива обезоруживало. Семенов понял, что Норкин решил довести дело до конца, и вырвал рапорт из его рук. Бегло просмотрел, исподлобья глянул на Норкина и снова впился глазами в ровные строчки рапорта. Офицеры оживились. Кое-кто из них ободряюще подмигивал Норкину — дескать, «дай ему жизни!».

Чем больше Семенов вдумывался в содержание рапорта, тем яснее понимал, что развивать конфликт опасно. Норкин не просто жаловался, писал не «вообще», а обоснованно докладывал о всех ошибках Семенова. Не забыл ни того, что третьи сутки стоит на «слепой» огневой позиции, ни назойливого требования отличных попаданий. Обвинительный акт был в руках Семенова. Попади он к командующему или члену Военного совета — говори спасибо, если только по шапке дадут! Может быть и значительно хуже... А сознаться в ошибках, признать вину... Не таких обводили вокруг пальца! А этого молотокоса обвести и бог велел!

Семенов усмехнулся, аккуратно сложил рапорт и небрежно протянул его Норкину.

— Держи, — сказал он, улыбаясь только углами губ. — Можешь делать с ним все, что найдешь нужным. Толково написал. Одного не учел... Горяч, горяч очень! А горячка в нашем деле — первейший враг!.. Глянул ты с высоты своего воробьиного полета и зачирикал: «Каравул! Нас обижают!» А о том не подумал, что каждому овощу свое время! — Семенов многозначительно поднял палец. — Шурка!

— Точно, было.

— Тьфу, дурак! — накопившееся раздражение нашло выход, и на адъютанта обрушился поток брани. — Слушай, а не брякай, как попугай!

Адъютант никак не мог понять своей вины и удивленно моргал глазами. А Семенов сыпал громы и молнии, ру-

гал и штабных офицеров, и Норкина, и начальство, которые, по его мнению, не выполняли своих прямых обязанностей, взваливали всю тяжесть на плечи его, Семенова. Наконец капитан первого ранга немного успокоился, прошелся несколько раз по полянке и сказал, ткнув пальцем в грудь Норкина:

— То было сделано по тактическим соображениям. Каким — скоро узнаешь... Со вчерашнего дня обстановка изменилась. Это чадушко, — кивок в сторону адъютанта, — видно, еще не отправило тебе приказ, а ты и рад стараться, полез в бутылку.

— Никуда я не полез...

— Ладно, ладно! Не такое сейчас время, чтобы к слову придирааться. Это в гражданскую войну, бывало, у офицеров голубая кровь поигрывала, чуть что — в амбицию лезли. Был у нас такой случай. Я тогда еще во втором флотском экипаже служил...

— Приказ когда разрешите получить? — перебил его Норкин.

— Ага... Так вот... Обстановочку нужно разведать. Там подходы к фронту по реке, наличие сил и прочее. Сам смени позицию, перейди в район деревни Стужки и замри в кустах. И еще — парочку матросов пошли к ним в тыл зипуна пошарпать. — Норкин удивленно вскинул брови. Семенов заметил это и продолжал уже языком циркуляров: — Произвести поиск, попытаться взять «языка» и по исполнению вернуться на исходные позиции. О деталях договоримся. Пошли ко мне!

В штабной землянке, знакомясь с документами, присланными штабом Белорусского фронта, Норкин и узнал, что Бобруйское направление обороняет 9-я немецкая армия в составе 12 пехотных и одной танковой дивизий и многих самых различных частей усиления; что здесь у немцев по 5—6 линий траншей, идущих в глубину до 6—8 километров; что перед передним краем у фашистов много не только колючей проволоки, но и минных полей.

— Ясно, какой камуфлет они здесь подготовили? — спросил Семенов, когда Норкин ознакомился со всеми документами. — Чтобы уточнить эти данные, так сказать, конкретизировать их на нашем участке, и нужно нам выслать разведку. Или у тебя нет подходящих людей?

— Найдутся, — сухо ответил Норкин.

— Тогда действуй, — сказал Семенов и поднялся, давая тем самым понять, что больше не задерживает.

Полуглиссер быстро скользит по реке. Рядом с Норкиным сидит Крамарев, за ним — Пестиков. Крамарев не отрывает глаз от речной глади; кажется, он целиком поглощен своим делом — ведет катер. Однако Норкин чувствует, что и тот и другой настороженно ждут, что он скажет.

— Что приумолкли? — усмехнулся Норкин.

— Знаем, — ответил Крамарев.

Пестиков вздохнул.

— Как вы можете знать? Ведь не вам говорено?

— Он, когда вы на полянке разговаривали, на всю реку кричал. — Крамарев переложил руль, обходя торчащий из воды топляк. — Я так думаю, товарищ капитан-лейтенант... Можно высказаться?

— Говори.

— Мне идти надо. Что ни говорите, а для меня это дело привычное. Пойдет другой — вдруг завалится?

— Двоих надо.

— Он вторым, — кивнул Крамарев в сторону Пестикова.

— Пойдешь, Пестиков? — спросил Норкин и оглянулся. Пестиков выдержал его взгляд.

— Так точно, пойду...

— Не бойтесь? — спросил Норкин после длительного молчания.

Крамарев не шелохнулся. Он словно не слышал вопроса. И вдруг, когда Норкин уже перестал думать об этом, Крамарев сказал:

— Добровольно ни за что не пошел бы.

От неожиданности Норкин так резко повернулся к нему, что локтем чуть не разбил ветровое стекло.

— Ты же сам просился? Никто тебе не приказывал.

— Война приказала...

Правильно, война приказала. По ее приказу люди шли на смерть, умирали, и многоголосый вдовий плач, как темнота, опутывал землю. Не будь войны — не пошел бы Крамарев в тыл врага: ему не хотелось ни убивать, ни быть убитым. Но война приказывает, и он идет...

Под вечер, сменив обычное обмундирование на солдатские брюки и гимнастерки, Крамарев с Пестиковым набросили на плечи грязно-зеленые маскировочные халаты и ушли с катера.

Норкин предлагал им дожждаться ночи, но Крамарев резонно возразил:

— Лучше засветло до передовой добраться. В темноте пойдем — ноги зря навихляем, да и передка не увидим. А его бы желательно глазами пощупать.

Осмотр передовой ничего утешительного не дал: земля между окопами была начинена минами, опутана колючей проволокой и, что еще хуже, — каждый метр ее был изучен противником и пристрелян.

— Лесом пойдем, — решил Крамарев.

Как всегда, темнота под деревьями была гуще. Шли след в след. Впереди — Крамарев, за ним — Пестиков. Шли чуть раскачиваясь, неуклюже, громоздкие, немного похожие на медведей. И так же осторожно, как звери; у тех тоже под лапами никогда не хрустнет сучок, не треснет сломанная ветка.

На рассвете, когда на фоне посветлевшего неба стали хорошо видны темные тучи комаров, вьющихся над головами, Крамарев молча опустился на землю и указал Пестикову глазами место рядом с собой. Поели и закурили.

— Что будем делать, старшина?

— Спать, — ответил Крамарев.

— Ложись, мне не хочется.

Крамарев сразу же лег за упавший и полусгнивший ствол дерева, обнял автомат, закрыл лицо платком и затаих. Пестиков залез в куст, прикрылся ветками и тоже будто заснул.

Солнце пронзило лучами зеленую крышу и покрыло землю белыми пятнами. Словно прихрамывая, прилетела сорока. Она уселась на куст, в котором спрятался Пестиков. Ее заинтересовал таинственный предмет, появившийся около ствола гниющего дерева, и она долго прыгала с ветки на ветку, наклоняла голову то в одну, то в другую сторону, пытаясь рассмотреть его, и готовая, чуть что, поднять шум на весь лес. Пестикова так и подмывало протянуть руку и схватить за ноги белобокую сплетницу, но он сдержался. А еще год назад поступил бы иначе: есть возможность — почему не почудить? Теперь — даже не шелохнулся. Дружба с Крамаревым, которая началась на Дону, пошла впрок. Пестиков и сейчас помнит все подробности той ночи, помнит и как Крамарев подобрал часы, и как вернул их Пестикову.

Вот и сейчас они лежат у Пестикова на ладони.

С той поры и подружились. У них стали общими патроны, хлеб и махорка. Мало говорил Крамарев, научил-

ся молчать и Пестиков; они без слов прекрасно понимали друг друга.

Вдруг сорока пронзительно застрекотала. Пестиков вздрогнул, сжал автомат и осмотрелся. На полянку выскочил молодой зайчишка. Он уселся на задние лапы, приподнял уши, пошевелил раздвоенной губой и, не обнаружив опасности, неторопливо заковылял прочь. Сорока увязалась за ним. Пестиков еще долго слышал ее недовольную скороговорку. Потом взглянул на часы, прислушался, вылез из куста и тронул Крамарева рукой. Тот мгновенно перевернулся на живот, положил ствол автомата на сучок и выглянул из-за дерева.

— Час прошел, — пояснил Пестиков.

Крамарев встал, посмотрел на Пестикова и спросил:

— Спать будешь?

— Не хочется.

И снова пошли, прислушиваясь к лесным шорохам, осторожно раздвигая сцепившиеся ветви и обходя гниющие стволы. На компас не смотрели — солнце указывало путь.

Шли весь день, сделав короткий привал на обед. Потом Крамарев круто повернул на юг и вывел к дороге. Ни скрипа колес, ни одной живой души. Только следы шин на пыли, пробитой недавним дождем.

— Мотоцикл, — сказал Пестиков, осмотрев следы.

Крамарев кивнул, свернул в лес и пошел параллельно дороге. Пестиков отстал от него и крался сзади, прикрывая товарища от внезапного нападения, повторяя его движения. Вот Крамарев остановился, рассматривает что-то. Машет рукой. Пестиков подходит к нему.

— Провод. Проследим.

Провод скоро соединился с другим, третьим. Наконец показалась небольшая деревня, разбросавшая свои дома на перекрестке дорог. Матросы легли на землю, слились с ней. Ни одного звука, ни одного движения. Деревня и дороги — как на ладони. Жителей почти не видно. Изредка между хатами мелькнет женский головной платок и опять скроется. Зато солдат и полицаев хоть отбавляй. Они стоят лагерем в садах, огородах и просто на улицах. Офицеры, очевидно, расположились в двух домах: около них мирно прохаживаются часовые, туда идут провода. Три станковых пулемета нацелились на лес своими бессмысленными тупыми рылами. С этой стороны нечего было и пытаться проникнуть в деревню. И Кра-

Марев решил подойти с дальней околицы. Там лес отступал и большое поле, поросшее кустами, кончалось около приземистого черного сруба — бункера, в котором жили полицейские. Да и фашисты сюда почти не заглядывали. Изредка завернет на минутку какой-нибудь немец, отдаст распоряжение и снова уйдет.

— Отсюда проникнуть в деревню попробуем, — сказал Крамарев. — Начнем с полицейев.

Пестиков промолчал: старшина отдавал приказ, а не спрашивал совета. Кроме того, он был согласен со старшиной. Прикрываясь кустарником, можно незаметно подползти к бункеру, посмотреть, что к чему, а дальше — в зависимости от обстановки.

Неподвижно пролежали до темноты, а потом тронулись в обход деревни. «Благодать, что они собак перебили», — подумал Крамарев, осторожно раздвигая кусты. Впереди шел Пестиков: у него глаза как у кошки. Под ногами кочки, поросшие осокой. Временами хлюпала вода, ноги тонули в жидкой грязи. Ее становилось все больше и больше. Крамарев уже понял, почему деревня так небрежно охранялась именно с этой стороны.

Вода заливалась за голенища. Все труднее стало вытаскивать ноги. Пестиков решил поискать более удобный путь, сделал несколько шагов в сторону — провалился по пояс. Забулькала вода, и тотчас над болотом взвилась первая ракета, осветив все вокруг. Крамарев упал между кочек и посмотрел на Пестикова, глаза которого скорее удивленно, чем со страхом смотрели на старшину. Рот Пестикова беззвучно раскрывался. «Окно», — прочитал Крамарев по движению губ товарища.

Трясина все больше засасывала Пестикова: жидкий обруч уже стягивал грудь. Холодок пробежал по спине Крамарева. Что делать? Сейчас бы наломать веток, бросить их Пестикову. Но как это сделать, если ракеты исполосовали небо, не дают приподняться, да и малейший шум будет слышен в бункере?

Хотя бы ракеты исчезли!.. Невыносимо видеть тоскливые глаза друга и оставаться простым наблюдателем... Поднять стрельбу и привлечь к болоту внимание врага? Пестикова, конечно, найдут. Может быть, и вытащат... Но не будет ли это страшнее смерти в трясине?

Крамарев еще раз взглянул на Пестикова, увидел его лицо, окаменевшее, как у мертвеца, остекленевшие глаза и отвернулся.

Когда Пестиков посмотрел в ту сторону, где недавно лежал Крамарев, его там уже не было. Лишь помятая болотная трава и зловонная пузырящаяся грязь говорили о том, что только сейчас он был здесь...

Не счесть, сколько раз Пестиков смотрел в глаза смерти, не боялся ее, хотя и любил жизнь. В бою он нашел бы в себе силы встретить смерть так достойно, чтобы товарищи помянули его добрым словом. Но умирать одному, умирать бесславно в вонючей грязи — было невероятно страшно.

Пестиков рванулся, и сразу около него запузырилась грязь, ее холодные тиски поднялись выше. Пестиков невольно вскрикнул и тотчас, бросив автомат, зажал руками рот.

Из-за туч выглянула луна и осветила его бледное лицо...

### 3

Под Киевом, как и на Березине, стояла удушливая жара. Днепр обмелел, обнажив плешины песчаных отмелей. Затончик, в котором раньше стоял дивизион Норкина, тоже стал мельче и уже. Деревья вылезли из воды и теперь казались выше, а густая листва, покрытая сероватым налетом пыли, старила их, создавалось впечатление, будто они недовольны чем-то и хмурятся, скрепив над водой свои ветви.

Тихо на берегу. Правда, и теперь пели девчата по ночам, но что это были за песни!

...Потеряешь ты свою фуражку  
Со своей удалой головой...

Прорывает девичий голос эти слова и оборвется. Не может петь дивчина. Страшно ей, боится она накликать беду на любимого. Бывало и так, что вдруг встрепенется, расправит крылья какой-нибудь удалой напев, но тотчас сникнет, упадет на землю, словно птица с пербитыми крыльями; тоской наливаются и тяжелеют эти песни. На плач они похожи. Лучше не петь.

А о катерах, ушедших десять дней назад неизвестно куда, официально ничего не сообщали, а слухи были настолько нелепы, что им давно перестали верить. Однажды, правда, чуть не поверили. Девушка, пришедшая из Киева, сказала, что катера погибли в бою, и назвала да-

же деревню, под которой это случилось. Но тут один из матросов сказал:

— Брехня! Не таковские наши, чтобы сложить головы без грома!

Действительно, если гвардейцы и погибнут, то память о себе оставят крепкую, вечную.

Отцвели каштаны и акации, на вишнях появилась зеленая завязь, а в жизни штаба и базы ничего не менялось. Чигарева нельзя было упрекнуть в отсутствии энергии, но жизнь все равно текла спокойно, однообразно. Базовики, как сонные мухи, слонялись по кладовым; оперативные дежурные, боясь в зевоте вывихнуть челюсти, по несколько раз перечитывали затасканные страницы какого-то романа без названия, начала и конца. А Чернышев дневал и ночевал на реке. Он, взяв удочки, обычно уходил на Днепр еще до рассвета, а возвращался лишь глубокой ночью, наскоро уничтожал сразу завтрак, обед и ужин и заваливался спать, чтобы завтра вновь подняться с первыми петухами.

— Раньше, Василий Никитич, я что-то не замечал у тебя этой болезни, — сказал как-то Чигарев.

— В такой обстановке и не этим заболеешь, — безразлично ответил Чернышев, немного помолчал и добавил, даже не пытаясь скрыть иронии: — За юбками бегать возраст не позволяет, да и не привык я в чужую жизнь врывать!.. Или по службе есть упущения?

Что касается службы — тут у Чернышева, действительно, все в порядке. Чигарев, прихрамывая, отошел от Чернышева и сел на скамеечку под развесистым каштаном. Не везет ему в жизни все-таки! И по службе, и в любви, и вообще не везет. Другие воюют, а ты изволь сидеть здесь вместо сторожа! Невольно вспоминались слова одного из матросов.

— До чего противная эта должность курошупа! — со злостью сказал тот.

— А ты на баб переключись, — невесело пошутил его невидимый собеседник.

— Одна сатана!..

Это обидное слово «курошуп» матросы впервые услышали неделю назад от солдата, отправляющегося обратно на фронт... Прижилась позорная кличка.

Странно сложились и взаимоотношения с Ковалевской. Ушли катера на фронт, и Чигарев с Ковалевской стали встречаться чаще. Несколько раз ходили в театр,

побывали в лавре, на стадионе. Чигарев теперь уже не сомневался в своих чувствах. Он любил, и ему казалось, что любил впервые. Временами ему хотелось сказать Ольге о своей любви, но почему-то в самый последний момент он замолкал или начинал болтать о посторонних вещах.

От этих невеселых мыслей стало еще тоскливее, он решительно поднялся и заковылял к кают-компани.

— Сообрази закусить и водочки, — сказал он вестовому, оторопело уставившемуся на него. — Ну чего встал? Скажи, что я велел.

В тот вечер Чигарев впервые пил один. Так продолжалось четыре вечера подряд. И Чернышев перестал ходить на рыбалку. Он теперь настороженно следил за каждым шагом начальника штаба дивизиона, а на пятый не вытерпел, подсел к Чигареву.

— Может, вместе выпьем, Владимир Петрович? — вкрадчивым голосом предложил он.

— Не положено, — криво усмехнулся Чигарев.

— Как так, не положено?

— Субординация не позволяет, — ответил Чигарев и пояснил: — Ты мне подчиненный сейчас или нет? Подчиненный. Если я выпью с тобой, то это будет квалифицироваться как пьянка с подчиненным. Теперь понял? С кем бы я ни пил — кругом пьянка с подчиненными! А знаешь, что за это бывает?.. Вот только с луной мне пить можно. Она светит сама по себе, а я хочу — смотрю на нее, хочу — плюю...

Василий Никитич понял, что Чигарев уже изрядно пьян, чем-то сильно обижен и уговаривать его сейчас или спорить с ним — толку не будет. Чернышев поднялся, вышел из кают-компани и направился к домику санчасти.

Зябко кутаясь в пуховый платок, на крыльце сидела Ковалевская. Василий Никитич молча подсел к ней. Она так же молча отодвинулась, давая место.

— Ну-с, Ольга свет-Алексеевна, пора кончать, — сказал Василий Никитич, устало снимая фуражку.

— Вы о чем?

— О том же! — неожиданно вспыхнул Чернышев, но тут же спохватился и продолжал уже не в полный голос, а сдавленным шепотом: — Долго это будет продолжаться, а? Одному голову замутила, теперь второго доламываешь?.. Да будь ты моя дочь — не посмотрел бы, что ты

врач, а задрал бы юбочку да так всыпал, чтобы век помнила!

— Василий Никитич!

— Тут, матушка, не до дипломатии! — отмахнулся Василий Никитич.

— Норкин сам связался с этой...

— Связался! — пренебрежительно фыркнул Василий Никитич. — Ты сама раньше с Чигаревым связалась! Театры, кино, шуры-муры разные!

— Мы просто товарищи...

— Товарищи! — еще больше возмутился Василий Никитич. — Я тебя еще такой помню, когда ты к дочкам моим приходила. Вместе с ними ты выросла, институт окончила. Я как родную дочь люблю тебя! Неужели простых вещей не понимаешь?.. Товарищество дело хорошее, да они-то парни молодые! Они тебя любят!.. Вот тебе мое последнее слово: не любишь — неволить никто не станет, а головы крутить — не дело...

Василий Никитич хотел сказать еще что-то, но только безнадежно махнул рукой и устало облокотился на колени. За садом в канаве кричали лягушки. Далеко, на Дарницком мосту, показались две светлые точки. Они медленно переползли через реку и исчезли.

— Сходи ты, Оленька, к нему, — попросил Василий Никитич. — Ведь так и до греха недолго.

Ольга хотела спросить, почему именно она должна отбирать у Чигарева водку. Кто она ему? Жена? Да если бы даже и так, то неужели для этого выходят замуж?

Всеми этими риторическими вопросами она попыталась обмануть себя, хотя прекрасно знала, что Чигарев ей не безразличен, что даже приятно иметь такую власть над любимым человеком. Любимым?.. Да, любимым. Ведь о нем скучала последние дни, его ждала...

Ольга встала и пошла. Сзади, стараясь держаться в тени хат, шел Чернышев.

— Я, свет-Алексеевна, только немножко провожу тебя, — почему-то робко проговорил он.

Чигарев по-прежнему сидел за столом. Лицо его было бледнее обычного, и тонкие дуги бровей, как нарисованные, отчетливо выделялись на нем.

— Володя, — тихо позвала Ольга, остановившись у порога.

Чигарев медленно приподнял голову, внимательно и удивленно посмотрел на Ольгу, встал и, пошатнувшись, подошел к ней.

— Ты, Оля, как здесь оказалась?

— Была на катерах, увидела огонек и зашла, — соврала Ольга и потупилась. — Проводишь?

Чигарев надел фуражку и взял Ольгу под локоть. На ногах он держался твердо, и если бы не запах водки, его можно было бы принять за трезвого. Ольга впервые видела его таким. Ей было лестно, что из-за нее так мучается человек. И тут вдруг вмешалось еще одно чувство — жалость. Ей захотелось прижать к себе эту буйную голову, убаюкать ее, заставить забыть все горести, невзгоды. Чигарев словно почувствовал это, неожиданно и доверчиво прижался лбом к ее холодному погону.

— Эх, Оленька, если бы ты только знала...

Ольга вместо ответа осторожно погладила его волосы, выбившиеся из-под фуражки, и сказала, опускаясь на крыльцо санчасти:

— Давай отдохнем.

— Эх, Оленька... Если бы только знала...

— Знаю, милый, знаю...

Солнце встало багровое, недовольное и презрительно заглянуло в комнату Чигарева. Володя, побрившись, растирал одеколоном лицо, смотрел на себя в зеркало и хмурился. По-дурацки все вчера получилось. Разрыдался, как мальчишка, у Ольги на плече!

Рывком нахлобучив фуражку, Чигарев вышел из дому. Матросы удивленно переглядывались: давно не бывало такого, чтобы начальник штаба присутствовал на физзарядке. Потом, наскоро позавтракав, он снова пошел в штаб. И так весь день, почти до самого отбоя: дела, дела. Зато потом, наскоро перекусив, он заторопился в санчасть. Около заветного домика замедлил шаги, постоял немного, глядя на окно, затянутое марлей, и нерешительно свернул в переулок.

— Володя! — раздалось из гущи кустов сирени.

Чигарев радостно улыбнулся, воровато стрельнул глазами по переулку и перемахнул через низкий забор. Ольга стояла под яблоней, смотрела на него, словно давно ждала. И он протянул к ней руки, обнял и острожно повел к скамейке, стоявшей у стены дома.

Время для них летело незаметно. Они оба забыли о дивизионе, о войне и удивились, отшатнулись друг от друга, когда к ним, старательно покашляв, подошел рас-сылный.

— Разрешите обратиться к доктору, товарищ капитан-лейтенант? — спросил он.

— Что у вас стряслось? — буркнул Чигарев таким тоном, каким обычно посылают к черту.

— Иванов животом мается.

Ольга тихонько и незаметно пожала пальцы Володи, как бы говоря: «Потерпи, милый, я быстро вернусь», и ушла. Но Чигарев не хотел оставаться один и пошел следом.

Ольга вышла из домика действительно быстро и очень озабоченная.

— У него аппендицит, жесточайший приступ. Нужно немедленно отправить в Киев, — тихо сказала она.

Чигарев нахмурился. Легко сказать — отправить! А на чем? Единственная машина в ремонте, а полуглиссер сейчас, ночью, под Дарницкий мост не пропустят. Весь Днепр в наших руках, а ты не смей ночью ходить под мост!

— Вызвать «скорую помощь» из Киева, — распорядился Чигарев.

— Ему нужна срочная операция, — уже раздраженно сказала Ольга. — «Скорая помощь» — только потеря времени.

Наступила тишина. Стало слышно, как в домике сдавленно стонет Иванов.

— На полуглиссере прорываться придется, — посоветовал кто-то из матросов.

Еще два года назад Чигарев поступил бы именно так, но теперь он подумал: «А что из этого получится? На мосту стоят крупнокалиберные пулеметы, около них дежурят солдаты. Приказ обязывает их открыть огонь, и они откроют его. Возможно, полуглиссер с Ивановым и прорвется в Киев, но какой ценой?..»

— Если Иванов пробудет здесь до утра, я не ручаюсь за его жизнь, — торопила Ковалевская.

Чигарев бросил на нее один из тех взглядов, которые заставляют даже самого примерного подчиненного находить за собой вину и молчаливо вытягиваться.

И вдруг глаза Чигарева остановились на двух светлых точках, ползущих вдоль склона горы. Они росли,

приближались. Скоро стали отчетливо видны фары машины. Она шла в Киев.

— Оперативный! — позвал Чигарев. — Выслать пять матросов на шоссе. Пусть остановят любую машину и пригонят сюда.

Оперативный дежурный еще только повторял полученное приказание, а матросы уже стояли за его спиной, поглаживая вороненные стволы автоматов. Ольга нашла руку Чигарева и незаметно, чтобы не видели матросы, прижала ее к своей груди. Она благодарила и просила прощения за необдуманные слова. Чигарев возликовал: Ольга любит его! Теперь он был готов хоть на себе тащить Иванова до Киева.

Машину пригнали очень скоро. Шофер оказался человеком покладистым и, когда узнал, зачем его задержали, не стал спорить, лишь попросил сделать соответствующую отметку в путевом листе.

Иванова положили на заднее сиденье.

— Я скоро... Володя, — шепнула Ковалевская, садясь рядом с шофером.

— Хорошо... Нефедов! Проводите... Иванова и обратно.

Машина тронулась. Сначала она ползла, переваливаясь с боку на бок, по кривым и узким улицам деревни, потом, выйдя на шоссе, понеслась к Киеву. С каждой минутой все ближе дома города. Вот они замелькали по обеим сторонам дороги.

— Куда теперь? — спросил шофер.

Ольга словно проснулась. Никогда еще ей не было так хорошо. И чувствуя себя виноватой перед Ивановым, она спросила:

— Очень беспокоит?

— Отпустило малость.

Только теперь она ответила шоферу:

— Пока прямо...

Катя читала книгу, когда у подъезда госпиталя остановилась машина и раздался настойчивый, требовательный стук в дверь. Она поморщилась и крикнула:

— Натка! Вставай! Наверное, опять начальство с проверкой пожаловало.

Наталья приподнялась на диване, поправила волосы, выбившиеся из-под косынки, и проворчала, направляясь к двери:

— Могла бы и сама открыть.

— Больно мне нужно! — пренебрежительно фыркнула Катя.

Ей, действительно, никого не было нужно. Старые знакомые, навещавшие ее совсем недавно, не понимали, чем вызвана перемена, которая произошла с Катей. Всех она встречала одинаково холодно и бесцеремонно выпроваживала за дверь. Даже заместителя начальника отдела кадров офицерского состава выгнала из своей комнаты, когда он явился с очередным предложением руки и сердца! Куда уж дальше?

Все удивлялись переменам в характере «доброй Кати», искали причину, высказывали самые различные предположения и не могли найти разгадки. Правда, первое время остряки поговаривали, что Катя всех прочих променяла на офицеров штаба Голованова. Но и тут скоро постигло разочарование: Катя искала с ними встреч, охотно беседовала, подробно выпрашивала о делах, но первого же из офицеров, который попытался перешагнуть дозволенные границы, так отшила, что он стал вообще избегать ее.

Только Наталья знала, что Катя хотела что-то узнать о Норкине, его дивизионе, и одобряла ее поведение.

Внизу хлопнула дверь, и на лестнице раздались шаги. Катя поморщилась, уселась поудобнее и демонстративно уткнулась в книгу.

— Вот сюда, — слышен голос Натальи. Он ласковый и немного взволнованный. Нет, так с начальством не разговаривают. Катя захлопнула книгу.

Наталья быстро вошла в комнату и сразу же взялась за телефон.

— Что там, Натка?

— Матроса из дивизиона Норкина привезли, — бросила, не оборачиваясь, Наталья.

Некоторое время Катя сидела неподвижно, соображая, что это за матрос и как он попал сюда. Потом вдруг пришла мысль: «Раненые! Бой был!»

Катя выскочила в коридор, ворвалась в кабинет главного врача, где на диване спал дежурный, и крикнула, срывая с него одеяло:

— Раненые! Раненых привезли!

Дежурный врач еще сонно щурился, а Катя уже убежала дальше, подняла няню и даже единственного больного, скужавшего в госпитале из-за фурункула на шее.

Катя всем нашла дело: дежурный врач ушел в операционную, няня побежала готовить палату, а больной матрос был оставлен дежурить у телефона.

Только отдав все эти распоряжения, которые она считала необходимыми, Катя вошла в приемную, придав своему лицу самое спокойное выражение, на какое оказалась способна. Там сидели Ковалевская и незнакомый матрос. Его лицо болезненно морщилось. Кате стало немного стыдно за свою нервозность, но и радостно: нет раненых, не было боя!

Вскоре Иванова увели, и Катя с Ольгой остались одни. Они украдкой, с любопытством рассматривали друг друга. Катя — настороженно и с неприязнью, а Ольга — спокойно. Да это и понятно: Ольге казалось, что она нашла свое счастье, а Катя не знала этого, видела в Ольге только, может быть, счастливую соперницу.

Однако желание узнать хоть что-нибудь о Норкине было так велико, что Катя не выдержала и спросила: — О нем... вы ничего не слышали?

Ольга сегодня была счастлива и хотела сделать счастливыми всех. Она не могла и не хотела огорчать эту милостивую женщину, и поспешно ответила:

— Нет, не слышала... Да вы не беспокойтесь, он вообще никому не пишет. Боев еще нет, и не пишет, чтобы не разглашать военной тайны.

Катя оттаяла от дружеского тона, порывисто сжала руки Ольги и сказала:

— Спасибо... Большое спасибо!

Иванова оставили в госпитале. Машина снова несется по знакомой дороге. Ольга нетерпеливо покусывает губы: ей кажется, что машина еле-еле ползет.

Едва машина вошла в узкую улицу деревушки, луч фар осветил Чигарева.

— Остановитесь! — почти крикнула Ольга.

— Ну как? — спросил Чигарев, нежно беря Ольгу под руку.

— Все в порядке, — ответила она и доверчиво оперлась на его руку.

Больше не было сказано ни слова. Так, молча, они дошли до ее дома. Володя хотел освободить руку, остановиться, но Ольга удержала его. Вместе они и поднялись на крыльцо. Замок открылся бесшумно.

— Зайди, Володя...

Дверь закрылась за ними. Та же самая луна, что так равнодушно взирала со своей высоты на тонущего в болоте Пестикова, светила им до утренней зари.

## *Глава четвертая*

### **ПОД ГВАРДЕЙСКИМ ФЛАГОМ**

#### **1**

Пули гудели в листве деревьев и звонко чмокали, впиваясь в стволы. Крамарев вдруг остановился и, подмяв телом ветви куста, опустился на землю. Пестиков, бежавший впереди, вернулся к нему.

— Все, точка. В обе ноги, — облизывая потрескавшиеся губы и сдерживая дыхание, проговорил Крамарев, с недоумением глядя на свои ноги, верно служившие столько лет и отказавшие в самую решительную минуту.

Пестиков перебросил за спину трофейный автомат и осторожно ощупал ноги Крамарева. Да, сомнений быть не может: одна нога перебита, а в икру второй попала пуля...

А собачий лай — хриплый, с повизгиванием — все ближе и ближе. Пестиков осмотрелся. Безгрешными невестами вокруг стояли березки. Укрыться негде.

Крамарев внимательно посмотрел на товарища, глаза его потеплели, разгладились суровые складки на лице.

— Топай, — сказал он, приподнялся на локте и протянул руку.

Собаки подвывали совсем близко. Слышался говор. Автоматчики, казалось, начали окружать полянку.

Пестиков порывисто стиснул протянутую ладонь, обнял Крамарева и побежал на восток, пытаясь найти хоть слабые признаки воды. Только она одна могла сбить собаку с его следа и сорвать погоню.

Сзади коротко огрызнулся автомат Крамарева. В ответ затрещали немецкие автоматы. Но теперь пули не разгуливали по лесу, не пронесились мимо Пестикова: все они были направлены в Крамарева. Крамарев дал еще несколько коротких очередей. Потом прогремели два взрыва гранат... Минутная тишина, и снова шальные пу-

ли засвистели между деревьев. Пестиков понял, что там все кончено. Крамарев выполнил свой долг.

Где-то справа раздалось курлыкание журавлей. Пестиков замер, прислушался и через несколько минут решительно повернул в ту сторону: где журавли, там обязательно должна быть вода. Действительно, местность скоро стала заметно понижаться. Деревья стояли уже не на зеленых полянках, а на кочках, похожих на папахи, оброненные неизвестными всадниками. Между кочками лежали потемневшие прошлогодние листья. Кое-где проступала вода — темная, холодная, мертвая вода. Ее становилось все больше. Скоро Пестиков погрузился в нее до пояса. Но он, осторожно раздвигая руками шелестящий камыш, шел дальше до тех пор, пока случайно не наткнулся на кочку. Сел на нее. Теперь ему никакие собаки не страшны. Но он об этом даже не думал. Замерли все мысли. Удивительная пустота. Полное безразличие.

Он устало опустил руки на колени и застыл, тупо уставившись на воду. Видел прозрачные пузырьки, поднимавшиеся со дна, и не мог понять, что это. Такое состояние длилось недолго. Оно исчезло так же внезапно, как и нахлынуло. Пестиков поднял голову и увидел коршуна, который, чуть шевеля крыльями, бесшумно парил над лесом. И он позавидовал птице: ее никто не преследовал, ее не травили собаками, она беспрепятственно могла лететь в любую сторону, она видела все. Может быть, и Крамарева видела... Что с ним? Лежит ли среди деревьев его труп, или... Нет, об этом лучше не думать!..

А о чем же тогда?

Эх, главстаршина... Прошел ты дорогой войны от Ленинграда до Сталинграда и от Сталинграда до Березины. Отыскал ты своего сына, прижал к груди, мечтал о счастье, и вот настигла тебя смерть. За этим ли ты рвался сюда? Конечно, нет. Ты очень любил жизнь. Так любил, что даже товарищу не позволил умереть в бездонной трясине.

Пестиков вновь вспомнил ту страшную для него ночь, вновь ощутил на груди холодный стискивающий обруч болотной трясины; вновь увидел в мерцающем свете ракет ползущего Крамарева.

— Держи, — чуть слышно прошептал тогда главстаршина, и тотчас в грудь Пестикова уперлась жердь. За ней — вторая, третья.

Пестиков лег на них, как на помост, и впервые облегченно вздохнул. И хотя тело его по-прежнему было сковано трясинной, он поверил в свое спасение.

Сейчас просто невозможно восстановить в памяти все подробности борьбы с трясинной, но бесспорно одно: Крамарев вырвал своего друга из лап смерти, оставил ее в дураках.

Потом они побрели прочь от злополучной деревни. Дорогой сшибли связного, беспечно ехавшего на мотоцикле. Его автомат лежал сейчас на коленях Пестикова. И снова утомительный поиск. Наконец, все было разведано, уточнено, проверено, но тут вмешался глупый случай: фашисты устроили облаву на партизан, овчарки же напали на след матросов, были спущены с поводков, и травля началась...

Пестиков стиснул руками голову. Так, медленно покачиваясь из стороны в сторону, он просидел несколько минут. Потом отнял руки от лица, выпрямился. Лицо его изменилось. Если еще недавно на нем не было ничего, кроме растерянности, усталости, то теперь морщины в углах рта стали глубже, глаза запали, налились злобой.

Но сколько Пестиков ни прислушивался — в лесу было тихо. Ни лая собак, ни единого выстрела. Зато птичья перекличка была в полном разгаре. Это смущало и настораживало. Почему фашисты, без усталости гнавшие их почти четыре часа, вдруг прекратили погоню? Если бы собаки довели погоню до воды и тут потеряли след — все было бы ясно. Но они к болоту не подходили. Пестиков попытался восстановить в памяти последовательность событий. Сначала собачий лай стал громче... Потом Крамарев дал несколько коротких очередей... Взрывы гранат... Лай прекратился... Тишина... Нет ли связи между всем этим?

И Пестиков решил проверить зародившуюся у него мысль. Он осторожно встал и, прислушиваясь к каждому шороху, пошел обратно к зеленой стене леса. Долго сидел в кустах на опушке, опасаясь засады. Потом, глядя в свои следы, отчетливо видимые на сырой земле, двинулся вглубь леса. Шел осторожно, временами — полз.

Вот и знакомое место. Пестиков осмотрел его, притаившись за стволом толстой березы. Крамарева — ни живого, ни мертвого — здесь не было. Полянка перед пнем, за которым была его последняя позиция, истопта-

на множеством ног. На ней лежали трупы собак. Так вот почему погоня прекратилась!.. Даже в последние минуты жизни Крамарев думал не о себе, а о товарище. Собак он убил в первую очередь.

Пестиков вышел из-за укрытия. Кровь на траве, на белоснежных стволах берез. Откатившись в сторону, лежит каска Крамарева. На ней несколько неглубоких вмятин.

И вдруг осенила догадка: мертвого фашисты не понесут! Пестиков опять бросился к заветному пню, опустился на колени и осмотрел землю. Все сомнения исчезли: Крамарева взяли живым. Почему получилось так? Неужели главстаршина надеялся на милосердие врага?

Эта мысль мелькнула и исчезла: не мог Крамарев сдаться в плен. Пестиков ручался за него головой. Но где же разгадка? И он снова начал осмотр. Ну как он не понял этого сразу! Так и есть, все ясно. Они шли оттуда. Первыми высочили собаки, и Крамарев уложил их. Всех до одной. Потом появились люди. В них он бросил две гранаты. Вон и опаленная взрывами земля. Вокруг нее — кровь и лохмотья серо-зеленых мундиров. Третья граната была оставлена для себя. Но ее бросить не удалось: фашисты обошли, навалились сзади.

Пестиков бесшумно исчез в кустах и там сел на землю.

Неписанный закон разведки predetermined то, что он уже сделал: Крамарев не мог идти, унести его не было возможности, а сведения, добытые с таким трудом, хранились в голове Пестикова, и Пестиков ушел, ушел без ненужных споров и пререканий. Так повелевал долг.

А как поступить сейчас? Если бы Пестиков почувствовал хоть маленький намек на опасность, он немедленно скрылся бы в зарослях камыша, и пусть туда лезет тот, кому жить надоело! Но ему сейчас ничто не угрожало, и мысли невольно начали вращаться около одного вопроса: нельзя ли помочь Крамареву? И чем больше Пестиков думал, тем больше убеждался, что он не имеет права уйти просто так, даже не предприняв попытки узнать о дальнейшей судьбе товарища.

С детских лет и дома, и в школе Пестиков слышал, что товарищество прежде всего; он не мог без волнения читать строки Гоголя, в которых тот славил дружбу степных рыцарей; с первых дней службы на флоте ему твердили: «Сам погибай, но товарища выручай!» А разве сам

Крамарев десятки раз не служил ему примером? Разве не он поплыл тогда на Дону навстречу старшему лейтенанту? Разве не они со старшим лейтенантом, рискуя своей жизнью, полезли в Сталинграде в огонь, чтобы спасти неизвестного им солдата? А ведь Крамарев для него, для Пестикова, не неизвестный. Разве Крамарев бросил его в трясине? Разве ушел?..

На мгновение из тайных закоулков мозга вынырнула робкая мысль о том, что он несет ценные сведения и что ему нельзя рисковать. Но Пестиков уже принял решение: он только проследит путь Крамарева, а рисковать общим делом ни за что не будет.

На душе стало легче. Пестиков набил до отказа автоматные диски, протер платком затвор, вставил в гранаты запалы, поднялся и тенью заскользил между деревьями. Следы отпечатались хорошо: фашисты, разумеется, не боялись погони, не принимали мер предосторожности, а влажная почва прекрасно сохранила следы каблучков и подошв, подбитых гвоздями с большими шляпками.

В сумерках, когда в лесу исчезли тени, Пестиков вдруг замер, прислушался. Чуть слышно шелестели деревья, словно поверяли друг другу страшную тайну. Каник настойчиво просил напоить его. Все это знакомо, привычно и не интересовало Пестикова. Он ждал и дождался: до него снова донеслись невнятные звуки человеческой речи. Пестиков повернул на них и, почти припадая к земле, пошел дальше.

Деревья начали редеть. Пестиков пополз. Вот и опушка. На большой поляне вросли в землю две маленькие хатки с подслеповатыми окнами, забитыми досками. Рядом с хатками — огород, журавль у колодца, а на нем — Крамарев, подвешенный за ноги. Волосы у него словно стали дыбом и почти касаются земли. Вокруг толпится около десятка галдящих и хохочущих фашистов. У притолоки стоит женщина в юбке из домотканого холста. Она кончиком головного платка прикрывает рот, чтобы не закричать.

Журавль качнулся, опустился, и Крамарев упал на землю. Его подняли, посадили. Разжали зубы и что-то влили ему в рот. Крамарев приподнял голову. Офицер, играя стеклом, заговорил с ним. Крамарев медленно покачал головой и уронил ее на грудь. Стекло разрезало воздух и полоснуло Крамарева по одной щеке, по другой...

Пестиков оттянул затвор автомата, вскинул его, поймал на мушку грудь офицера и... опустил автомат.

Пестиков не имел права стрелять. Ну, убьет он одного фашиста, ранит еще нескольких, но справиться со всеми не сможет. Значит, Крамарев по-прежнему останется у них. Только еще злее пытаться его будут, чтобы узнать, кто стрелял.

И за Пестиковым обязательно будет погоня.

А стек мелькает, мелькает... Пестикову кажется, что он видит красные полосы, которые, словно паутина, вмиг покрыли лицо Крамарева.

Из домика выбежал солдат. В руках он держал обыкновенную кочергу. Конец ее светился. Солдат подбежал к Крамареву и уперся кочергой в его ногу. И тут Крамарев закричал.

В голове Пестикова все смешалось. Он уткнулся лицом в землю и зажал уши. Но от этого крика было не так-то просто уйти.

Нет, этого нельзя вытерпеть!

Пестиков открыл глаза. Приподнялся на локтях, положил в развилку куста ствол автомата и навел его на группу у колодца. Переставил переключатель на очередь, подумал и перевел на одиночную стрельбу. Ствол автомата чуть шевельнулся и замер. Пестиков нажал на спусковой крючок. Звук выстрела почему-то не услышал, зато прекрасно видел, как Крамарев повалился на бок. Щелкнул переключатель автомата — и теперь уже длинная очередь полоснула по фашистам и внезапно оборвалась. Пестиков торопливо пополз в лес, потом вскочил, побежал. Сзади гремели выстрелы, раздавались голоса, а он все бежал, бежал, не разбирая дороги, продираясь сквозь кусты, налетая на тонкие деревца. Гибкие ветки со злостью хлестали его по лицу, острые сучки рвали одежду, оставляли на теле царапины, но он ничего не замечал и все бежал, стараясь уйти подальше от того страшного места. Он бежал до тех пор, пока не запнулся за кочку и не упал. Встать сил уже не хватило.

Комариный рой восторженно гудел над его головой; дико хохотал филин; из вонючей болотной воды поднялись несколько черных ленточек и впились в руки Пестикова. Он ничего не чувствовал и ничего не слышал. Даже позднее Пестиков не мог сказать, спал он в эту ночь или находился в забытии. Одно он знал твердо: эти часы бы-

ли сплошным кошмаром. В его воспаленном мозгу, как в калейдоскопе, мелькали самые разнообразные картины. Но в каждой из них жил Крамарев. Он то улыбался страшной улыбкой, вращаясь на журавле колодца, то звал Пестикова, показывал ему глазами на раскаленную кочергу. Но чаще всего Крамарев наползал на мушку автомата. На ее срезе последовательно появлялись его живот, грудь, лоб...

Пестиков опомнился, когда над болотом уже клубился туман. Солнце еще не поднялось из-за леса, но по небу, как разведчики, уже бродили его первые лучи. Пестиков прислушался, осмотрелся и пошел на восток, откуда изредка доносились одиночные разрывы мин и снарядов. Там был фронт.

Почти весь день Пестиков шел благополучно. Выстрелы теперь гремели слева и чуть-чуть сзади. Он считал, что самое страшное позади, и ослабил внимание. На него вновь навалились думы. Что-то скажут товарищи?.. Их приговора ждал и боялся Пестиков. Поймут, или...

Пестиков запнулся о какую-то палку; чтобы не разбиться при падении, вытянул руки вперед, и тотчас чьи-то сильные пальцы впились ему в горло, тряпка, казалось, сама влезла в рот. Все это произошло так быстро, что Пестиков успел только вырвать из-за пояса нож, взмахнуть им. Нож вошел во что-то мягкое, но тут же на голову Пестикова опустился приклад. В глазах замелькали разноцветные искры и сразу все исчезло, словно темный занавес задернулся. Пестиков не слышал, как человек, ударивший его, сказал на чистейшем русском языке:

— Вот сволота фашистская! Схватили, знает, что капут, а все равно норовит цапнуть! Здорово он тебя?

— Только руку распорол, — ответил второй.

Когда сознание вернулось к Пестикову, он сразу почувствовал, что руки связаны. Это заставило насторожиться, и он замер, украдкой осматриваясь и прислушиваясь к разговору.

В помещении, где он лежал на чем-то твердом, стоял сдержанный гул человеческих голосов. Можно было разобрать отдельные слова. Пестиков пошире открыл глаза. Он лежал на лавке в сарае. Лучи заходящего солнца во-

допадом вливались сюда через огромную брешь в соломенной крыше. За столом сидел человек в форме майора советских войск и что-то вполголоса говорил людям в пятнистых плащ-палатках, сгрудившимся около него. У распахнутой двери, лениво поглядывая на улицу, стоял дневальный, вооруженный автоматом. И одежда, и каски, и оружие были знакомы. Чтобы рассмотреть все поближе, Пестиков шевельнулся, колченогая лавка немедленно качнулась, и тотчас несколько человек обернулись в его сторону. Притворяться было бессмысленно, и он открыл глаза. Теперь заметил и золотые якорьки на рукавах солдатских гимнастеров. И презрительная усмешка свела губы Пестикова. Вот идиоты! Переоделись в форму советской морской пехоты и думают, что он расчувствуется, клюнет на их приманку!

— А ну, иди сюда, — тихо сказал майор.

Пестиков уже заметил, что ноги не связаны. Однако не шевельнулся. Несколько минут он и майор изучали друг друга, ощупывали глазами, стараясь найти зацепку. Перед майором лежал человек, так заросший седоватой щетиной, что возраст его определить было невозможно. Седые волосы, глубокие морщины и горькие складки в углах рта свидетельствовали о трудном пути человека, старили его, но в чертах всего лица и в глазах просматривалось что-то юное, невольно располагающее. Пестиков в свою очередь тоже придирчиво осматривал майора, его одежду, оружие, изучал каждый жест, каждый взгляд.

Наконец майор усмехнулся, закурил и спросил, откинувшись на спинку стула:

— Значит, не хочешь?

— Иди, сучка! — злобно прошипел кто-то за спиной Пестикова и не совсем нежно поддел его под ребро прикладом автомата.

Пестиков поднялся и шагнул к столу. Он уже почти не сомневался, что его схватили свои. Смущало лишь одно: откуда здесь взялась морская пехота? Когда они с Крамаревым уходили на задание, то и за сто верст нельзя было найти ни одного незнакомого матроса. Майор тоже понял, что перед ним свой. Он приказал развязать Пестикову руки, усадил напротив себя лицом к свету и начал одну из тех бесед, рассчитанных на «измор», которые так хорошо известны всем военнослужащим: собеседники еще полностью не доверяют друг другу и бродят

по сходящейся спирали, надеясь, что вот-вот один из них проговорится и тогда можно будет разговаривать откровенно. В этом поединке все преимущества были на стороне майора. По его лицу Пестиков определил, что он выпался, сыт и никуда не торопится. А у Пестикова от недавнего удара трещала голова, ныли затекшие руки, но еще больше его угнетали события последних суток.

Кто знает, сколько времени они прощупывали бы друг друга, если бы в сарай не влетел босоногий вихрастый мальчуган.

— Дядя майор! Мамка велела сказать, что яишня готова! — крикнул мальчуган, хлестнул себя вицей по черным пяткам и был таков.

Взрослые могут разыграть любую сцену, переодеться в любую одежду, подобрать людей, говорящих на любом языке, но заставить мальчишку сыграть так искренне, непринужденно — не в их власти. И Пестиков сказал, обливав обветренные губы:

— Прошу вас, товарищ майор, доставить меня в часть капитан-лейтенанта Норкина... Как можно скорее...

Майор вздрогнул, навалился грудью на стол и спросил, стараясь сдержать непонятное для Пестикова волнение:

— А кто он такой, твой Норкин?

— Офицер...

— Знаю, что офицер, а не чертова бабушка! — крикнул майор и так грохнул кулаком по столу, что гильза от снаряда подпрыгнула и упала. — Звать его как? Откуда прибыл?

— Михаил... кажись — Федорович... Из Сталинграда сюда прибыли...

Майор вышел из-за стола, прошелся зачем-то до двери, вернулся обратно и сказал, теперь уже и не пытаясь скрыть охватившего его волнения:

— Врешь?.. Хотя, зачем тебе это? Словам мы не верим... Ладно, едем! Сам тебя отвезу!

Норкин целый день просидел в каюте, просматривая пачку приказов, которые прислал ему Семенов. В бронированной коробке было душно, как в духовке, и он потел так, что нитки сухой не осталось. Под вечер жара спала, бумаги были просмотрены, и он бросился в реку, плескался в воде с наслаждением мальчишки, выскольз-

нувшего из-под надоедливой опеки любящей бабушки. Потом растянулся на теплом песке. В это время ему и доложили, что пришли Пестиков с каким-то майором. Норкин сначала хотел бежать на катер за одеждой, потом махнул рукой — так сойдет! — и распорядился:

— Давай их сюда!

Однако Копылов сообразил, что не совсем прилично комдиву в одних трусиках встречать неизвестного майора, и притащил одежду. Едва Норкин успел натянуть брюки, как из леса показались прибывшие.

— Козел! — вырвалось у Норкина, и он, забыв про свою солидную должность, бросился им навстречу.

— Мишка, черт! — проворковал Козлов и облапил приятеля. — Живой, значит?

Козлов говорил еще что-то, но в это время Норкин увидел Пестикова. Он, заросший пепельной щетиной, исцарапанный в кровь и похожий на оборванца, стоял в стороне, устало положив руки на трофейный автомат. Норкин нетерпеливо и грубо оттолкнул Козлова и шагнул к матросу. Козлов по-своему истолковал его волнение и сказал, положив руку ему на плечо:

— Ты, Федорович, его особенно не ругай. Моих хлопцев пятеро было, навалились они на него всем гамузом, да он и то одному руку ножом распластал. Промашка со всяким бывает...

Норкин подошел к Пестикову, пристально посмотрел на него. Пестиков поднял усталые и грустные глаза, снял каску. Норкин вздрогнул: голова Пестикова была словно мукой посыпана.

А кругом уже толпились матросы. С каждой минутой их становилось все больше и больше: весть о том, что Пестиков вернулся один, уже облетела катера.

— Сядем, — предложил Норкин, первым опустился на траву и, переборов волнение, спросил: — Что с Крамаревым?..

— Я его...

Стало так тихо, что все отчетливо слышали жужжание мухи, бившейся в паутине, которая была растянута между веток какого-то куста.

— Переметнулся? — ахнул Копылов.

Пестиков с негодованием посмотрел на него. Как мог он подумать такое, и про кого? Про Крамарева!..

Молчать больше нельзя, необходимо раскрыть перед товарищами свою душу, а там... Пусть судят.

Он ничего не утаил.

Кончил рассказывать и поднял на товарищей глаза, налитые тоской. Товарищи смотрели в землю и молчали. Пестикову показалось, будто они не верят ему, осуждают.

— Не мог я снести его терзаний, не мог! — выкрикнул Пестиков, закрыл лицо руками и забился в плаче.

Оторопело смотрели на него матросы. Жилин, по совестительству бывший и боевым санитаром, пробился к нему, с глубокомысленным видом пощупал его пульс и сказал:

— Скажи пожалуйста, истерика...

Пестикова увели на катер, влили ему в рот кружку водки и уложили спать.

Тихо стало на поляне. Каждый мысленно ставил себя на место Пестикова. Козлов понял, что его визит не ко времени, тихонько пожал локоть Норкина и ушел. Норкин даже не заметил этого. Крамарев для него был не просто хорошим разведчиком, одним из немногих оставшихся в живых представителей «старой гвардии», с которыми он начал свой боевой путь. Крамарев был для него прежде всего человеком.

Кажется, у Пестикова не было другого выхода: он не мог спасти, выручить из беды товарища, не мог и смотреть, как его мучительно пытали...

Ох, будь ты проклята, война!

— А все-таки, братцы, это тяжелейший, исключительнейший случай, — только и сказал Копылов.

Ему не ответили.

## 2

— Ты, Борис Павлович, как хочешь, а я не верю этой выдумке! — сказал Яснев и бросил на стол бланк радиogramмы. — Мысли не допускаю, чтобы Норкин стал разжигать антагонизм между плавсоставом и морской пехотой. Чепуха какая-то!

Яснев говорил взволнованно, а Голованов был совершенно спокоен. Он, затаив в глубине глаз ласковую и немножко нежную усмешку, наблюдал за своим ближайшим помощником. Яснев ему определенно нравился. Именно с таким прямым, энергичным человеком и работать приятно. Он, если и ошибается, то не из корыстных побуждений, а следовательно, увидев ошибку, не станет

упрямиться, сам постарается исправить ее; он не простит ошибки и начальству, не будет поддакивать, в душе насмехаясь над его незадачливостью. Все это Голованов понял еще на Волге, и поэтому радостно встретил назначение Ясенева начальником политотдела своей бригады.

Происходили между ними и стычки, похожие на шквал: такие же неожиданные, бурные и короткие. Высказавшись, порой — даже нагрубив друг другу сгоряча, Голованов и Яснев обыкновенно выдерживали небольшую паузу, давая возможность успокоиться разыгравшимся страстям, и вновь возвращались к этому же вопросу. Но теперь каждый из них уже прислушивался к мнению другого, и в конце концов они приходили к соглашению.

Сегодня шумел пока один Яснев. Голованов тоже не верил Семенову, который лаконично сообщал, что матрос Пестиков подрался с матросами из батальона морской пехоты, пустил в ход нож, кого-то ранил, а Норкин встал на защиту этого хулигана только потому, что Пестиков и его бывший начальник главстаршина Крамарев еще раньше помогали Норкину скрывать некоторые проступки. Дальше Семенов вовсе невразумительно писал о каком-то полуглиссере, который будто бы приходил в Киев за Норкиным, когда тот погуливал в обществе девиц сомнительной репутации.

Конечно, не посмеет Семенов распространять заведомую ложь: как говорится, дыма без огня не бывает, — но, безусловно, не все было так, как преподносится в сообщении. И если Яснев обвинения в адрес Норкина воспринял чуть ли не как личное оскорбление, то Голованов смотрел на все это значительно спокойнее. Ведь Норкин-то ничего не пишет? Не жалуется? Значит, он надеется на себя, вины не чувствует. А раз так, то на каком основании вмешиваться? Тем более, что и Семенов ни о чем не просит. Он только ставит в известность.

Однако и отмалчиваться нельзя. Лучше всего Ясневу побывать в дивизионе Норкина. А если спросят, зачем приехал? Посмотреть, проверить идеологическую работу.

Решение созрело, и Голованов заговорил, когда, как ему показалось, шквал миновал.

— Я тебе, знаешь, что посоветую? Поезжай-ка ты туда и разберись на месте. Мне мыслится, что нашла коса

на камень, не может Семенов сесть верхом на Норкина, ну и исходит желчью.

— А здесь?

— Что здесь? — усмехнулся Голованов. — Думаешь, жизнь остановится, замрет? Дескать, уехал начпо — и растеряется народ? Если такое случится — обратно не возвращайся: такие помощники мне не нужны!

Яснев взял злополучную радиограмму, сунул ее в карман кителя и вышел из кабинета. Он был согласен с решением командира бригады: подобные дела никогда нельзя решать, выслушав только одну сторону, не побывав на месте. Кроме того, надо предупредить Норкина о том, что Ковалевская вышла замуж. Как бы не начудил чего.

Однако Яснев не уехал: ночью от командующего пришла шифровка с приказом всей бригаде немедленно перебазироваться на Припять и там ждать дальнейших указаний. Разумеется, уехать из бригады в такой момент он не мог. В эту ночь настойчивые телефонные звонки стряхнули сон со всех дежурных и побежали посыльные в различные концы Киева, а еще немного погодя заспанные офицеры покинули теплые постели.

Когда Чигарев и Ковалевская, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, прибежали к месту сбора, матросы были уже выстроены в две шеренги.

— Все здесь? — спросил Чигарев, вытирая лоб носовым платком.

— Командира базы нет, — доложил оперативный дежурный и торопливо добавил: — За ним послан рассыльный.

Чигарев взял бланк шифровки и внимательно прочел его. Все ясно: начинается то самое, для чего создавалась Днепровская флотилия. Лицо Чигарева стало строже, озарилось каким-то хорошим внутренним светом. Он посмотрел на Ольгу, улыбнулся ей и скомандовал, громко и четко выговаривая каждое слово:

— Все к походу изготовить! Офицеры — ко мне, остальные — разойдись!

В это время Василий Никитич сидел на камне у воды и смотрел на чуть покачивающиеся поплавки удочек, закинутых в омут. Настоящий клев еще не начался, да и не интересовала его рыба. Скучно было Василию Никитичу, вот и прятался он на реке от самого себя. Действительно, разве это жизнь для уважающего себя интен-

данта? Склады у тебя полны и ни у кого ничего выры-  
вать не приходится! Мало того: и к тебе никто не идет,  
никто не подсовывает дутых заявок, не клянчит, не умас-  
ливает, пытаясь досрочно получить пару брюк. Ёфу!  
И не глядел бы на такую жизнь!

С обрыва скатилось несколько твердых комочков гли-  
ны. Один из них ударился в банку с червями, и она опро-  
кинулась. Василий Никитич нахмурился, оглянулся. На  
обрыве стоял вестовой Нефедов. Он делал какие-то непо-  
нятные знаки.

— Ну, чего надо? — спросил Чернышев, недовольный  
тем, что его одиночество нарушено.

— Товарищ майор интендантской службы...

— Тише ты! — зашикал Василий Никитич, опасливо  
косясь на полавки. — Рыбу распугаешь!

— Вас начальник штаба дивизиона срочно тре-  
бует, — теперь уже сдерживая голос, сказал Нефедов.

— Что ему приспичило?

Нефедов осмотрелся, наклонился как можно больше и  
сказал, кося глазами по сторонам:

— Приказ получен. К своим на фронт выходим.

Василий Никитич оторопело несколько секунд смот-  
рел на вестового, потом повернулся и на четвереньках  
начал карабкаться на обрыв.

— А удочки? — спросил Нефедов, когда Чернышев до-  
брался до гребня.

Чернышев удивленно посмотрел на него, перевел  
взгляд на удочки. Один поплавок скрылся под водой, а  
леска, натянутая как струна, резала воду. Василий Ники-  
тич рванулся было обратно, но сдержался, плюнул и ска-  
занул такое, что сначала Нефедов широко раскрыл гла-  
за, а потом расплылся в улыбке: не часто у начальства  
такое хорошее настроение. А Чернышев, придерживая  
рукой кобуру пистолета, бившую по бедру, мелкой рыс-  
цой затрусил по направлению к базе.

К вечеру все имущество базы и штаба было рассова-  
но по катерам бригады, и они, перегруженные сверх вся-  
ких норм, отошли от стенки. Киев медленно уходил на-  
зад, заволакивался сизой дымкой. Зеленоватая днепров-  
ская вода пенилась под форштевнями, кружевным валом  
вылетала из-под винтов и, рокоча, неслась к берегам.

Небо чуть хмурилось. Временами черные тучи прикры-  
вали красный диск солнца, налетал холодный ветер, но  
на палубе было людно: к фронту двинулись штаб брига-

ды, госпиталь, и здесь же толпились свободные от вахты матросы, штабные офицеры, работники базы и госпиталя. Все знали, что до фронта еще далеко, что солнце успеет несколько раз обойти землю, прежде чем они встретятся с товарищами, но каждый старался первым заглянуть за следующий поворот реки.

На одном из катеров, прижавшись друг к другу, сидели Катя и Наталья.

— Ох, как я боюсь, Натка! — тихо сказала Катя, прижимаясь к подруге.

Та посмотрела на нее и, поддавшись нахлынувшему теплему чувству, вдруг обняла за плечи, торопливо чмокнула в щеку и прошептала:

— Ничего, Катя, все будет хорошо.

— Ох, Миша, Мишенька... Погибель ты моя! — не то простонала, не то пропела Катя и беззвучно заплакала.

На другом катере Чернышев, сидя за столом в матросском кубрике, давал последние указания своим подчиненным:

— И чтобы все до винтика было у меня учтено! На любое имущество и в любой час иметь два варианта ведомости: один для комдива, второй для прочих. Ясно? Не будет сделано — комдив с меня шкуру спустит, а я ее с вас вместе с мясом сдеру!

Чигарев и Ольга молча сидели на корме катера. Матросы деликатно старались не появляться там без крайней необходимости и даже не смотреть туда. Странное чувство владело молодоженами. Им было и радостно оттого, что они вместе, рядом, и немного грустно: свадебный маршрут вел их к фронту, и неизвестно, когда и чем может закончиться их медовый месяц. Да и встреча с Норкиным беспокоила. Ведь словно обворовали его.

И если здесь все думали о скорой встрече с фронтом и товарищами, все по-своему готовились к ней, то на катерах, стоявших на Березине, даже не знали, что бригада вышла из Киева. А Норкин вообще так был занят, что если бы у него вечером спросили, какая была погода днем, — он бы только недоумевающе пожал плечами. И все из-за Семенова. На другой день после возвращения Пестикова капитан первого ранга вызвал к себе Норкина и начал с места в карьер:

— Поножовщину разводите? Своих резать начали? Под суд!

Норкин пробовал остановить расходившееся началь-

ство, пытался объяснить, но тщетно. Семенов оседлал любимого конька, метал громы и молнии на голову Норкина, на весь дивизион и даже на многочисленных святых. Наконец терпение Норкина иссякло, он козырнул, повернулся и пошел на полуглиссер, словно не слыша несущихся вслед угроз. Мотор взвыл — только комдива и видели! Семенов еще топал ногами, грозил кулаком, а Норкин уже забыл и о самом Семенове, и об его угрозах. Его потрясла смерть Крамарева... С одной стороны, Пестиков сделал все возможное, чтобы избавить товарища от мук, а с другой... Хотелось поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, но с кем? Здесь все ждали его решающего слова: и Селиванов, и Гридин, и матросы, и офицеры, и сам Пестиков. Вот бы с Ясенывым поговорить. Тот все поймет...

— Куда прикажете? — спрашивает командир полуглиссера. Он сидит на месте Крамарева и уже только поэтому неприятен Норкину, который невольно подумал, что Крамарев сам бы догадался, куда нужно комдиву.

— В батальон морской пехоты, — говорит Норкин и облегченно вздыхает: ко времени явился Борис Евграфович. С ним тоже можно поговорить. А вообще-то — странно ведет себя Семенов. Морская пехота должна действовать совместно с катерами, а Норкин, пока Козлова не увидел, даже не подозревал, что здесь стоит батальон морской пехоты. Почему? Неужели Семенов окончательно спятил? Или до такой глупости дошли с сохранением военной тайны? Невольно вспомнился анекдот об ездоке, который случайным попутчикам охотно рассказывал о том, что, сколько, откуда и куда он везет, но нахмурился и замолчал, сославшись на военную тайну, когда у него спросили, сколько ему лет. Разве не похоже? О появлении батальона знают армейцы, население, возможно, — противник, но только не командир дивизиона, который будет воевать с ним бок о бок.

Полуглиссер скользнул в протоку и заюлил между стволами деревьев, стоящих в воде. Несколько поворотов — протока расширилась и кончилась. Полуглиссер приткнулся к шатким мосткам, протянувшимся от берега почти до середины образовавшейся здесь чаши.

Норкин сошел с полуглиссера и в нерешительности остановился. Идти или нет? И хочется повидаться, поговорить с Козловым, да настроение такое, что не разговор получится, а скорее всего надгробное рыдание.

— И что это гость примечательное на нашем берегу увидел? Уставился глазами в точку и ни шагу! — раздался с берега знакомый голос.

Михаил тряхнул головой и торопливо шагнул навстречу Козлову, который собирался ступить на жиденькие мостки, еле выдерживающие тяжесть одного человека. Расцеловались по-русски и пошли в лес. Норкин придиричвыми глазами кадрового офицера осматривал хозяйство Козлова, видел и профессионально запоминал и землянки, скрытые под кучами хвороста, и тонкие нити зеленых проводов, и одиноких дневальных, которые, заметив офицеров, застывали свечками и брали на караул поэфрейторски.

— А народ у тебя где? На учения угнал? — не вытерпел Норкин.

— Они, брат, по части боев академию окончили, — не без гордости сказал Козлов и засмеялся. — Знаешь, что это за батальон? Пальчики оближешь! — Козлов хотя и говорил восторженно, но голос понизил с таким расчетом, чтобы его никто, кроме Норкина, не слышал.

Норкин не мог сдержать улыбки, слушая это бесхитрое хвастовство: он уже бывал здесь, знал, что большинство бойцов батальона участвовало в обороне хотя бы одного города-героя, но Козлов все так же восторженно говорил об этом при каждой встрече. Михаилу захотелось доставить удовольствие Козлову, и он спросил:

— Будто не такой, как другие?

— В самую точку попал! — засмеялся Козлов. — Все мои воюют с первых дней, все — из госпиталей и в таких переделках бывали, что другому и не снилось! Кто в Одессе был? Козловцы! В Севастополе? Козловцы! В Ленинграде, Сталинграде? Опять же... — Козлов видел, как двинулись к переносице брови Норкина, понял ошибку, но, как тяжеловесный состав, набравший скорость, сразу остановиться не смог и выпалил по инерции: — Козловцы!..

— Быстро и далеко шагаешь. Борис Евграфович, — иронически заметил Норкин. — Выходит, без Козлова, труба бы нам?

— Ты, Миша, брось за эти слова цепляться.

— Прежде чем болтать, ты бы подумал, кто их воспитал. К тебе они готовенькими явились, а ты и радешенек свое тавро припечатать — «козловцы!» А ты спросил у них, хотят они сами так называться? Спросил?

Раздражение, накапливавшееся несколько дней, нашло выход, и Норкин не жалел слов для изобличения Козлова. Тот сначала хмурился, пытался оправдаться, а потом вдруг хитро взглянул на гостя, расправил плечи, словно внезапно избавился от невидимого груза, и стал короткими репликами распаять его. Со стороны было смешно наблюдать за тем, как капитан-лейтенант отчитывал майора, и дневальные украдкой улыбались.

— Стоп! — неожиданно сказал Козлов, остановившись около зарослей ивняка. — Я ведь тебе сюрприз подготавливал.

Михаил недоумевающе пожал плечами и пошел дальше. Зачем он сюда приехал? Сюрпризы привлекли? Пожалуй, и это... Еще при первой встрече Козлов намекнул, что ему есть чем удивить и обрадовать Норкина.

— Значит, не хочешь? — посмеивался Козлов; это была его месть за недавнюю нотацию. — А я-то думал — обрадую...

— Что там у тебя припрятано, черт конопатый? — начал сдаваться Норкин.

— Да так, ничего особенного... Сам увидишь и оценишь.

Козлов как-то незаметно подтянулся и крикнул голосом, привыкшим повелевать:

— Командира истребителей — ко мне!

Немного погодя кусты зашевелились, расступились, и на тропинку вышел человек в пятнистой накидке. Норкин ошалело смотрел на него. Широкие мясистые плечи. Рыжеватые волосы, выбившиеся из-под пилотки... Ксенофонтов! Друг ты милый! Жив, здоров, стоит и еще улыбается!

— Разве вы знакомы? — посмеивается Козлов.

Норкин забывает свои горести, любовно тычет кулаком в живот Козлова и бросается к Ксенофонтову.

— Ксенофонтыч...

Вот и все, что он смог сказать.

А мичман, тот вообще ничего не сказал. Он вцепился своими лапищами в руку Михаила и молча тряс ее.

Засиделся Михаил в батальоне морской пехоты: слушал рассказ Ксенофонтова о последних боях батальона Кулакова. Узнал, что после того, как фашисты разорвали фронт батальона, часть матросов, оставшихся внутри кольца блокады, влилась в другую бригаду морской пехоты и вместе с ней выстояла на восточных рубежах

обороны Ленинграда. Были над матросскими головами железные и снежные метели, тошнило, покачивало от постоянного недоедания, но они выжили и, главное, — выстояли! Не все выжили... От истощения умер Углов, многих скосили пули и осколки...

— А помните, товарищ лейтенант... виноват... капитан-лейтенант, Ольхова?

Чудак Ксенофонтыч! Да разве можно забыть эту одновременно и простодушную и хитрую рожу?!

— Конечно, помню!

— Танк его раздавил... До этого он их пять на ветер пустил, а тут... Героя посмертно дали. Книжку о нем выпустили...

Помолчали.

— Да, дела, — неопределенно пробормотал Норкин, разглядывая свои руки, сжимающие колени. Еще помолчал и закончил: — А все-таки хорошо, Ксенофонтыч, что мы с тобой встретились.

— А иначе и быть не могло, товарищ капитан-лейтенант: фронт-то с каждым днем все короче становится. И я мыслю, что в Берлине все наши, какие живыми остались, обязательно соберутся.

Крепкая вера была в голосе Ксенофонтова; другого конца он не представлял себе.

Норкин был согласен с ним.

— Разрешите обратиться, товарищ капитан-лейтенант?

Норкин нехотя обернулся.

— Вас к телефону просят, — пояснил рассыльный.

Норкин поднялся с земли и сказал Ксенофонтову, пожимая его руку:

— Счастливо воевать, Ксенофонтыч. И забегай ко мне в любое время, как только комбат отпустит. Посидим, поговорим, да кое-что и покрепче слов для старого дружка найдем... Вот Сашка обрадуется! Не забыл Никишина?

— Спрашиваете! — осклабился Ксенофонтов.

Телефон был в том же сарае, куда несколько дней назад доставили Пестикова. Норкин сел на табуретку, взял трубку и произнес:

— Норкин слушает.

— Михаил Федорович? — переспросил Гридин, словно проверяя себя.

— Я, Леша, я. Что у вас там стряслось?

— Неприятность, Михаил Федорович. — Гридин, видимо, боялся, что кто-то его услышит, так как начал говорить шепотом: — От Семенова за Пестиковым прибыли... Под суд отдают...

— Что ты там бормочешь? Кто, кого, куда отдает? — вспылил Норкин.

— Семенов отдает Пестикова под трибунал.

— Гони их в шею!

— Михаил Федорович...

— Если говорю — гони, значит, гони!.. Сейчас сам буду!

Во время этого разговора Козлов молчаливо стоял в тени около стены и внимательно следил за лицом Норкина, на которое падал свет. И, едва Норкин так трахнул трубкой по столу, что треснула микрофонная коробка, Козлов положил руки на его плечи, заглянул в ослепшие от бешеной злобы глаза.

— Мишка, ты мне веришь? — ласково спросил Козлов.

Норкин снова сел и сжал голову руками.

— Вот так-то, Мишенька, лучше будет, — облегченно вздохнул Козлов. — Значит, веришь.

Норкин кивнул.

— Раз веришь — слушай... И я таким был... Сумасшедшим... Чуть не по мне — пых! — и понесло!.. Ты спокойно подумай: что правильнее с точки зрения общей пользы?

— Да не могу я, не могу! — вдруг закричал Норкин. — За что судить, за что? Ты мне вот на такой вопрос ответь: донесет убийца на себя? Никогда!.. А они в тылу вражеском были, там следы легко было скрыть. Дескать, напоролись на засаду и прочее... Мог он так сказать? Мог!.. А он что сделал? Пришел и душу свою наизнанку вывернул перед нами. Чистую душу!.. Э-э, да что с тобой говорить! — Норкин махнул рукой и выскочил из сарая.

Козлов метнулся за ним и прыгнул в полуглиссер уже в тот момент, когда Норкин бросил командиру его одно слово:

— Гони!

Вихрем неся полуглиссер по узкой извилистой дорожке меж стволов, а Норкину все казалось, что они еле ползут, плетутся, словно на похоронных дрогах, и, от-

толкнув локтем командира полуглиссера, он так потянул на себя подсос, что в цилиндрах раздался легкий звон.

На берег же Норкин ступил совершенно спокойным. От недавней истеричности не осталось и следа. Это больше всего удивило Козлова.

— Что у вас тут стряслось? — спросил Норкин, глядя на хмурые лица матросов и на растерянных Гридина и Селиванова.

— Я докладывал, Михаил Федорович, — начал было Гридин.

— Только и всего? — удивился Норкин. — Давай сюда этих гонцов.

Из толпы матросов вышел старшина второй статьи с автоматом на груди, козырнул и начал:

— По вашему приказанию...

— Это, старшина, ты врешь, — бесцеремонно перебил его Норкин. — Не по моему приказанию ты сюда прибыл... На чем прибыл?

— На личном полуглиссере командира группы.

— Вот и прекрасно! Иди на него, и попутного тебе ветра!

А виновник всей этой общей нервотрепки, которому ничего не сказали, в это время сидел в кубрике и, безжалостно попирая все законы грамматики, писал домой письмо. Он хмурился, сосредоточенно вглядывался в переборки, словно отыскивал на них имена многочисленной родни, каждому из которых нужно обязательно передать поклон. Не передашь — не только они, но и мать с отцом обидятся: дескать, не уважил сынок родню. А разве всех упомнишь, если полсела родни?

Наконец длинный перечень имен был закончен, Пестиков облегченно вздохнул, вытер ладонью лоб, и снова его карандаш побрел по бумаге, оставляя за собой кривые строчки:

«...И еще прошу вас, дорогие родители, взять к себе того парнишку, что зовется Петрусь. Белоголовый такой и нога у него немного попорчена фашистами. Так заберите к себе сыночка моего закадычного друга, что погиб на фронте борьбы с врагом. Пусть вместо меня живет как брат мой кровный».

Пестиков немного подумал и добавил:

«Не исполните просьбы моей фронтовой — и домой не ждите. Не сын я вам».

Написал и сразу старательно замазал: не сделают

отец с матерью такого подлого дела, чтобы сиротинку не пригреть.

В конце письма он просил не беспокоиться лично о нем, еще раз напоминал о Петрусе, которого нужно взять к себе немедленно, послал свой сыновний поклон и поставил точку.

Поздним вечером Семенов вызвал к телефону Норкина.

— Норкин? Ты почему мои приказы не выполняешь? — кричал Семенов в телефонную трубку с таким усердием, что дребезжала мембрана. — Знаешь, что мы в гражданскую с такими, как ты, делали? Знаешь?

— К стенке ставили, — спокойно ответил Норкин.

Семенов немного опешил и продолжал уже более спокойно:

— Приказываю немедленно доставить его ко мне. Лично доставь!

— Не доставлю.

— Я тебе покажу самоуправство! Приказы не выполнять?

— А почему вы, товарищ капитан первого ранга, вмешиваетесь во внутреннюю жизнь моей части? Я подчинен вам только оперативно. Любой ваш боевой приказ выполню безоговорочно, а как мне поступать с моими матросами — сам решу и только перед своим непосредственным начальством отчитываться буду.

— Не доставишь?

— Не доставлю.

— Сам под трибунал пойдешь!

### 3

Норкин не был отдан под суд. Одумавшись, Семенов решил, что нет смысла поднимать шум. И главную роль, конечно, сыграли не жалость к молодому командиру, не тревога за его дальнейшую судьбу. Нет, Семенова напугало другое. Допустим, он сообщит о случившемся начальству. Что из этого выйдет? Голованов не из тех людей, которые бросают своих подчиненных в беде. Первым делом он потребует самой тщательной проверки и даже сам добровольно возьмется за нее (с него и это может стать!). Начнет до всего докапываться, а Норкин (тоже не дурак!) молчать не станет.

В данном случае, конечно, и Норкин немного виноват.

Не имел он права так грубо отвечать старшему офицеру. С другой стороны... С другой стороны, и он, Семенов, переборщил. Ведь гвардейцы-то у него только в оперативном подчинении. То-то и оно. Нельзя было соваться к Норкину на катера. Сначала бы вызвать к себе самого Пестикова, расспросить, как и что, а потом и ахнуть по черепу строжайшим взысканием! Ведь на строгость взыскания, как известно, никто не имеет права жаловаться. А там, пока Норкин понял бы, что к чему, и закатать того черта, что ножом махал. Но теперь сделанного не воротить.

Может быть, Семенов и попустился бы всеми этими соображениями и поднял шумиху, но была еще одна причина, заставившая временно смириться. Дело в том, что сведения, которые принес Пестиков, оказались очень ценными и пролили свет еще на один участок обороны противника, превратившего в свою крепость даже реку. Так, около села Збуричи немцы перегородили Березину двумя бревенчатыми бонами, нанизанными на трос. Кроме того, каждое из звеньев любого бона стояло на трех самостоятельных якорях. А если к этому добавить, что левый берег реки оказался сплошь минированным, что в обрыве правого — дот, а на самом боне, обвитом колючей проволокой, лежали противотанковые мины, то любому человеку станет ясно, что такую цепочку одним махом не разорвешь. А ведь Семенов в подобных делах понимал кое-что.

Вот и решил Семенов: пусть-ка Норкин ломает зубы на этих цепочках, очищает проход, уничтожает мины. Он человек молодой, башковитый — ему и карты в руки. А в том, что прорываться придется, Семенов не сомневался. Он знал точно, что на обоих берегах Березины тайно собираются большие ударные силы Советской Армии, которые вот-вот обрушатся на оборону врага, вспорют ее, как клыками, танковыми дивизиями, и тогда наступит черед Днепровской флотилии.

Когда это произойдет? Замыслы начальства неисповедимы.

Действительно, в эти дни шли последние приготовления к наступлению войск 1-го Белорусского фронта. Советское командование знало, что противник придает огромное значение Бобруйскому направлению и не пожалел средств и времени для создания здесь оборони-

тельной полосы. Все крупные населенные пункты были врагом превращены в мощные узлы обороны, способные создать плотный огонь на любом направлении и состоящие из системы дотов и укрытых в фундаментах зданий огневых точек.

Было над чем подумать командованию Советской Армии, особенно если учесть, что непроходимые топи не давали возможности вести наступление широким фронтом.

Но вот приготовления были закончены, и в шесть часов утра 24 июня войска 1-го Белорусского фронта начали одновременное наступление со стороны Корма и севернее Рогачева.

Первые залпы совпали с сигналом побудки, и вахтенные даже немного растерялись: не почудилось ли им это? Но артиллерийские залпы следовали один за другим, точно отсчитывая секунды. Вот они слились в сплошной рев, из которого выделялись октавы орудий крупного калибра. Из кубриков повыскакивали еще сонные матросы. Думая, что проспали сигнал боевой тревоги, они, схватив одежду в охапку, спешили на боевые посты.

Одним из первых выскочил на палубу и Норкин. Он привычным взглядом окинул небо, свои притаившиеся катера — и понял все.

— Отставить! — крикнул он матросам, готовившим катер к бою, скрылся в каюте и скоро вновь вышел на палубу, но уже одетый по всей форме.

— Не вызывали? — спросил Норкин у телефониста, дежурившего на командном пункте.

Тот растерянно и даже с обидой посмотрел на командира: как можно спрашивать такие вещи? Если бы только позвонили из штаба группы, рассыльный мигом долетел бы до катеров. Норкин уже и сам понял всю нелепость своего вопроса и, чтобы хоть немного оправдаться, проговорил:

— В том смысле спрашиваю, что линия не повреждена?

— Никак нет, исправна, — поспешно ответил телефонист.

Слева подпирал небо столб черного дыма. Именно такие столбы дыма Норкин видел в Сталинграде, когда горела нефть. Дальше и чуть правее дым был серым и тучей расплзался по небу. Там горела деревня. А может быть, и несколько...

Но вот воздух наполнился гулом самолетов. Казалось, они бесконечным потоком шли туда, где стоял тот дымный столб. Шли преимущественно бомбардировщики, стлались над землей штурмовики, и лишь несколько истребителей прикрывало их: немецкие самолеты боялись появляться над фронтом.

Даже здесь, где стоял дивизион, земля вздрагивала, стонала от взрывов тяжелых бомб. И так весь день: непрерывный грохот артиллерии справа и слева, вереницы самолетов, несущихся то к фронту, то от него на свои аэродромы.

Весь день грохотала артиллерия, весь день моряки флотилии ждали, что вот-вот командование вспомнит и о них, наконец-то пошлет в бой, но приказа все не было. Лишь 25 июня в три часа дня Норкина вызвали в штаб Северной группы.

Опять бешеная гонка на полуглиссере и... опять Семенов, мирно разглагольствующий в кругу офицеров штаба о делах минувших дней. Одно новое: заметив Норкина, он не поморщился, как обычно, а встал, шагнул навстречу и сказал, словно между ними никогда не было стычек:

— А, комдив прибыл. Ну, здравствуй.

— Здравия желаю, товарищ капитан...

— Перестань, — поморщился Семенов. — На фронте не до церемоний, да и мы с тобой не первый день знакомы... Вот почти боевой приказ, подумай, а потом задавай вопросы или действуй.

Норкин не стал читать пространную вводную часть, в которой говорилось о примерном соотношении сил на участке фронта и об общих задачах, а сразу перешел к пунктам, касающимся непосредственно его дивизиона.

Задача была ясна: четыремя бронекатерами и двумя тральщиками прорвать боны и высадить в тылу противника «первый бросок десанта». Остальным катерам, после того как будет решена первая часть задачи, войти в прорыв и высадить главные силы десанта. Десант — батальон майора Козлова и две роты солдат стрелкового корпуса.

— Все ясно? — нетерпеливо спросил Семенов, поглядывая на часы. — Учти, что пехота с фронта начнет наступать ровно в восемнадцать ноль-ноль. Не подведи ее под монастырь.

Норкин тоже глянул на часы и воскликнул:

— Так ведь уже пятый час! Неужели нельзя было пораньше приказ вручить?

— Это уже не моя вина: командование стрелкового корпуса только сейчас приняло решение о высадке этого тактического десанта, — ответил Семенов и тут же ехидно добавил: — Но, если в части порядок, а не кабак, — времени за глаза хватит.

— Походный ордер обязателен?

— Абсолютно.

— Почему же тогда впереди идут бронекатера, а не тральщики?

— Это позволь нам знать, — нахмурился Семенов. — И вообще, получив приказ, не торгуются.

Норкин понял, что спорить с Семеновым бесполезно, отковырял и побежал к полуглиссеру: так много нужно успеть сделать, а времени в обрез!

— Про пехоту не забудь! — крикнул вслед Семенов и не спеша вернулся к офицерам, по-прежнему сидевшим в тоскливом ожидании.

Норкина уже мало интересовал сам Семенов. Он имел приказ и нужно было подумать над тем, как его выполнить. На бумаге все просто: «Прорвать боновые заграждения и высадить десант...» А как прорвать, как атаковать — решить должен сам комдив. Конечно, проще всего слепо повиноваться приказу. Но какой офицер не задумывается над тем, как бы достигнуть тех же результатов с меньшими потерями? Вот над этим и думал Норкин, сидя в полуглиссере. Прежде всего нужно решить, кого послать. Разумеется, Селиванова с его отрядом. Он наиболее опытный, а тут дело серьезное. Хотя бы даже потому, что это первый наступательный бой гвардейцев.

Итак, с Селивановым вопрос решен. Теперь о тральщиках. Перед глазами невольно встали спокойный, чуть усмехающийся Никишин и хмурый, глядящий исподлобья Маратовский. Эти тоже не подведут.

За время отсутствия Норкина дивизион преобразился: ненужная более маскировка полетела в воду, исчезли чехлы с орудий и пулеметов, а матросы, как перед смотром, оделись в парадную форму. Все было в движении, все что-то делали, куда-то спешили, но придирчивый взгляд Норкина не заметил ни малейшего намека на суету, этот верный признак нервозности. Даже гвардейские флаги трепетали сегодня как-то по-праздничному.

— Ну что, Миша? — горячим шепотом обдал его Селиванов, как только он ступил на палубу катера.

— Начинаем.

— Всем дивизионом?

— Собери сюда всех командиров отрядов.

Совещание было кратким, и скоро все разошлись, чтобы сделать последние приготовления. Застучали молотки. Это матросы намертво прибивали флаги: теперь они упадут только с флагштоками.

— Михаил Федорович, а Михаил Федорович, — услышал Норкин за спиной голос Гридина и обернулся. — А мне куда? Вам, понятно, надо с основным ядром оставаться, а мое место на тральщиках. Разрешите?

— Хорошо, иди, Леша.

Скоро подошли батальон морской пехоты и две роты солдат, выделенные для десанта командованием стрелкового корпуса. Козлов достал из полевой сумки боевой приказ, показал его Норкину и спросил:

— Такой же?

— Под копирку, — ответил Норкин, бегло взглянув на листы тонкой папиросной бумаги.

— Тогда и говорить нечего. — Козлов бережно сложил приказ, засунул его в сумку. — У тебя особых приказаний нет? На каких катерах мне размещать людей?

— Первого броска — на бронекатерах Селиванова и вон тех двух тральщиков. А с остальными бойцами потерпи.

Короткая, отрывистая команда — и цепочки десантников потянулись к катерам. Послышались шутки, веселая перебранка.

— Браток, а где же твоя броня? — спрашивал Копылова десантник с новеньким орденом Славы на груди. — Неужто в Киеве пропили?

— Глянь, ребята, на это чадо! — с притворным удивлением и сожалением воскликнул Копылов. — До таких лет дожил, что зубы выпали, а не знает, что у нас броня особая!

— Просвети, сердечный, будь другом, — посмеивался десантник. — Я ведь еще салажонок, только седьмой год ракушки обдираю.

— Она у нас психическая, — таинственно прошептал Копылов.

— Поясняй, — теперь по-настоящему заинтересовался десантник.

— Он по нам, как по путным, броневойными, а у нас — рус-фанера. Ясно? Броневыйка швыркнет от борта до борта и пошла гулять дальше. А нам все едино: одной дырой больше, одной дырой меньше.

— А если в тебя?

— А ты что, дурной? Видишь, летит — отодвинься, будь вежливым.

Окончены последние приготовления. Срублены мачты на тральщиках. Закрыты люки оружейных башен. Поданы в приемники пулеметов первые патроны. Около орудий на матах лежат лоснящиеся смазкой снаряды. Сдержанно гудят моторы.

— Разрешите сниматься, товарищ капитан-лейтенант? — спрашивает Селиванов.

Норкин молча пожимает руки ему и Гридину.

Лязгнула за Селивановым броневая дверь рубки. Безлюдно на палубах катеров. Но вот тишину разорвала трель звонка машинного телеграфа. Моторы загудели сильнее. Катера медленно отошли от берега. Пенная дорожка протянулась за ними. Гвардцейцы пошли в наступление.

## *Глава пятая*

### **ГВАРДИЯ ВОШЛА В ПРОРЫВ**

#### **1**

Полуторку безжалостно подбрасывало на ухабах. Старая, выдавшая виды машина стонала и скрипела, как корабль, попавший в центр циклона. Казалось просто чудом, что ее кабина, простреленная во многих местах, и кузов, иссеченный осколками снарядов всевозможных калибров, еще не развалились. От мотора несло жаром, пот разбедал лицо, тело, но Карпенко блаженно улыбался, поглядывая по сторонам: артиллерийские залпы доносились все глуше, все реже над машиной пролетали самолеты, полные боевого задора или спешащие на аэродром, чтобы скорее залечить свои тяжелые раны. Карпенко радовался, что все это остается позади, что впереди хотя и длинный, утомительный, но безопасный путь.

Сегодня на рассвете, получив под расписку пакет, он выехал из штаба Северной группы на реку Припять, в

далекий город Белобылъ. Все это произошло быстро и неожиданно. Он приехал в штаб, чтобы сдать заявку на топливо для дивизиона, по старой памяти зашел к Семёнову поболтать о делах текущих, перемыть косточки начальству, близкому и далекому, и вдруг — езжай, Карпенко, за тридевять земель киселя хлебать! Другой, может быть, и обиделся бы на предложение уехать с фронта перед боем, а ему было только на руку: чем меньше болтаешься под пулями и осколками, тем целее будешь. Это Карпенко усвоил еще в бытность свою матросом.

Карпенко еще тогда решил, что лучше быть живым матросом, чем мертвым командиром корабля. Однако недолго пробыл Карпенко матросом: флот возрождался после гражданской войны, работы было много, людей не хватало, и направили его сначала на одни курсы, потом на другие, и завертелось колесо фортуны. Не успел опомниться — нашивок по локоть, да и брюшко из-под кителя выпирать начало. Раздобыл и подобрел инженер-капитан второго ранга Карпенко. Ходил он по своим владениям с вечной улыбочкой и еще дома обдуманно остроумными. Служба не казалась ему обременительной. Да и с чего бы ей быть такой? Большинство начальства — свой брат, старые военморы, а если и попадался кто из молодых — тоже не обижал, уважал седину и долгую службу на флоте.

Одна только неприятность и была за все годы. Это когда с женой разводился. Прежняя стара стала, да и по развитию отстала от мужа. Только слава, что жена инженер-капитана второго ранга. А тут подходящая женщина подвернулась. Правда, почти ровесница сыну, но зато и вид, и обращение — не придерешься. Так ведь позавидовал кто-то: целую бучу подняли, обвинили во всех смертных грехах. И лететь бы Карпенко в тартарары, но послушной список и дружки выручили. Благодаря им отделался только выговором по партийной линии.

Хорошо, спокойно зажил Максим Алексеевич с молодой женой. А тут война грянула, и понесло, понесло... Жена эвакуировалась в Сибирь, а его начали перебрасывать с одного места на другое. Попал в Днепровскую флотилию — обрадовался: и от фронта далеко, и Семёнов, дружок старый, рядом. Все было хорошо, да принесла нелегкая этого Норкина! За несколько дней всех взбудоражил... Конечно, его дело молодое, пусть усердствует по службе, но зачем старых служаков трясти?

Пробовал через Семенова посылать на Норкина жалобы в штаб и политотдел бригады — не помогло. Видать, там крепкая рука у Норкина. Пришлось смириться. Ну, пока были в тылу, терпел. А на фронте, когда пальба кругом, — совсем другая статья. Тут лучше подальше держаться от командира с такой горячей головой. Неровен час — овдовеет молодая жена раньше времени.

Вот отчего радовался Максим Алексеевич, удаляясь от фронта, ликовал, везя пакет с просьбой дать плавмастерскую и с очередной жалобой на самоуправство Норкина. И настолько велика была эта радость, что он не замечал ни хмурого лица шофера, ни выгоревших деревень, мимо которых проносилась машина, ни жалких клочков засеянной земли, теряющихся, как островки, в океане бурно разросшихся сорных трав.

Утром увидели сосновый бор, частоколом вставший на холме, а потом и сам Белобыл, издали маячивший белой колокольней монастыря.

— Куда прикажете? — спросил шофер, глядя перед собой воспаленными от бессонницы и пыли глазами.

Карпенко, которого изрядно растрясло, осмотрел реку. Ни одного катеришки! Неужели проскочили? Или опаздывают? По графику у них здесь сегодня дневка. А откровенно говоря, разве он, Карпенко, виноват? Прибыл вовремя. Значит, можно несколько часов отдохнуть, а там видно будет.

— Здесь остановимся, — сказал Максим Алексеевич, вылез из кабины и с наслаждением растянулся в высокой траве. Его все еще трясло, укачивало, а земля, лес и небо по-прежнему бежали, струились куда-то.

— Ждать, значит, — проворчал шофер, который, как большинство людей, привыкших к частому общению с начальством, не считал нужным скрывать свои мысли. — Так и до конца войны прокантоваться можно.

— Сколько нужно, столько и будем ждать, — ответил Карпенко, стараясь придать своему вялому голосу начальственную строгость.

— До морковкина заговенья? Хотя бы в город захватить и узнать у коменданта. Может, прошли?

Карпенко задумался. С одной стороны, предложение дельное, стоящее. С другой — куда торопиться? Здесь так хорошо, пахнет мятой, полевыми цветами. Да и не так уж часто выпадает моряку счастье поваляться на траве. Лучше полежать, выспаться, а там видно будет. Ре-

шение принято, и, положив под голову свернутый китель, Максим Алексеевич блаженно закрыл глаза. Шофер посмотрел на него, пробормотал сквозь зубы что-то невнятное, сплюнул, сорвал пук травы и с остервенением начал стирать пыль с кабины, временами поглядывая то на город, казавшийся погруженным в сладостную дрему, то на реку, лениво ползущую в зарослях ивняка.

И вдруг из-за поворота реки, казалось — прямо из кустов, вылетели стайкой полуглиссеры. Рассыпавшись веером, они будто прощупывали реку. За ними, разрезая упругую гладь, появились бронекатера и тральщики. Они шли плотным строем, взбивая белую пену. На головном бронекатере развевался флаг командира бригады.

Шофер окликнул Карпенко. Тот на мгновение перестал храпеть, потом перевернулся на бок, и вновь залихватистый храп заглушил стрекотание кузнечиков. А на флагманском катере в это время к ноку реи взмыл красный шар, и сразу сникли фонтаны, бившие из-под винтов, катера развернулись и, как сонные мухи, поползли обратно. Все это было сделано быстро, без суетоки. Чувствовалось, что этот маневр выполняется не в первый раз.

— Нашли время в бирюльки играть, — проворчал шофер и бесцеремонно потянул Карпенко за ногу. — Пришла бригада. Отдавайте свои бумажки и айда на обратный курс!

Разомлевший Карпенко нехотя сел, посмотрел на реку сонными глазами и сказал:

— Чего зря будишь? Наши должны против течения идти, а эти вон куда прутся.

Шофер не успел ответить: неподвижный воздух задрожал от гула авиационного мотора, и над рекой показался косокрылый «хеншель». Он деловито прошелся раз, сделал круг над уходящими катерами и потянул куда-то в сторону. Тотчас на флагманском катере вновь поднялся красный шар, вновь катера развернулись, вновь забила пена из-под их винтов.

— Вот это порядок! — воскликнул шофер. — Вправили летуну мозги! Сейчас, поди, радирует своим, что русские перегруппировываются, уводят флотилию с Припяти. Ай да Голованов!

Катера миновали город, приткнулись к берегу, и тотчас застучали топоры, зеленые ветки легли на пушки, пулеметы, палубы, и река словно вымерла.

Карпенко надел китель, фуражку и зашагал к месту стоянки катеров. Шофер, достав из-под сиденья котелок, побежал следом.

— Максим Алексеевич! Какими судьбами?

Карпенко остановился. Продираясь сквозь кусты, к нему спешил сияющий Чернышев.

— Комдив тоже здесь? Или у вас дело серьезное? — спросил Василий Никитич, пожимая его руку.

Карпенко насупилсЯ: и этот о Норкине спрашивает! Будто только он один и свет в окошке!

— Комдив там, где ему положено быть, — сухо ответил Максим Алексеевич.

— Впереди?

— Как вам должно быть известно, на Березине.

Лицо Чернышева вытянулось. Он посмотрел на Карпенко, на машину, одиноко торчащую среди поляны, и спросил:

— А вы зачем здесь?

— С пакетом к командиру бригады.

Карпенко раздражали и вопросы Чернышева, и его недоумевающие взгляды.

А весть о том, что здесь дивизионный механик, уже облетела катера, кусты трещали, гнулись, пропуская все новых и новых людей. Карпенко не успевал отвечать на приветствия и вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Наконец он не выдержал и сказал:

— Потом, товарищи, потом. Сначала — к комбригу.

И моментально поток вопросов оборвался и услужливые, дружеские руки раздвинули перед ним кусты. Вот и флагманский катер. На его палубе — Ясенов, голый по пояс. Он склонился над ведром и так яростно чистил зубы, словно только в этом и заключалось для него все счастье жизни. Услышав шаги, он повернул голову, удивленно взглянул на Карпенко и невнятно проговорил:

— Заходи, Максим Алексеевич, я мигом.

Ничего особенного не сказал Ясенов, но в голосе его прозвучали нотки, заставившие насторожиться. И впервые Карпенко подумал о том, что, пожалуй, зря он взялся за это поручение. Не принесет оно ему славы. Скорее — наоборот. Захотелось оттянуть момент встречи с Головановым, и Максим Алексеевич предпочел дожидаться Ясенева. А тот, не промолвив больше ни слова, прополоскал рот, умылся, как простой матрос, из ведра, вы-

терся полотенцем, взял из рук вестового майку, китель, оделся и сказал, застегивая последнюю пуговицу кителя:

— Ну, пошли.

Голованов сидел в носовом матросском кубрике. Услышав стук каблучков по трапу, он приподнял голову и, как показалось Карпенко, с плохо скрываемой иронией посмотрел на него.

— Здравия желаю, товарищ контр-адмирал, — сказал Карпенко, смущаясь, как новобранец.

— Здравствуйте. Зачем Норкин вас послал сюда? Или ему в бою механик не потребуется? Поломок и повреждений от снарядов не предвидится?

— Не Норкин, а Семенов, — поправил Карпенко, чувствуя, что почва окончательно уходит у него из-под ног.

— Разве вы теперь у него в прямом подчинении? И давно? От какого числа и чей приказ? Подумать только, ведь дней пятнадцать лишь и минуло с тех пор, как ваш дивизион ушел от меня, а уже такие изменения!

— По согласованию с комдивом прибыл, товарищ адмирал.

— А-а-а... Что у вас там стряслось?

— Вот пакет, — сказал Карпенко, доставая из внутреннего кармана кителя злополучный конверт с сургучной печатью.

— Ваше начальство, видать, бережет матросов, даже с пакетом офицера посылает, — сказал Голованов, и нелзя было понять, одобрение это или насмешка.

Яснев с самым безразличным видом чистил ногти. Голованов не спеша вскрыл конверт, достал из него бумагу, бегло просмотрел ее и сказал, словно только сейчас заметив:

— Да вы садитесь. Наверное, измотались за дорогу?

В его словах Карпенко уловил насмешку. Ох, быть, видно, бане...

— Это, Яснев, по твоей части, — сказал Голованов, протягивая жалобу Семенова. — Получше иного романа. Капитан-лейтенант чуть не до слез довел капитана первого ранга. Встречался в истории с подобным фактом?

Яснев со скучающим видом начал читать. Карпенко напрягся и сидел на самом кончике стула. Оспинки резко выступили на его лице, налившимся кровью. Давно он не чувствовал себя так отвратительно. Дернул черт связаться с этим пакетом!

— Ну как, прочитал? — спросил Голованов. — Това-

рищ Карпенко, наверное, торопится. Что ни говори, а его катера сейчас бой ведут.

— Интересно... Очень интересно, — словно в раздумье протянул Ясенев, вскинул глаза на Карпенко и выстрелил вопросом: — Правда это?

Мысль работала лихорадочно. Что отвечать? Ведь он затем и приехал сюда, чтобы на словах дорисовать то, о чем умолчал Семенов. Или... Или переметнуться на сторону Норкина? У кого из них положение устойчивее?

— Вы, товарищ Карпенко, старый коммунист, — как бы между прочим напомнил Ясенев, не спуская глаз с широкого лица Максима Алексеевича.

— Потому сам и приехал, — выпалил Карпенко, решившись идти напролом. — Семенов травит Норкина, жизни не дает! Вот и решил я воспользоваться случаем, чтобы лично выступить в его защиту.

У Ясенева дернулось плечо. Голованов предостерегающе забарабанил пальцами по столу. Ясенев прикрыл веки, а когда поднял их — в глазах не было ничего, кроме откровенной скуки. С таким видом обычно слушают длинный доклад, с которого нельзя удрать только потому, что начальство следит за каждым твоим движением.

А Карпенко ничего не замечал. Приняв решение, он пошел в наступление и выкладывал не только действительные, но и мнимые грехи Семенова. Не забыл ни неудачной огневой позиции, ни грубости, ни последнего инцидента из-за Пестикова. Если верить Карпенко, то на всем флоте не было человека хуже и глупее Семенова. Просто удивительно, как ему доверили командование!

— Скажите, а почему раньше вы нам другое писали? — неожиданно прервал его излияния Ясенев. — Еще в Киеве, помните?

— Тогда у меня было другое мнение о Норкине, — не смутившись, ответил Карпенко. — Я считал действия его неправильными, боялся, что может погибнуть талантливый командир. Не мог я оставаться равнодушным!

— Поэтому анонимками нас и засыпали? — неумолимо наседал Ясенев.

— Анонимками? — на лице Карпенко неподдельное изумление. — Неужели без подписи посылал? Вот это да!.. Забыл, видимо, в горячке. Сами знаете, какие дни тогда были. К навигации готовились.

Пальцы Голованова по-прежнему выбивают предостерегающую дробь. Ясенев прикрывает глаза и словно дремлет. Только временами легкая судорога пробегает по его лицу. Он и Голованов слушают Карпенко, который обстоятельно рассказывает о состоянии катеров, о боевой подготовке, хвалит Норкина как командира и хозяина, жалуется на самоуправство Семенова. Максим Алексеевич думает, что ему удалось отвести удар от себя, он воодушевлен, он прочно сидит на стуле. Его обманывает спокойствие адмирала. Не знает Карпенко мыслей Голованова. А тот думает: почему до сегодняшнего дня никто не разгадал Карпенко? Создается впечатление, что за лишнюю звездочку на погоне он отца родного продаст. И такой человек долгие годы служит, на него пишут прекрасные аттестации! Почему? Видимо, потому, что у нас еще верят представительной внешности, еще много значения придают различным анкетам, любят людей внешне дисциплинированных. Установленных порядков явно не нарушают, с начальством не спорят, не грубят ему, пошучивают с подчиненными — и все в порядке! И вот живет, даже, случается, блаженствует человечиска с мелкой душонкой. Иногда в президиумах сидит, напыщенными речами аплодисменты срывает...

Как поступить сейчас? Выгнать Карпенко? Можно. И повод есть: бросил катера в самый ответственный момент, в момент подготовки к бою. Нет, пожалуй, ничего не выйдет из этого обвинения: Карпенко — лиса опытная, он первым делом заявит, что приехал не по своей воле, что выполнял приказ Семенова.

— Что ж, спасибо, Максим Алексеевич, за правдивую информацию, — почти дружески говорит Ясенев. Голованов прекрасно понимает этот маневр, одобряет его и знает, что оба они пришли к одному выводу: наблюдать за Карпенко, а пока сделать вид, будто ничего существенного не произошло. — Когда обратно?

— Сегодня... Сейчас. Заправим машину и сразу тронемся.

— Зачем такая спешка? — спрашивает Голованов и добавляет, не совладав с собой: — К бою так и так опоздали. Подкрепитесь, отдохните и тогда трогайтесь. К тому времени и бой, возможно, кончится.

— Вот поэтому и спешу, товарищ адмирал. Может, повреждения какие? Что ни говорите, а я механик.

— Тоже верно, — поспешно соглашается Голованов и смотрит на Ясенева; тот кивает. — Тогда до свидания.

— А как с плавмастерской? — спрашивает Карпенко с видом очень озабоченного человека.

— Скажите Семенову, что она в ведении Военного совета. Да он и сам должен знать об этом.

Сияющий Карпенко вышел на палубу. Черт побери, как хорошо, когда у тебя голова на плечах есть! А ведь чуть-чуть не влип, как кур во щи. Ладно, что догадался своевременно курс изменить. Сейчас зайти к Чигареву (что ни говорите, а начальство!), подкрепиться и — в путь-дорогу.

Небрежно козырнув вахтенному, словно отмахнувшись от надоедливой мухи, он сошел на берег.

А после его ухода между Головановым и Ясеным произошел краткий, но выразительный разговор.

— Хорош? — усмехнувшись, спросил Голованов.

— Беспозвоночное, — ответил Яснев, бережно складывая послание Семенова.

— Потерпим его присутствие до первого удобного случая. У нас, к несчастью, за паршивую душу с должности не снимают.

Разговор с Чигаревым не был продолжительным. Карпенко вкратце рассказал о стычках Норкина с Семеновым, добавил от себя, что теперь все в порядке, что сегодня катера пошли в бой. Чигарев ни о чем не спрашивал: он знал, что главное могло произойти в отсутствие Карпенко.

Несколько обиженный холодным приемом Чигарева, Карпенко, однако, не лишился аппетита и, плотно закусив, начал собираться в обратный путь. Собственно говоря, сборы его заключались в том, что он прошелся вдоль стоянки катеров, перебросился несколькими словами с матросами, взял письма и направился к машине. Тут, около поляны, его и догнала Катя.

— Товарищ Карпенко! — крикнула она.

Максим Алексеевич остановился с видом человека, которому дорога каждая минута, но он вынужден тратить их по пустякам. Однако глаза его тотчас стали масляными: Катя, порозовевшая от смущения, затаенная в китель, была особенно красива. Ее большие черные глаза смотрели с надеждой, даже с мольбой, а полуоткрытые припухлые губы хотели и не могли выговорить заветного слова.

— К вашим услугам, — галантно поклонился Карпенко, делая к ней несколько шагов.

— Как там?

— Что вас интересует? Погода? Глубина? — игриво спросил Карпенко.

— Вы же знаете, что меня интересует, — тихо сказала Катя.

Карпенко, словно только сейчас понял, в чем дело, сдвинул брови, пытливо посмотрел на нее и сказал несколько суше:

— Совсем забыл о вашей симпатии. Между прочим, он вам привета не передавал.

— Это не имеет значения, — вспыхнула Катя. Смушение ее исчезло. Теперь она была прежней Катей, независимой и немного грубоватой.

— Тогда присядем? Разговор длинный.

Катя не возражала, и они уселись в тени куста, отмахиваясь ветками от редких слепней. Карпенко и ей рассказал о злоключениях Норкина, умышленно сгущая краски, и даже дал понять, что Михаилу, пожалуй, не удержаться в должности комдива. Расчет Карпенко был очень прост: он думал, что все это оттолкнет Катю от Норкина, но просчитался. Катя любила, любила впервые, и не как легкомысленная девушка, а как женщина, знающая, что счастье само не дается в руки. Мысли ее все эти две недели были с Михаилом, лишь думами о нем она и жила. Известие о том, что госпиталь идет не на Березину, а на Припять, заставило ее сделать опрометчивый шаг: она написала флагманскому врачу флотилии рапорт, в котором просила направить ее в госпиталь Северной группы хотя бы санитаркой. Не так была страшна сама просьба, как тон, каким она излагалась. Наталья, ознакомившись с рапортом, еле уговорила, упросила Катю не делать глупости, так как ее могут вообще отчислить из флотилии. Как и где она тогда встретится с Михаилом? Последний довод подействовал.

А теперь, слушая Карпенко, Катя думала о том, что вот и поближе она к Норкину, за сутки может до него добраться, а помочь ему бессильна.

Занятая своими грустными думами, Катя не заметила, как Карпенко положил руку на ее колено.

— Да вы, Катя, не убивайтесь, — напевал Карпенко, осторожно, но все смелее поглаживая ее колено. — Чтобы такая красавица да не нашла себе дружка — никогда не поверю!

Катя молчала. Карпенко осмелел еще больше и обнял ее за талию. И тут Катя отшатнулась, несколько секунд удивленно смотрела на Карпенко, потом размахнулась, и две звонкие пощечины отчетливо прозвучали в утренней тишине.

— Вы меня звали, товарищ инженер?— почти тотчас раздался голос шофера, а вскоре показалось и его чуть насмешливое лицо.

Карпенко молча поднялся и, не простившись с Катей, пошел к машине. А Катя, закусив губу, убежала на катер, бросилась там на койку и разрыдалась. Тщетно Наталья пыталась успокоить ее, предлагала воду, валерьянку. Единственное, чего она добилась, — Катя рассказала ей, что ударила Карпенко.

— Ну, а зачем расстраиваться, дурочка? — сказала Наталья, ласкаясь к Кате. — Не ты к нему, а он к тебе лез, не он тебе, а ты ему пощечин надавала!.. Перестань, Катюшка, выть! Ты мне на нервы действуешь, и я тоже вот-вот зареву... Ну, чего ты, чего?! Встретитесь, и все будет по-прежнему.

Катя отрицательно покачала головой.

— Почему? Разлюбила его?.. Значит, только на две недели ихватило твоего чувства? — напустилась на нее Наталья.

— В положении я, — всхлипывая, проговорила Катя.

Наталья безвольно уронила руки на колени. Помолчала и потом сказала с напускной беспечностью:

— Эка невидаль! Сама не знаешь, что делать?

— Как ты не поймешь! Это же его ребенок! — гневно крикнула Катя.

## 2

Когда полуостров, врезавшийся в реку с правого берега, отступил, остался за кормой катера, Селиванов прильнул к узкой смотровой щели. Впереди на высоком яру — Збуричи. Их не видно, но Селиванов точно знает, что они там, что там и вгрызлись в землю немцы. На зеленоватой воде чуть темнеет узенькая полоска. Это первый, самый главный противокатерный бон. Какой ничтожной преградой он кажется сейчас! Создается впечатление, будто стоит катерам только разогнаться, рубануть по нему форштевнями — и путь окажется свободен. Но Селиванов отлично помнит допесенные Пестикова и не ду-

мает бронекатерами разорвать бон (для этого идут тральщики), а ищет тот самый дот, который, опять же по словам Пестикова, держит под обстрелом всю реку. Вон там, на самом мысочке, кажется, что-то темнеет. Селиванов берет бинокль и смотрит. Похоже на расширенный лаз в гнездо стрижей. Весь обрыв почти в таких же темных дырках: стрижей здесь множество, и они, чуть не касаясь крыльями воды, спуют над рекой.

Противник молчит, словно не замечает катеров. В этой тишине чудится что-то зловещее. Селиванов оглядывается. Сзади, угловатые, как утюги, идут три бронекатера. На их палубах ни души. Но Селиванов знает, что из узких смотровых щелей смотрят на берег острые матросские глаза, ощупывают каждый кустик, каждый бугорок. Отстав от бронекатеров, покачиваются на поднятых волнах тральщики. Заходящее солнце залило кровавым светом большие смотровые стекла их рубок. В рубках стоят люди. Селиванову кажется, что он узнает и Гридина, и Никишина. На машинных надстройках около спаренных крупнокалиберных пулеметов застыли пулеметчики. Они отчетливо вырисовываются на светлом фоне неба. Селиванову становится немного не по себе: он защищен броней, которая спасает его от пуль, а у них, действительно, броня только «психическая».

Огненная струя брызнула из отверстия, замеченного Селивановым, и по воде перед носом катера заплясали белесые фонтанчики. Они все ближе, ближе... Нос катера разорвал их ленту, и теперь на его палубе обозначилась искрящаяся полоска.словно камни забарабанили по рубке. Неприятно слышать этот стук: сама смерть стучится около твоей головы, и невольно хочется присесть, спрятаться за что-нибудь.

Фонтанчики взметнулись уже за кормой...

— Левый борт! Курсовой десять! По доту... огонь! — кричит в переговорную трубу командир катера лейтенант Волков, любимец Селиванова. Широкоплечий, коренастый, с быстрыми черными глазами, он словно создан для войны, для внезапных налетов на врага. Селиванов уже не раз думал о том, что в другое время — лет на сто раньше — из него наверняка вышел бы или лихой разбойник, или беспечный рубака-гусар.

И что больше всего подкупало — он решения принимал мгновенно, нимало не заботясь о том, понравятся они начальству или нет. Вот и сейчас, согрешив против

устава, не спросив разрешения у командира отряда, он сам распорядился открыть огонь. Правильно распорядился: пока бы спросил, пока бы Селиванов ответил — потеряли бы драгоценные секунды, столь необходимые в бою, особенно если ты стремительно сближаешься с противником, да еще на дистанции стрельбы прямой наводкой.

Около дота взметнулся столб пламени. Пласт глины сполз, и стали видны броневые плиты.

— Бронбойными! — кричит Волков в переговорную трубу и смотрит на Селиванова. В его дерзких глазах нет робости. Они спрашивают: правильно? Селиванов одобритительно кивает.

Стрелять начали и концевые катера. Снаряды вздымают землю, обрушивают в реку куски яра, но проклятый дот все еще живет! Из него уже не стреляют по бронекатерам: немцы поняли, что тем пули не страшны. Но зато тральщикам приходится туго. Не видно больше сверкающих стекол. Темные провалы вместо них. Но тральщики неуклонно идут вперед! И пулеметчики стоят на своих местах, и от них к доту тянутся словно красные четки. След их теряется около амбразуры.

Катера неумолимо, как лавина, несутся вперед. Еще мгновение — и дот будет буквально в нескольких десятках метров. Тогда ему не сдобровать!..

— Огонь! — кричит Волков.

Башня немного поворачивается, ствол пушки дергается вверх, замирает, но выстрела нет.

— Огонь! — ревет Волков. Его скуластое лицо багровеет, кулаки сжаты. Подвернись ему сейчас промедливший комендор — влепит пощечину.

В ответ из башни что-то говорят. Волков безобразно ругается, надвигает на глаза маленький загнутый козырек фуражки и становится рядом с рулевым с таким видом, словно он не в бою, а в обыкновенном походе «за грибами», как называли моряки все выходы, предназначенные лишь для того, чтобы не стоять на базе.

Селиванов теряет терпение, зло смотрит на Волкова и кричит в башню:

— Огонь!

— Выше нормы! — глухо доносится в ответ.

Теперь ругается Селиванов, и есть отчего: очень близко катер подошел к берегу, и угол возвышения пушки мал для стрельбы по доту. А дот чешет, чешет... Даже отсюда видны дыры в бортах и рубках тральщиков. Одни

из пулеметчиков кулем повис на ремнях, соединяющих его с пулеметом, стволы которого сейчас бессмысленно задраны в небо.

Над рекой взвиваются красные ракеты, лопаются в вышине и падают маленькими красными звездочками. Много ракет взвивается и лопается над рекой. Это немцы указывают цель своим скрытым батареям. И вскоре в воду упала первая мина. За ней вторая, третья. Белые столбы встали между бронекатерами, сгрудившимися у бона. Завизжали осколки, проносясь над катерами, заскрежетали, впиваясь в броню, раздирая борта.

Селиванов схватил ракетницу, чтобы выпустить белую ракету — сигнал тральщикам идти к бону, — оглянулся и опустил ее. Нет смысла подавать сигнал: бронекатера, как пробка, закупорили реку, и тральщикам не подойти к бону.

Оставаясь внешне спокойным, Селиванов думал, искал выход. Посылка тральщика на бон отпала сама собой. Ясно и другое: все дело сгубил походный ордер. Нельзя было бронекатера посылать вперед. Находясь сзади тральщиков, они бы прикрыли их огнем, а не оставили, как получилось сейчас, на растерзание вражеским пулеметчикам. Отойти назад и перестроиться? Заманчиво, но... А вдруг у начальства свои планы, требующие именно такого построения и даже жертв? На войне всякое бывает. Осталось одно — переговорить с Норкиным, и Селиванов, включив радиостанцию, закричал в микрофон:

— «Березина»! «Березина»! Я — «Коршун»! Я — «Коршун»!

В наушниках трещало, пищало, свистело: Невидимые артиллеристы выкрикивали данные прицела и целика, где-то перекликались летчики:

— Васек! Васек! Смотри вверх!

— Сашка, прикрой хвост! Хвост прикрой!

— Ага, попало! — торжествовал другой, добавляя дальше выражения, понятные всем, но не вписанные ни в один из словарей.

Но вот все это заглушил голос Норкина:

— «Березина» слушает! «Березина» слушает!

— Лев, камбуз, снег... — проговорил Леня, скользя пальцем по таблице условных сигналов.

— Ошалел, дьявол?! — рывкнул Норкин. — Говори открытым!

— Отойду, перестроюсь?

— Нет! — отрезал Норкин и замолчал.

Снова слышны перекличка летчиков, команды артиллеристов.

А фашистские снаряды и мины молотят по воде. Появились первые раненые. На душе Селиванова тоскливо. Ох, как неприятно болтаться под огнем противника и не иметь возможности дать ему сдачи!..

Норкин раньше, чем Селиванов, понял, что допустил ошибку, согласившись с ордером, предложенным Семеновым. С командного пункта, где он находился с Козловым, были прекрасно видны каждый маневр катеров, красные кляксы ракет на небе, разрывы снарядов и мин на реке.

— Что делаем? — спросил Козлов, когда Норкин кончил разговаривать с Селивановым. — Выбросим десант перед боном?

— Минные поля там, — ответил Норкин и тут же накричал на телефонистов: — Когда же вы мне вызовете Семенова? Еще час ждать прикажете?

Хотя подобного приказа раньше и не поступало, хотя выговор и не был заслуженным, телефонисты не обиделись: они лучше других знали обстановку и понимали состояние комдива.

— Семенов на проводе, — скоро доложил один из них.

Норкин выхватил у него трубку и сказал, пренебрегая всякими кодами:

— Семенов? Я меняю ордер...

— Не смей! Знаешь, что тебе за это будет? Да я...

— Почему нельзя? Катера превратились в мишени!

— Я тебе по-русски говорю! При-ка-зы-ваю! — Семенов говорил еще что-то, но Михаил бросил трубку и снова склонился к стереотрубе.

Катера пока еще все были на ходу, но разрывы сжимали кольцо. С минуты на минуту можно ожидать прямого попадания. Норкин повернулся к Козлову и спросил:

— На оставшихся катерах твои все в кубриках?

— Все, а что?

— Дежурный! Вызвать дивизион! — и уже через несколько секунд: — Артеллерист? Огонь всем дивизионом по тем батареям!.. Не видишь батарей?.. А ты по площади крой!

Рывкнули пушки, и, гудя, первые снаряды понеслись в район Збуричей. Залпы следовали один за другим, и

вскоре вокруг катеров всплесков стало меньше. Только несколько неуловимых батарей продолжали засыпать их минами. И тогда Норкин решил. Он снова вызвал дивизион и командовал:

— По квадратам 03-25 и 17-34 огонь из «катюш»!

Шипя и посвистывая, оставляя за собой красный шлейф, мины понеслись к окопам фашистов. Немного погодя донесся приглушенный расстоянием взрыв, похожий на раскат грома. Огонь противника ослабел еще больше.

— Мишка, не зря? — осторожно спросил Козлов.

— Что зря? Огонь по ним открыл? На этот счет у меня приказа нет, и я не позволю безнаказанно расстреливать мои катера! Огнем прикрываться надо, а не бумажками!

— Почему не отведешь, не перестроишь?

— Семенов приказом запретил, — ответил Норкин и насунился. Почему Семенов категорически запрещает перестроение? Что это? Глупое упрямство или хитрый замысел высшего командования? Может быть, здесь место ложного удара? Может быть, гвардейцы должны привлечь к себе внимание? Стянуть сюда силы противника, чтобы в другом месте нашим войскам легче было прорвать фронт?

Много, очень много вопросов встает перед командиром в бою, и на все он должен дать правильный ответ.

Особенно волновали Михаила тральщики. И не только потому, что они были менее защищены, чем бронекатера. Тральщики и их команды составляли часть самого Норкина, на них ушли Гридин, Никишин, Мараговский и другие товарищи, с которыми подружился еще в Сталинграде.

Действительно, тральщикам доставалось больше, чем бронекатерам. Едва они вошли в зону огня, как дотхлестнул по ним длинной очередью и пули зацокали по бортам, по палубам, зазвенели стекла и, охнув, повалился на штурвал рулевой Абрамов. Его кровь залила лоцманскую карту Березины.

Никишин метнулся к рулевому, осторожно обнял его и спросил:

— Сам спустишься в кубрик?

Гридин наблюдал за Никишиным и с завистью думал, что он сейчас не смог бы так спокойно и ласково разговаривать с раненым.

Абрамов коснулся рукой своей груди, стал медленно

сползать на палубу. Никишин, придерживая рукой штурвал, помог ему опуститься и взглянул на Гридина. Тот понял его, достал из кармана бинт, склонился над Абрамовым, на губах которого пузырилась кровавая пена. Нагнулся вовремя: мина, разорвавшаяся рядом с катером, начисто снесла тот угол рубки, где еще недавно он стоял. В рубке сразу стало светлее, запахло сгоревшей взрывчаткой.

Когда перевязка была закончена, Гридин вышел на палубу и остановился перед рубкой. Это не была пустая бравада. Гридин растерялся. Он впервые участвовал в бою как офицер. Правда, и сегодня его роль сводилась только к наблюдению, но сам он требовал от себя большего. Часто раньше, мечтая о подобном боевом крещении, он мысленно принимал решения, отдавал команды. Ничего подобного сейчас не было. Больше того, Гридин не понимал, почему тральщики остались одни, без прикрытия, перед разъяренным врагом, почему бронекатера сбились в кучу около бона и не пускают их вперед. Не знал, не мог предугадать он и дальнейшего развития событий. Все было непонятно и поэтому немного жутко.

А пули и осколки звенели о листы палубного настила, прислоненные к бортам. Гридин видел, как вдруг подгнулись ноги у пулеметчика Степанова и он, закинув голову, повис на ремнях. Гридин выскочил на надстройку, склонился над Степановым. Между глаз у него чуть кровоточила маленькая ранка. Гридин выпрямился, и только взялся за ручки пулемета, как пуля сорвала с него фуражку и вслед за этим острая боль пронзила левую руку, что-то ударило между лопаток.

— Товарищ старший лейтенант! — услышал Гридин голос Никишина и спрыгнул в рубку.

Никишин, бледный и осунувшийся за несколько минут, стоял у штурвала, навалившись плечом на стенку рубки. Увидев Гридина, он провел языком по губам и тихо, но по-прежнему спокойно сказал:

— Примите командование. У меня нога перебита.

Так Гридин стал командиром тральщика.

Никишин опустил на палубу рядом с Абрамовым и закрыл глаза. Гридин старался не смотреть в их сторону. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не налететь на бронекатера и не подставить тральщик под свинцовую струю, бьющую из дота. Он так увлекся, что не заметил, как дивизион открыл огонь по батареям про-

тивника, не заметил залпов «катюш». Его только удивило внезапно наступившее сравнительное затишье. В это время и поступил доклад из машинного отделения:

— Товарищ командир! Пришлите замену! У нас все в лежку!

Гридин растерянно смотрел на переговорную трубу, словно она могла подсказать, кого можно послать туда. Но труба молчала. Значит, он один из команды катера еще держится на ногах... Никишин открыл глаза и спросил:

— Что им надо, старлейт?

— Помощи просят. Все лежат.

Никишин снова закрыл глаза, полежал немного неподвижно, потом скрипнув зубами, перевернулся на живот и медленно пополз по палубе. Сзади, цепляясь за леерные стойки, волочилась его перебитая нога. Гридин ничего не сказал, ни о чем не спросил. Все было ясно без слов. Катер остался в строю.

— Сколько сейчас времени, Борис Евграфович? — спросил Норкин.

— Девятнадцать.

— Почти час дерутся, — в раздумье сказал Норкин и продолжал, словно думая вслух: — А что, если Семенов только упрямится? Ведь если создавать видимость прорыва, то нужно ломиться как можно большими силами?

— Факт... У меня там лучшая рота...

— А у меня кто? Не люди? — вспыхнул Норкин и решительно приказал телефонисту: — Вызывай Семенова!

Семенов ответил сразу, но слушать Норкина не стал. Голос его прерывался от злости или чего-то другого, а на Норкина обрушился поток ругательств и упреков за то, что катера целый час толкутся у бона и не могут прорвать его. Наконец, в голосе Семенова зазвучали слезливые, молящие нотки, и тогда Норкин окончательно понял: Семенов просчитался, у него нет никакого особого плана, никто не нуждается в демонстрации, армии нужен настоящий прорыв фронта. От злости спазма сжала горло, но вместе со злостью пришло и спокойствие, исчезла нервозность, теперь ему все стало ясно и понятно.

Не дослушав словоизлияний Семенова, он положил трубку телефона и другим голосом — спокойным и властным — распорядился:

— Всему дивизиону спиматься со швартовых! — и уже в микрофон: — Селиванов! Селиванов! Отходи, перестраивайся! Иду к тебе!

Селиванов хлопнул Волкова по плечу, подмигнул и сказал, сверкнув в улыбке зубами:

— Отходим! Вот только сейчас настоящая драка и начнется!

Дивизион быстро снялся со швартовых и, гремя пушками, полным ходом пошел на выручку своего отряда. Снаряды ложились неточно, однако это не волновало Норкина: ему нужно было сдерживать батареи противника, засыпать их снарядами, что он и делал.

Катера быстро обליжались. Норкин вышел из рубки и всматривался в них. На бронекатерах, кажется, все в порядке. Но зато на тральщиках... Ни одного целого стекла. Борта в темных пятнах пробоин. По воде волочатся перебитые фалы. На ремнях висит труп пулеметчика...

— Подойти к берегу! — кричит Норкин катерам Селиванова, и они послушно поворачивают под защиту деревьев.

Сейчас бы нужно осмотреть повреждения, отправить в госпиталь раненых, поговорить с матросами, но время не ждет, оно торопит.

— Селиванов! Как у тебя? — кричит Норкин.

— К бою готов!

— Мараговский?

— К бою готов! — отвечает Мараговский, и из рубки, которая каким-то чудом еще держится на своем месте, высовывается его голова в чалме из бинтов.

— Никишин?

— На катере команды нет, — отвечает Гриднн.

Что-то дрогнуло в груди Норкина. Нет команды... Нет Саши Никишина...

К чертям собачьим жалость, которая выжимает слезы и притупляет ненависть! На фронте жалеть товарища — значит бить врага, бить так, чтобы даже перья не летели!

— Всех раненых на катер Никишина, — сказал Норкин, поперхнулся, помолчал и продолжал: — Я буду на тральщике Мараговского. Селиванов, прикрой!

Снова взвыли моторы, и катера понеслись вслед заходящему солнцу. Опять дот выплюнул свинцовую струю, опять взвились красные ракеты, опять заговорили невидимые батареи, но словно подавились после первых же

залпов: отряд Селиванова враз ударил по доту, а «катушки» засыпали минами, залили огнем тылы противника.

Тральщик Мараговского у бона. Сквозь воду просвечивают чуть зеленватые, похожие на тарелки, противотанковые мины. Толстые стальные тросы исчезают в темной воде. Пули фашистов дзинькают, ударяясь о палубу. Шипят осколки, упавшие в воду.

— Кто будет взрывать бон? — спрашивает Норкин.

— Копылов, — так же спокойно отвечает Мараговский.

А Копылов уже стоит на носу катера. Он смотрит на Норкина, ждет команды. Норкин кивает. Смуглое тело почти без всплеска исчезает в воде. Через несколько секунд голова Копылова показывается у бревен. Он плывет осторожно, чуть шевеля руками. Высматривает что-то... А воду вокруг буряют пули. Звонко шлепаются осколки.

Норкин и Мараговский с палубы катера следят за Копыловым. Вот он ухватился за колючую проволоку, оглядывается. Мараговский протягивает ему отпорный крюк. На его конце — ножницы. Копылов берет их и режет проволоку. Норкину кажется, что он слышит характерный хруст. Норкин забыл об опасности, а Мараговский, наверное, и не думал о ней: они во весь рост стоят на палубе катера. Их видят со всех катеров, и люди успокаиваются, выстрелы пушек становятся реже, но точнее. Бронекатера бьют шрапнелью: видимо, к берегу спешат фашистские резервы. Тральщики хлещут по кромке обрыва длинными очередями, вспарывают землю. Никто живой теперь не сможет приподняться над обрывом, помешать Копылову.

Проволока разрезана в нескольких местах. Копылов подплывает к противотанковым минам. Ему очень трудно: течение относит его от бона, ржавые колючки грозят впиться в тело, но все его внимание сосредоточено на минах. Он уже возится около одной из них, временами с головой погружаясь в воду.

И тут Норкин обнаружил еще одну кажущуюся мелочь, о которой раньше никто не подумал. А куда убирать снятые мины? Втаскивать на тральщик? Нельзя: могут попасть случайные пуля или осколок. Опускать на дно? Нечего сказать, хороший подарочек для речников! Долго еще и после войны вспоминать будут. Остается

одно: пусть Копылов буксирует их к отмели и там складывает. Так и так отмель саперы расчищать будут.

Первая мина уже снята. Прижимая ее к животу, Копылов смотрит на комдива, ждет распоряжений. И тут Норкина осеняет, лицо его светлеет, он наклоняется и кричит, стараясь заглушить звуки выстрелов и гудение мотора:

— К тросам! Для усиления!

Копылов понял: мина будет привязана к тросу и взорвется, взорвавшись от подрывного патрона, разнесет бон, который предназначена была охранять.

Оглушительный взрыв резанул по ушам, воздушная волна ударила в спину и чуть не сбросила Норкина за борт. В воздух полетели комки земли, камни, обломки бревен. Потирая ушибленное колено, Норкин облегченно вздохнул: какой-то снаряд все же ворвался в дот!

Плечо у Копылова кровотоцит. Кровь тонкой струйкой течет и по его белым, а сейчас потемневшим от воды волосам.

— Копылов, на катер! — кричит Норкин. — Мараговский — замену!

Мараговский в усмешке кривит губы: «Какой матрос уйдет на катер, не доведя дело до конца? Случится такое — не матрос он. А у нас на катере нет таких». Действительно, Копылов делает вид, будто не слышит комдива. Он снимает последнюю мину.

Бронекатера стреляют беглым. Норкин надевает шлемофон и спрашивает:

— Селиванов! В чем дело?

— К реке стягиваются! Беру под контроль все подходы!

— Милок, милочка! Уйди за облака! — врывается в их разговор голос летчика.

— Добро! — отвечает Норкин.

Может быть, немцы и вырвались бы, просочились к реке, но вдали раздалось слабенькое «ура!». Армейские командиры оказались умными: выждали и бросили в бой свои поредевшие батальоны в самый нужный момент. Противник растерялся, замешкался и опять забился в свои обжитые окопы.

Копылов кончил работу. Вода около бона дымится, пузырится от горящих бикфордовых шнуров. Копылов подплывает к катеру, хватается за леерные стойки, и сразу несколько человек втаскивают его на палубу.

Норкин передвигает ручки машинного телеграфа, и, подняв со дна ил, катер уходит от бона кормой вперед.

— Стоп!

Минуты ожидания.

Бревно подскакивает, из-под него вырывается пламя. Упругая волна бьет по корпусу катера. Знакомый звонкий удар.

Течение сносит бревно. В боне появляется узкий проход.

— Полный вперед! — кричит Норкин.

Отряд Селиванова устремляется к бону. Приподняв нос, бронекатера словно летят, чуть касаясь воды. Скоро они скрываются за поворотом реки.

Но другие отряды остаются на месте, обстреливают позиции врага. Норкин держит катера здесь, чтобы раньше времени не спугнуть немцев. Пусть тешат себя надеждой, что бон еще цел.

— «Березина!» «Березина!» Я — «Коршун!» — кричит в эфир Селиванов.

— «Березина» слушает! — отвечает Норкин.

— «Туман!» «Туман!»

Молодец Ленчик! Сейчас так и надо — кодом, чтобы противник не знал, что у него в тылу по дорогам уже растекаются злые, беспощадные десантники. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом.

На уцелевшем фале появятся два флага — сигнал бронекатерам, еще стоящим у бона. На языке моряков эти флаги значат: «Погоня!» Какое хорошее слово! Два года ждали его, и вот оно прозвучало, радостное, крылатое!

Рев моторов нарастает с каждой минутой: фронт прорван, и гвардейцы пошли в наступление.

### 3

Капитан первого ранга Семенов, узнав о том, что гвардейцы прорвали фронт, облегченно вздохнул, расправил плечи и сказал сильным от волнения голосом:

— Распатронили все же, каналы! Век фашисты теперь будут помнить Семенова!.. Шурка!

— Слушаю вас, — ответил адъютант, вылезая из темного угла землянки, где он отсиживался, пока его начальник метал громы и молнии.

— Готовь полуглиссер, пойду к десанникам!

— Опасно, товарищ капитан первого ранга. Немцев пока только обошли, — заметил кто-то из штабных офицеров.

— Ерунда! Мы и не в таких переделках бывали! А противник сейчас деморализован, значит, куй железо, пока оно горячо.

Однако полуглиссер как стоял у берега, так и остался стоять. Да это и понятно: сейчас другое волновало командира Северной группы. А что, если командующий флотилией сличит боевой приказ с записями в журналах боевых действий? Расхождение во времени обнаружится катастрофическое. Такое катастрофическое, что, пожалуй, вместо ордена кое-что другое получишь. Надо выкручиваться...

Если Семенова волновал этот вопрос, то у Норкина были другие заботы. Они обрушились на него, едва десантники закрепились, а тральщики подошли к берегу.

Как быть с ранеными? Где-то сзади болтается один катеришко с врачами, сестрами и санитарками. На нем многих не увезешь. Что же в это время делать с остальными?

— Михаил Федорович, а Михаил Федорович, — говорит Гридин, дергая Норкина за рукав; его левая рука лежит на полотенце, перекинутом через шею.

— Ранен, Леша? Не очень сильно?

— Не обо мне речь, — морщится Гридин. — Многих ребят зацепило, а у десантников дело только начинается. На чем транспортировать раненых будем?

Молодец, Леша! Настоящий комиссар!

— Я думаю, что пару тральщиков мы выделить сможем, — продолжает Гридин и как-то по-детски шмыгает носом.

— Действуй от моего имени. А я — на полуглиссере к тральщику Никишина сбегая, — отвечает Норкин, прыгая в полуглиссер, уже успевший прорваться вслед за боевыми катерами.

— Еще вопрос, товарищ комдив! — окликает его Гридин, наклоняется к уху Норкина и шепчет: — А как быть с Копыловым и другими? Я думаю выпустить специальные боевые листки и подготовить материал для флотильской газеты. Одобряете?

— Действуй, Леша!

К тральщику Никишина Норкин подошел хмурый, молчаливый. Небрежно козырнул вытянувшемуся перед

ним санитару и направился к группе врачей, чьи белые халаты были видны издали. Поздоровался и спросил:

— Как?

— А вы знаете, лично я считаю, что вы дешево отделались, — сказал подполковник медицинской службы.

С ним Норкин несколько раз встречался в штабах флотилии и бригады, они при встречах вежливо приветствовали друг друга, но официально знакомы не были. Михаил знал лишь, что фамилия у него то ли Смоковницкий, то ли Смородинский. Ему не нравилось холеное, какое-то барское лицо врача. Не нравилась и его манера говорить: чуть шепелявя, процеживая слова сквозь зубы и старательно закругляя фразы.

— После такого продолжительного и яростного боя — и только один убитый! Прямо скажу — изумительно! — развивал врач свою мысль.

Захотелось оборвать этого благодушного философа, но сдержался. «Только один убитый». Разве мало? Ведь еще одного человека не стало, а все то, что он мог и должен был сделать при жизни, — легло на плечи других. А что значил один человек для его семьи? У Степанова шестеро детей. Им этот один человек был дороже всех остальных. Его не заменят ни медаль, ни пенсия. Да и не в этом дело: может быть, жил бы сейчас Степанов, если бы не тот дурацкий ордер...

Все это хотелось высказать врачу, но в глубине каждого человека прячется дипломат. Вот и Норкин решил не портить взаимоотношений с врачом: что ни говорите, он может раненых и в лучший госпиталь направить, и присмотреть там за ними, и в часть вернуть в нужный момент.

— Доктор (опять дипломатический ход!), а как состояние раненых?

— И тут, представьте, все обстоит более или менее благополучно. У подавляющего большинства, я бы сказал, временная потеря боеспособности. В основном — пулевые и осколочные ранения в мягкие ткани конечностей и лишь у одного — проникающее в грудную полость. Он, если будут осложнения, в строй не вернется. Проникающие ранения характеризуются...

И слушать бы Норкину пространную лекцию о ранениях или испортить отношения с медицинским богом Северной группы, оборвав его, но в это время на берегу, около подошедших тральщиков, раздался крик:

— Не трожь! Разнесу!

Подполковник медицинской службы замолчал, все посмотрели в ту сторону, откуда раздался крик. Там врассыпную метнулись белые халаты.

— Я на минутку, доктор, — сказал Норкин, воспользовавшись моментом, и побежал.

Около катеров на носилках лежал матрос Кузнецов. Норкин знал, что он с бронекатеров Селиванова, но не любил его за немного фатовской вид: тонкую стрелку черных усов, чуб, свисающий на лоб из-под заломленной на самую макушку бескозырки. Что еще мог он сказать о Кузнецове? Хороший моторист и превеликий бабник.

— Только сунься, сульфидинная гнида, клочка не оставляю! — кричал Кузнецов, потрясая над головой противотанковой гранатой. В голосе — бессильная ярость.

К Кузнецову от катеров бегут матросы.

— В чем дело? — спрашивает Норкин, схватив за халат одного из санитаров.

— Шалый, вот что! Бескозырку ему подавай! — отвечает санитар.

— Кузнецов, дай гранату, — спокойно и чуть ласково говорит Норкин.

Кузнецова словно подменили: глаза потухли, в них появилась усталость.

— Возьмите, — и граната уже в руках Норкина. — Товарищ комдив, прикажите найти бескозырку... Какой же я матрос, если ее здесь брошу? — В голосе Кузнецова мольба и надежда, вера в то, что теперь его поймут.

— Где она? — спрашивает Норкин, невольно проникаясь уважением к этому парню, который в трудный для себя час думает не о своих искалеченных ногах, а требует то, что он заслужил в прошлых боях: бескозырку с гвардейской ленточкой.

— Там, в кубрике... Когда выносили, упала...

Норкин посмотрел на окруживших их матросов, словно отыскивая того, кто может сбежать за ней. На серьезных лицах матросов — одобрение. Никто не шутит, не высмеивает Кузнецова.

— Ее уже ищут, — говорит кто-то.

И Норкин, и врач Смоковницкий-Смородинский, и другие терпеливо ждут. Наконец с катера прыгает матрос.

— Она? — спрашивает он, наклоняясь над Кузнецовым.

Тот рассматривает измятую бескозырку, прижимает ее к груди, благодарно кивает и говорит:

— Теперь несите... Нам хоть к черту на рога, була бы там горилка да ведьмы найкрасше! — усмешка кривит его губы.

Санитары уносят Кузнецова.

— Скорей поправляйся, Кузнецов! Для тебя всегда на катерах место найдется! — кричит Норкин вслед.

Сказано от чистого сердца. За эти несколько минут Норкин понял Кузнецова лучше, чем за все предыдущие месяцы.

— Спасибо, товарищ комдив... Обязательно вернусь! — доносится из темноты дрожащий от волнения голос.

И вдруг подполковник медицинской службы, которого Норкин считал человеком черствым, закричал:

— Анна Павловна! Да где же вы там запропастились?

— Я здесь, Евгений Александрович, — несколько обиженно ответила женщина, стоявшая рядом с подполковником.

— Когда зовут, надо сразу отвечать!

— Да вы мне рта раскрыть не дали!

— Не будем спорить!.. Я вас, Анна Павловна, очень прошу проследить за этим матросом. Уложить его на катер и в первую очередь на операционный стол. Сам им займусь!.. И вообще — гвардейцев ко мне!

— Спасибо, товарищ подполковник, — начал Норкин, но врач перебил его:

— Пустое болтаете!.. А кроме того, меня зовут, как вы уже, наверное, слышали, Евгением Александровичем. В крайнем случае можете, разумеется, называть по фамилии. Знаете ее? Ну, конечно, нет!.. Как это он сказал?.. Ага, вспомнил! Какое вам дело до фамилии главной суль-фи-ди-но-вой гни-ды?

— Он не хотел вас оскорбить...

— Ха! Не хотел! Да нам, врачам, за годы войны таких прозвищ надавали, что и обижаться охота пропала!.. Моя фамилия — Сквинский. Евгений Александрович Сквинский.

Тщетно среди раненых Норкин искал Никишина и Гридина. Их нигде не было, и никто ничего о них определенного сказать не мог, хотя оба они числились в списках людей, которым оказана первая помощь.

Заниматься розысками было некогда, и Норкин пошел на катера.

Евгений Александрович оказался прав: дивизион отделился сравнительно легко. У тральщиков выбиты стекла, борта в пробоинах. Словом, такие мелочи, что катера из-за них не выйдут из строя. Раненых пока тоже только двадцать семь. Цифра сама по себе не страшная, особенно если учесть, что почти все они скоро вернутся обратно. Однако, кем их заменить сейчас? Нет замены. Значит, часть катеров придется оставить здесь; они уже отвоевались. Мелькнула мысль, что можно поживиться за счет Козлова (у него первоклассные специалисты), но Михаил тотчас подумал: «Борису Евграфовичу люди тоже нужны». Интересно, как у него идут дела? Стрельба укатилась на запад, а залпов бронекатеров вообще не слышно. Если судить по этим признакам, то батальон решил свою задачу. Почему же молчит Семенов? Нужны ему катера или нет? Где стоять, к чему готовиться?

Ночь осторожно опустилась на землю. Из маленькой тучки, вынырнувшей неизвестно откуда, нерешительно упало на землю несколько капель. Справа и слева на небо легли красные отблески пожаров. Отдаленный гул артиллерии и редкие взрывы, как тяжелые вздохи, наполняли ночь, глушили все прочие шумы.

Только здесь, где стояли безмолвные и безлюдные тральщики, было непривычно тихо. Очень много пережили люди еще недавно и сейчас молча сидели на траве, попыхивая самокрутками.

— Где комдив? — спросил кто-то из темноты.

— Здесь я! — откликнулся Норкин.

Из ночи появился связист Дятлов — высокий и до того сутулый, что казался горбатым.

— Мы старый командный пункт переносим, так куда прикажете телефон поставить? — спрашивает он.

— Сюда, — отвечает Норкин.

Дятлов нимало не удивился, окинул взглядом полянку, стал на колени, покрутил ручку телефонного аппарата и зачастил знакомой всем скороговоркой:

— Я — «Березина»! Я — «Березина»! «Садовник»! «Садовник»! Я — «Березина»!

С реки донесся шум приглушенных моторов. Прислушались. Сомнений быть не могло: возвращались свои. Действительно, весь дивизион скоро подошел к берегу.

Селиванов подбежал к Норкину и, сдвинув фуражку на затылок, выпалил одним духом:

— Полный порядок! Морская пехота оседлала все дороги и уродует фашистов, как бог черепаху! Нам бы сейчас заправить бензинчиком, дополучить боезапас — и дуй, не стой!.. Ты, Мишка, чего такой дохлый? Опять с Семеновым поцапался?

— Никишин с Гридиным в госпитале... Так и не простился с ними.

— Жаль, конечно, только все это ерунда. Выберешь денек поспокойнее и махнешь в госпиталь.

— Семенов на проводе, — доложил Дятлов.

Капитан первого ранга был ласков, весел и даже игрив. Он поздравил Норкина с первым успехом, пообещал немедленно выслать все требуемое и разрешил отдыхать до утра. Все это, конечно, было приятно слышать. Но после этого разговора Норкин еще больше разволновался. Почему дивизиону отдыхать до утра, а не лететь вперед, повиснув на спине удирающего противника? Норкин в сорок первом году сам испытал, как трудно бывает остановиться, когда сзади слышно урчание множества моторов.

Не понравилась и та легкость, с которой Семенов согласился оставить здесь три тральщика, не имеющих команды. словно рваные калоши бросил. А ведь они еще могут пригодиться: не так много здесь катеров, впереди, возможно, и не такие бои. Если после каждого из них бросать по два или по три катера, то с чем кончать придется?

Вот и сидел Норкин около телефона, прислушиваясь к звукам удаляющегося боя. Ему во что бы то ни стало захотелось сохранить тральщики, как боевые единицы, но где взять людей? И тут вспомнился Сталинград, траление на Волге. Ведь бывали же там такие дни, когда команда тральщика состояла из трех-четырех человек? Трудно было людям, они очень уставали, но траление продолжалось. Что, если и сейчас попробовать такое? Не все же катера и не все время будут прорывать оборону противника. Нужны и посыльные, и санитарные, и другие вспомогательные...

Выход был найден. Теперь оставалось только так поговорить с матросами, чтобы они сами и добровольно взяли на себя дополнительные обязанности.

— Коммунистов и комсомольцев с тральщиков — ко

мне, — сказал Норкин в почеь. Он знал, что те, кому нужно, услышат его.

И они услышали. Берег заполнился матросами. Они плотным темным кольцом сжали Михаила. Норкин вгляделся в ближайших к нему матросов, среди коммунистов и комсомольцев увидел много беспартийных и нахмурился. Он сердился не на матросов, а на самого себя: как мог забыть о них, почему хотел устранить от решения вопросов, волновавших всех?

— Михаил Федорович, ты что хочешь делать? — услышал Норкин над ухом шепот Гридина и обернулся. Да, это Леша. На лбу повязка, рука лежит на косынке.

— Ты как здесь очутился? — спросил Норкин.

— Звал коммунистов — я и пришел.

— Потом поговорим, — многозначительно пообещал Норкин и добавил: — Только не вздумай скрыться. Все катера обшарю, а найду, и тогда пощады не жди!

Гридин и сам понимал, что поступил по-мальчишески. Действительно, как это можно: заместитель командира дивизиона по политчасти — и вдруг прячется от комдива?! Да, взгреть за это надо.

Норкин говорил сжато, скупо. Он обрисовал положение дивизиона и перешел к главному:

— Предлагаю уменьшить штат на катерах-тральщиках, которые будут вспомогательными. Конечно, трудно-вато придется, однако другого выхода не вижу. Сделаем так — у нас почти все катера останутся в строю. Не сделаем, испугаемся трудностей — с чем придем к Бобруйску?.. Я кончил, теперь слово за вами.

Матросы долго молчали. Потом начали перешептываться. Норкин не торопил: трудно иной раз человеку набраться смелости и сказать, что он согласен работать за двоих; но уходить с боевого катера... Как бы трусом не посчитали.

И вдруг толпа заколыхалась, раздвинулась. К Норкину подошел Гридин. С ним было одиннадцать матросов. Стало и вовсе тихо.

— Мы, легкораненые, решили так: незачем нам уходить с родных катеров, мы и здесь вылечимся!.. Очень просим комдива расписать нас по катерам. Жаловаться на трудности не будем и обратным ходом не отрабатываем, — сказал Гридин.

— Вот это да! Качать их! — восторженно крикнул кто-то, и все загудело, забурило, словно в водовороте.

Качать раненых, конечно, не стали.

Скоро все тральщики, выделенные на роль вспомогательных катеров, были укомплектованы командой, а все прочие матросы разошлись, чтобы принять топливо и боеприпасы. Гридин и Норкин остались одни.

— Ну-с, Лешенька, исповедуйся, — начал Норкин, с трудом удерживаясь от того, чтобы не обнять этого смущенного мальчишку, который чувствовал себя крепко виноватым. И в чем виноватым? В том, что с царапиной не удрал в тыл и других удержал около себя? Эх, Леша, Лешенька! Много ты еще не понимаешь! За такие дела не ругать, а награждать надо!.. Но мы тебя немного помытарим: что прекрасно для матроса и даже офицера — уже плохо для заместителя командира дивизиона по политчасти. Ты, Леша, должен был не прятаться, а прямо при всех заявить о своем решении. Так думает Норкин, но спрашивает со всей строгостью, на какую только способен: — Что же ты молчишь? Рассказывай.

— А что рассказывать? Сами знаете...

— Ничего не знаю, кроме того, что ты здесь, а не в госпитале.

— Ну... Решили мы с Никишиным...

— С Никишиным? А где это чадушко прячется? — Норкин заметно повеселел: раз прячется, значит, ранение не опасное для жизни.

Гридин понял, что проговорился, что отступить поздно, и сказал, потупившись:

— У себя на катере. В уголочке за мотором схоронился.

Сказал это и фыркнул: уж очень смешными теперь казались свои поступки. Два взрослых человека, как нашкодившие мальчишки, в темные углы забились!

— Час от часу не легче! — вырвалось у Норкина и он поднялся, пошел к катеру Никишина. Гридин поплелся за ним. Интересно, что надумал комдив?

На катере хозяйничала новая команда. Матросы сметали с палубы осколки стекол, смывали кровавые пятна, сращивали перебитые тросы, забивали пробойны деревянными пробками. Были и добровольные помощники. Среди них оказался Мараговский и еще несколько человек даже с бронекатеров. Увидев Норкина, Мараговский подошел к нему и пояснил:

— На наших катерах подготовительные работы закончены, решили здесь немного помочь.

— Тащите сюда Никишина, помощнички! — сказал Норкин, сбегая по трапу в кубрик. — Маскировку опустить, включить свет.

Зашуршали падающие шторы. Вспыхнула электрическая лампочка. Норкин достал из рундука матрац, расстелил его, покрыл чистой простыней и сел к столу. Гридин и Мараговский переглянулись, почти одновременно подмигнули друг другу, и лица их просветлели.

Никишина уложили на приготовленную комдивом постель и накрыли простыней. Он смущенно теребил ее кромку. Не был плаксой Александр, а вот теперь слезы сами катятся из глаз и никакая сила не удержит их: приятно, чертовски приятно чувствовать заботу товарищей, сознавать, что ты дорог им. Шутка ли — сам комдив постель заправлял!.. А вот ты, Сашка, сплоховал. В ком сомневался, от кого прятался?

— Как ноги, Саша? — спросил Норкин, и в голосе его нет той проклятой жалости, которая унижает бойца, оскорбляет его лучшие чувства.

— Кости целы... Только одна перебита...

— Так целы кости или перебиты?

— Одна нога... Она уже в шинах.

Норкин укоризненно посмотрел на Гридина, Мараговского и других моряков. И те поняли упрек.

— Обижайся или нет, Саша, но я тебя отправлю в госпиталь.

— Товарищ...

— Не перебивай!.. Ты сам прекрасно знаешь, что мы с тобой значим друг для друга. Побратимы по партии... Так могу ли оставить тебя здесь, когда от этого зависит, быть тебе с ногой или без нее?.. Сейчас же отправлю тебя на своем полуглиссере, но слово даю, что до командующего дойду, но добьюсь, чтобы тебя далеко не завозили!.. Мараговский, распорядись мой полуглиссер подогнать к борту и побыстрее!

Никто не возражал Норкину. Никто не упрашивал его оставить Никишина здесь. Матросы чувствовали себя виноватыми и присмирели, делали все быстро и бесшумно.

Вот Никишин уже на полуглиссере. Норкин поправил одеяло, потом наклонился к Александру, поцеловал и шепнул, сжимая его руку:

— Скорей поправляйся, Сашка! Скучно мне будет без тебя...

Затерялся в ночи белый бурунчик за кормой полуглиссера. На катерах стучат молотки. Изредка доносится грозный оклик какого-нибудь из вахтенных: «Кто идет?»

И вдруг на правом берегу Березины, где-то западнее Збуричей, вспыхнула ожесточенная перестрелка. Она ширилась, с каждой минутой становилась все яростнее.

— Товарищ комдив! Вас майор Козлов просит к рации! — докладывает рассыльный, и Норкин бежит на капе, торопливо надевает наушники, старается поймать среди воя и визга нужный ему голос.

Наконец-то!

— Мишка! Мишка! — взывает Козлов, забыв о таблицах условных сигналов. — Подбрось огонька! Подбрось огонька в район развилки дорог, что справа от меня! По площади подбрось!

Снова загремели пушки, обжигая пламенем кусты ивняка, склонившиеся к воде. Стрельба на правом берегу то затихала, то вспыхивала с новой силой: батальон Козлова вел с кем-то бой. На катерах начали волноваться. Все чаще и чаще стали раздаваться голоса, предлагающие «подсобить хлопцам», так как «не к лицу стрелять из-за угла из кривого ружья, когда рядом дружку, может, каждая пара рук нужна». И Норкин, посоветовавшись с командирами отрядов, решил сосредоточить огонь, как и просил Козлов, на развилке дорог и одновременно в тот же район высадить десант. И тут первая загвоздка: где взять десантников? Откровенно говоря, каждый матрос — десантник, но допустимо ли оголять катера? Ведь, может быть, они, катера, и будут главной ударной силой в последующих боях? Оставалось одно — просить пехоту, которая все еще насадала на фашистов с фронта.

В другое время решение всех этих вопросов, возможно, потребовало бы многих часов, необходимых на согласование действий и, главное, на «усушку и утруску» разногласий начальников различных родов войск, но сегодня, когда всем не терпелось поскорее и по-настоящему прорвать фронт, все делалось, казалось, «по щучьему велению»: не успели дать наказ делегатам к пехотинцам, как те сами появились около катеров.

— К вам, товарищ комдив, — доложил дежурный по дивизиону, подведя к Норкину молоденького армейского старшего лейтенанта.

— Слушаю вас, — сказал Норкин, ответив на приветствие.

— Вам пакет.

Норкин торопливо прочел письмо, благодарно взглянул на старшего лейтенанта и приказал:

— Селиванов! Принимай батальон пехоты и высаживай его для помощи Козлову!

Козлов действительно нуждался в помощи. Сначала, сразу после высадки десанта, все шло — лучше не надо: морская пехота оседлала дороги, встретила бегущего врага ливнем пуль, засыпала минами и за несколько часов успешно перемолола не одну его роту. Но вот опустилась ночь. Между деревьям темнота стала непроглядной. Связь между ротами и взводами, действовавшими самостоятельно, сразу ухудшилась. Дрались на ощупь, высматривая противника при неровном дрожащем свете ракет. И тут на правый фланг батальона нечаянно напоролись войска фашистов, удиравшие с юга. Их встретили плотным огнем, но инерция толпы была так велика, что, получив удар в лоб, она не откатилась назад, а обтекла взвод, забурилась вокруг него, как штормовое море около одинокого островка. Вот тогда Козлов и попросил огня на перекресток дорог.

Матросы дрались упорно. Козлов стягивал свой батальон, бросал его на выручку окруженному взводу, но неравенство сил было слишком велико. Взвод, казалось, погибал.

Козлов еще раз позвонил Норкину, попросил усилить огонь.

Снаряды бронекатеров и мины пехотинцев валили фашистов десятками, «катюши» заливали землю огнем, а волны бегущих немцев все накатывались и накатывались на взвод, ежеминутно грозя захлестнуть его.

Но вот связист, сидевший у радиостанции, крикнул: — Товарищ майор! Вас первый взвод вызывает!

Козлов схватил наушники и закричал в микрофон:

— Рудаков! Держись! Обязательно держись!

— Он застрелился, товарищ майор. Командую взводом я, старший матрос Березкин.

— Держись, Березкин, держись! Слышишь?

— Есть, держаться, — ответил Березкин, начал говорить еще что-то, но тут радиостанция замолчала.

— Что там у тебя заело? — набросился Козлов на своего радиста.

— Не у меня, а у него, — тихо ответил тот.

Понятно. «У него» — в первом взводе — сломана радиостанция или убит радист. Или сам Березкин... Какая же сволочь этот Рудаков! Ему людей доверили, а он взял и застрелился!

Но ни ругаться, ни жалеть о случившемся времени не было: фашисты по-прежнему наседали на взвод.

— Давай опять Норкина! — потребовал Козлов.

В это время с берега и донеслось то затихающее, то вспыхивающее с новой силой «ура». Это пошел в атаку батальон пехоты, высаженный Селивановым.

Ночь скрывала атакующих. Фашисты не знали, сколько их, и дрогнули, побежали, натываясь на штыки, матросские ножи, попадая под безжалостные пулеметные и автоматные очереди.

Когда небо на востоке заалело, побоище прекратилось. На дорогах догорали исковерканные машины. Среди зеленой травы грязными пятнами виднелись трупы фашистов. Стонали, просили помощи раненые.

По недавнему полю боя шли Козлов и Норкин. Трупы, трупы, трупы... Они, как магнит железо, притягивали взгляды. Отворачивался от них матрос, а глаза его сами косили в сторону искалеченного человеческого тела, ощупывали труп, отыскивали ту рану, через которую вошла смерть.

Вот и первый взвод. В тельняшках, залитых кровью, лежат матросы.

Руки живых сами потянулись к фуражкам и бескозыркам.

— Товарищ майор! Первый взвод в количестве семи человек построен по вашему приказанию! — рапортует старший матрос и отступает в сторону. Сзади него — короткая шеренга матросов. Короткая даже для отделения. Это весь взвод. Остальные лежат вокруг. У живых — осунувшиеся лица, злые глаза. Гимнастерки и брюки висят клочьями. Руки в крови, в грязи. Но автоматы блестят, как новенькие.

— Где младший лейтенант Рудаков? — спрашивает Козлов.

Старший матрос поворачивает голову в сторону куста. Там, под кустом, сжимая пистолет окостеневшей рукой, лежит бывший командир взвода. На виске у него запеклась тоненькая струйка крови.

— Значит, сам? — спрашивает Козлов, носком сапога поворачивая голову трупа.

— Навалились на него несколько фашистов, отрезали от нас... Думал — не выручим, — поясняет старший матрос.

Козлов и другие молча смотрят на того, кто еще вчера носил почетное звание офицера. Норкин не испытывает жалости к младшему лейтенанту. Это удивляет и беспокоит: неужели так огрубел? Он смотрит на товарищей и ни у одного из них не замечает ни жалости, ни сострадания.

— Пустышка! — вдруг слышит он шепот за своей спиной и оглядывается. Это сказал Копылов. В его глазах только презрение.

## *Глава шестая*

### **«КАРУСЕЛЬ»**

#### **1**

Карпенко открыл дверцу кабины и вылез из машины. Осмотрелся. Здесь, в штабе Северной группы, кажется, ничего не изменилось: так же стоят у берега полуглиссеры, сонный кок копошится около камбуза, у входа в землянку Шурка чистит китель капитана первого ранга с таким видом, словно это важнейшая его задача. Стрельбы почти не слышно. Она ушла далеко на запад.

Единственная новинка — в тени деревьев виднеются несколько палаток с красными крестами. Карпенко из любопытства подошел к ним: пустые или уже с квартирантами? У одной из них он столкнулся с санитарями, которые несли Никишина.

— Мичман! Что случилось? — окликнул его Карпенко. Санитары остановились, опустили носилки.

— Как видите, — неохотно, чуть прерывающимся от боли голосом ответил Александр.

— Катера целы?

— Пока целы... А вы сейчас в дивизион или опять с поручением куда-то?

Карпенко понял, что Никишин не хочет разговаривать, и поспешил проститься с ним. Однако уходить, не узнав, что принес дивизиону вчерашний день, он тоже не желал. Его не интересовала судьба дивизиона (дивизионов много, а он, Карпенко, один), ему нужно было знать, кто сегодня Норкин: победитель, которого, как известно, не

судят, или побежденный, неудачник, «человек, не справившийся с обязанностями»? Исходя из этого он, Карпенко, и определит, какую роль ему играть.

И он добился своего. Если Никишин не стал или не смог с ним разговаривать, то другие были гораздо словоохотливее, и, направляясь с докладом к Семенову, Карпенко уже лучше самих участников боя знал все его фазы: те видели сражение, были его участниками только на каком-то одном участке, они находились в то время во власти боевого азарта, а он оставался лишь внимательным слушателем и впитывал в себя все сведения. И поэтому, когда Семенов, самодовольно улыбаясь, спросил: «Небось уже слышал, как мы тут им хвосты крутили?», — Карпенко тоже улыбнулся, будто бы в порыве благодарности пожал его руку и ответил:

— Мы тоже времени даром не теряли.

— И как? — Семенов насторожился, впился глазами в лицо Карпенко. — Как Голованов реагировал?

— Как вам сказать, — словно в раздумье, замаялся Карпенко, старавшийся выиграть время, чтобы еще раз взвесить всё и не ошибиться. — Встретили меня неприветливо, я бы сказал, недоверчиво.

Карпенко выдержал паузу. Семенов нетерпеливо посапывал. Адъютант, будто бы занятый приборкой на заваленном бумагами столе, тоже старался не пропустить ни одного слова разговора, который мог повлиять и на его личную судьбу.

— Но я выложил им все, как оно есть, и расстались мы почти друзьями, — продолжал Карпенко, решивший, что пока ничего еще не ясно, что успешные действия на Березине могут сильно укрепить позиции как Норкина, так и Семенова, а следовательно, принять открыто чью-либо сторону пока опрометчиво.

— И что?

Нет, Семенов сегодня положительно не способен разговаривать по-человечески! Только и слышишь: «И как? И что?» И Карпенко, заверив его в искренней дружбе, поспешил удрать, сославшись на необходимость осмотра катеров. Семенов его не удерживал. Ему показались подозрительными бегающие глазки Карпенко и его уклончивые ответы. Однако на прощанье он сказал:

— А ты, чуть что, информируй меня. Как ни говори, а мы с тобой крепко связаны... Думаю тебя перетащить к себе флагманским механиком. Как смотришь на это?

Еще спрашивает! Флагманский механик — хозяин всех дивизионных механиков, не подвластен никаким Норкинским, никогда не суется под выстрелы; флагманский механик — повышенный оклад, хорошая квартира в тыловом городке и возможность вытребовать к себе жену. Трудно сейчас ехать поездом? Ерунда, а не препятствие! Всегда можно найти двух матросов, которые почтут за радость прокатиться в любой уголок страны. Особенно, если у них где-то там же родные или знакомые.

Все это мгновенно промелькнуло в голове Карпенко, и он, теперь уже искренне поблагодарив Семенова, вышел из землянки.

— А это видел? — сказал Семенов и ткнул по направлению закрывшейся двери костлявым кукишем. — Тоже мне флагманский механик нашелся!

Карпенко, выйдя от Семенова, решил немедленно отправиться в дивизион. Осталось только найти оказию. Обращаться к Семенову не хотелось: чем меньше народ знает об их дружбе, тем лучше. И случай поспешил к нему на выручку.

Едва он вышел на берег, как увидел тральщик, деловито буксирующий вверх маленькую деревянную баржонку. Шел он не очень быстро, борясь с течением, но Карпенко это не волновало: ему нужно быть в части, а разве этот тральщик не частица дивизиона? Самая настоящая, да еще выполняющая задание. Ступить бы только на палубу катера, а там он пусть хоть месяц догоняет дивизион!

Тральщик сбавил ход и тихонько подошел к берегу.

Карпенко решил, что с тральщика заметили своего механика и подошли исключительно для того, чтобы взять его. Поэтому он неторопливо подошел к катеру, перевалился через леера и скомандовал:

— Отваливай!

— Минуточку, товарищ инженер, — остановил его Гридин, высунувшийся из рубки.

— Прошу прощения, я не знал... Просто не ожидал, что комиссар дивизиона здесь за командира катера.

— Разве я не офицер? — не без гордости ответил Гридин и добавил: — Очень мало нас, офицеров, и каждый на счету.

В этих простых словах Карпенко уловил намек, обиженно поджал губы и, словно спеша взглянуть на мотористов, подошел к машинной надстройке.

— Вас, может быть, интересует то, что мы делали эти сутки? — не отставал Гридин. — Спуститесь в кубрик, там все материалы.

— Мне уже все известно.

— Как хотите, — пожал плечами Гридин и крикнул матросам, которые копошились на корме: — Скоро вы там?

— Сейчас! Айн момент! Еще чуток! — разноголосо, но дружно ответили ему.

Карпенко решил задержаться на палубе. И он постарался принять вид скучающего человека, которого ничего не интересует, который сидит здесь просто так, от нечего делать. Но с матросов глаз не спускал. Что они там затевают, зачем собираются сходить на берег?

Чтобы лучше рассмотреть все происходящее, Карпенко поднялся, подошел к борту катера. Брови его удивленно полезли вверх, и было отчего: матросы несли жареных гусей, рыбу и, что еще удивительнее, огромные букеты полевых цветов.

С неменьшим интересом наблюдал за непонятными действиями матросов и Семенов. Он вышел из землянки, чтобы посмотреть, не зайдет ли Карпенко к кому-нибудь из работников штаба, но сейчас забыл о своем намерении.

А матросы с катера уже сошли на берег. Семенов не выдержал и крикнул с обрыва:

— Куда вас черт несет?

— Не черт несет, а сами идем в госпиталь, — ответил Гридин, и Карпенко опять заметил, что за эти сутки сильно изменился старший лейтенант, куда и делись его смущение и робость.

Матросы с Гридиным скоро вернулись, звякнул машинный телеграф, мелко задрожала палуба, и катер отошел от берега. Карпенко навалился грудью на стол, задумался. Неужели он что-то упустил, недодумал, в чем-то просчитался?..

А катер настойчиво молотил винтом воду и, казалось, шел даже быстрее, чем ему положено; словно изо всех сил торопился догнать товарищей. Мимо иллюминатора проплыли старая огневая позиция, потом разорванные боны, Збуричи. На берегу, почти у самой воды, фашистские трупы. Медленно махая крыльями, поднялись с них вороны. Темная вода Березины плескалась около трупов, будто хотела унести их, очистить берег от падали.

- В эту ночь на катерах не спали, и рассвет застал всех на ногах. Редакторы «боевых листов» торопливо дописывали последние строчки, матросы, так и не снимавшие нового обмундирования, писали письма или, собравшись кучками, судачили о вещах, не имеющих никакого отношения к войне. Нашлись даже любители рыбалки. Они, устроившись в тени кустов, ловили на кузнечиков и мух юркую уклейку.

А закадычные друзья лейтенант Волков и младший лейтенант Курочкин лежали на полянке отдельно от других и безмолвно смотрели на небо, наливающееся красками.

Волков, как всегда, был в кирзовых сапогах с загнутыми голенищами. Его рабочий китель лоснился от множества масляных пятен. Фуражка чудом держалась на взлохмаченной чубатой голове. Короче говоря, было сразу и любому человеку ясно, что ему нет дела до своего внешнего вида. Курочкин, наоборот, был одет очень тщательно и даже с некоторой претензией на шик. Его разглаженные брюки не топорщились на коленях, а пуговицы кителя блестели как маленькие электрические лампочки.

— И чего ты, Витька, вырядился, как на бал с десятиклассницами? — лениво задирает Волков. — Глянешь на тебя — и тошно станет: чистюля!

Лицо Курочкина, почти не тронутое загаром, порозовело, он вскинул на приятеля задумчивые голубые глаза и тотчас прикрыл их веками. Не стоит связываться с Петром. Не со зла он задирает, а из-за своего беспокойного характера. Любит задирать, это всем известно. А так он добрый, отзывчивый.

Дружба их началась недавно, и свел их неприятный инцидент, о котором они, по обоюдному соглашению, не рассказывали никому. Это произошло вскоре после прибытия дивизиона на Днепр. Волков и Курочкин встретились в библиотеке.

— Мне бы про войну, да такое, чтобы душа выиграла, — громко заявил Волков, бесцеремонно отстраняя от барьера какого-то младшего лейтенанта, просматривавшего книги. Нет, он не хотел оскорбить или обидеть незнакомого офицера; поступил так лишь потому, что считал себя полностью правым: во-первых, он старше по званию, а во-вторых, не стоять же командиру бронекате-

ра в ожидании, пока какой-то писаришка выберет себе книгу.

— Я раньше вас пришел, товарищ лейтенант, — неожиданно запротестовал Курочкин и решительно занял свое прежнее место. Волков растерялся, удивленно взглянул на него. Лицо у младшего лейтенанта было точь-в-точь как у девушки, выросшей в тепле домашней оранжереи: бледное, со слабым румянцем на щеках и невероятно нежное. В довершение всего — большие голубые глаза, стыдливо прячущиеся под длинными ресницами.

Молоденькая библиотекарьша, как показалось Волкову, с усмешкой смотрела на него, одобряя слова неизвестного младшего лейтенанта. И вот тут Волков потерял власть над собой, сделал вторую глупость, поступив, как уличный забияка.

— А вы заплячьте, — иронически сказал он, достал из кармана носовой платок и протянул его. — Держите, чистый.

Но этот тихоня не платок, а самого Волкова взял за плечи и вытолкнул в коридор.

— Ты чего? — только и сказал Волков.

— Стыдно! Ведь вы офицер!

— Иди ты от меня!.. Чистюля! — огрызнулся Волков и ушел.

Несколько дней Волков не встречался с младшим лейтенантом, но не забывал его. Неисправимый задира, он уважал только людей сильных, смелых, и поэтому незнакомец понравился ему. И в конце концов Волков решил его разыскать. Оказалось, что тот был командиром взвода в полуэкипаже. Там, словно случайно, они встретились снова, разговорились, и как-то случилось так, что после этого стали встречаться все чаще и чаще. Потом знакомство переросло в дружбу. Однако все это не мешало Волкову задирать, высмеивать, порой — не понимать своего друга. Он, например, знал и мирился с тем, что при Викторе нельзя ругаться, говорить сальности: покраснеет и уйдет. Но почему? Возможно, потому, что у него никого не было, кроме матери и сестры.

Вторая особенность Виктора — болезненное стремление к чистоте и вежливость до приторности. Уж, кажется, чего проще разговаривать с ним, Петькой Волковым? Так нет, и тут все на «вы», с извинениями и так вежливо, что рот сводит!

Первое время Волкова смущала и еще одна деталь в

биографии Курочкина. Как-то, разговорившись, они коснулись комсомола, его дел, и Петр спросил приятеля, почему он не комсомолец. Тот покачал головой и ответил:

— Мне пока нельзя.

— Почему? Или, как некоторые, ждешь, когда тебя пригласят?

— У меня... отец считался вредителем...

До Волкова не сразу дошел смысл этих слов, а когда дошел, он спросил шепотом:

— Скрываешь?

— В биографии все сказано.

К этому вопросу они больше не возвращались, старались обходить его, но Волков исподтишка какое-то время придирчиво наблюдал за Курочкиным. Однако ничего «вредительского» не обнаружил. Дружба осталась нерушимой.

А вскоре Курочкина назначили командиром бронекатера, да еще в отряд Селиванова. Волков искренне обрадовался этому, ввел приятеля в семью гвардейцев и даже помогал ему в первые дни осваивать особенности управления бронекатером.

Теперь они могли встречаться еще чаще и болтать о чем угодно. Вернее, болтал один Волков, а Курочкин отмалчивался, краснел или вежливо осаживал расходившегося приятеля. А Волкову это и нужно было: у него появился слушатель, которому можно стало доверять свои тайны.

Сейчас было свободное время, и Волков использовал его для зубоскальства или, как он сам любил говорить, «для обращения Витьки в катерную веру».

— Молчишь? — продолжал задирать он. — В таком параде тебе только девок на Невском тралить, а не бронекатером командовать, не десанты высаживать!

— Вчера, кажется, я не был последним?

— Нашел чем хвастать! А если в воду прыгать придется? Если нужда заставит в грязь лезть? Я — раз, два, и в дамках! А ты? Переодеваться побежишь?

— Тоже прыгну.

— Ручки испачкаешь! Штанишки изомнешь!.. Эх, Витька, Витька... Не водным танком тебе командовать, а служить секретарем или еще кем в каком-нибудь посольстве. Познакомишься с женой иностранного дипломата, и она тебе все секреты будет выбалтывать!.. Скажи, Витька, много по тебе девчат сохнет?

— И почему вы не можете без гадостей? Ведь вы совсем не такой...

— Какой «не такой»? Весь, с потрохами, на виду!

— Командиров отрядов — к комдиву! — крикнул кто-то.

Волков вскочил. Глаза его заблестели, сам он напрыгся, словно готов был сию же минуту броситься на катер. Курочкин встал не спеша, снял с брюк прилипшую сухую травинку и сказал, поправляя фуражку:

— Я к себе... А вы?

— Что мне на катере делать? Хоть сейчас полный вперед давай... Лучше пошатаюсь около начальства. Может, новость подцеплю, — и Волков с видом отъявленного бездельника направился к катерам.

В это время Норкин еще раз прочел расшифрованную радиограмму, уставился глазами на карту, по которой извивалась синяя ленточка Березины, и спросил, не поднимая головы:

— Все собрались?

Ответа не последовало. Норкин удивленно посмотрел на командиров отрядов катеров. Все были здесь, все ожидали приказаний. Четыре командира отряда — четыре человеческих характера.

Леня Селиванов возмужал за последние годы; в бою — вцепится зубами в противника, сожмет челюсти — не оторвешь.

Рядом с ним — капитан-лейтенант Латенко. Он разглаживает свои ржаные усы с будто заточенными кончиками и не спускает глаз с карты. Латенко — медлителен, раскачивается с лентой. Его лучше всего постепенно включать в бой.

Ястребков — юноша с мечтательными глазами, пишет стихи и, как всякий поэт, загорается быстро, горит ярким и жарким пламенем, но так же быстро ему все и надоедает; еще не приобрел командирской выдержки.

И четвертый — старший лейтенант Баташов. Татарин. Прибыл в дивизион перед самой отправкой на фронт. Командовал на Черном море отрядом торпедных катеров, проштрафился и направлен сюда до первого положительного отзыва. В чем его вина, что он за человек — только большому начальству известно.

— Фронт прорван на всех участках, и наши войска успешно продвигаются вперед двумя большими клиньями, — вялым голосом произнес Норкин суконную фра-

зу. — Фашисты везде бегут, — снова пауза. — Они хотят переправиться через Березину у Гаричей. Вот здесь, — красный карандаш уперся в узенькую полоску, пересекавшую реку. — Нам приказано выйти к мосту на прямую наводку — бить и сюда, и сюда, и сюда! — Жирные красные стрелы перерезали и мост и оба предмостных участка. — Бить так, чтобы как можно меньше фашистов ускользнуло из мешка!.. А где сейчас противник — пока точно не знаю. Он может встретить нас и у самого моста, и за десять километров от него. Такова ситуация, — закончил Норкин опять глупой фразой и, злой на себя за то, что нормальные слова сегодня прячутся от него, швырнул карандаш в траву.

Волков, словно случайно проходивший мимо, нагнулся, поднял карандаш и подошел ближе, держа его перед собой как самый надежный пропуск.

— Все сразу навалимся? — спросил Ястребков, потирая руки.

— Нам нужно до конца операции держать мост под огнем. Сможем ли решить эту задачу, всем дивизионом враз навалившись? Нет, не сможем: придется уходить на заправку, да и маневрировать будет трудно...

— Ага, значит, атакуем поотрядно, — резюмировал Ястребков.

Волков узнал, что будет бой, и длительный, положил карандаш на карту и отступил к катерам. Как ни быстро он это сделал, но успел получить от Селиванова чувствительный толчок кулаком в бок: не подслушивай!

Дивизион снялся со швартовых и устремился на запад. Впереди бежали легкие полуглиссеры. Они заглядывали во все протоки, за острова, пролетали под нависшими над водой ветвями кустов.

Остановились около высокого яра, утыканного большими соснами. Несколько матросов полезли по желтым стволам, скрылись в темно-зеленых шапках. И скоро оттуда посыпались первые доклады:

— Гаричи и мост — в пределах видимости!

— Как на ладошке!

— Сколько фашистов прет!

— Командный пункт будет здесь, — сказал Норкин, скинул китель, по привычке, сохранившейся с детства, поплевал на ладони и тоже полез на сосну. Чем выше он поднимался, тем шире становился горизонт. Извилистая полоска реки вьется вниз. На ее правом берегу разбро-

саны дома Гаричей. От них клевому берегу перекинут деревянный мост на сваях. Взорвать его трудно, но можно; и тогда сразу оборвется серый поток фашистских войск, ползущий по нему. Однако такой вариант отпадает: мост пригодится нашим войскам, и его надо сберечь.

Вот так, сидя на сучке и обняв руками покачивающийся ствол, разрабатывал Норкин план будущего боя. Всего, конечно, нельзя было предусмотреть, жизнь сама внесет коррективы, но основное уже созрело в голове. Атаковать только отрядами; река слишком узка, и чем больше около моста окажется катеров, тем лучше цель для фашистских батарей. Их пока не видно, но, надо полагать, они хорошо замаскировались и в нужную минуту покажут себя.

Первым бросить отряд Ястребкова. Он, как вихрь, взбаламутит все, расшвыряет и, как вихрь же, исчезнет. Латенко пусть сначала позлится на огневой позиции, а потом заменит Ястребкова. Одним словом, должна быть карусель: один отряд штурмует мост, второй — стоит на закрытой огневой позиции, готовый к выходу, третий — отдыхает, четвертый — принимает снаряды, топливо.

Отряд Селиванова ударит последним.

Рядом раздалось тяжелое дыхание. Норкин оглянулся. На соседний сук вскарабкался Дятлов. Через плечо у него висел телефонный аппарат, а за спиной радиостанция. Усевшись и прикрепив себя к стволу поясом, он раскинул свое хозяйство и замер, похожий на нахохлившуюся птицу. Норкин крикнул, чтобы к телефону подзвали Ястребкова и Латенко, отдал им последние распоряжения и добавил:

— Все понял, Ястребков? Больше шума, напористости!.. А ты, Латенко, чуть что — прикроешь его огнем. Как видишь, и тебе работа по характеру. — Последние слова предназначены исключительно для того, чтобы вывести капитан-лейтенанта из состояния равновесия. И Норкин с удовольствием заметил, что тот начал усиленно теревить ус, закручивать его: верный признак закипающей злости.

Отряд Ястребкова рванулся от берега и, вздыбив носы катеров, понесся к мосту. Видимо, мотористы выжимали из моторов последние лошадиные силы, не значащиеся в формулярах.

На соснах замерли наблюдатели. Внизу — остальные моряки, ожидавшие сведений о бое. И вдруг тишину на-

рушило ровное гудение одинокого мотора, и тотчас кто-то доложил:

— Гридин баржу ведет!

Норкин оживился. Еще ночью он послал Гридина за снарядами на тыловую базу. Леша задание перевыполнил: не часть снарядов, а всю баржу привел. Значит, можно не скаречничать!

Отряд Ястребкова вылетел на последнюю прямую перед мостом. Теперь противник видит его. Из орудий катеров вырвались короткие языки пламени. Молодец Ястребков! Догадался ударить из пушек по спуску с моста и сразу закупорил проход.

Фашисты заметались по берегу, открыли ответный огонь из автоматов. А бронекатера, не сбавляя хода, несутся дальше, кромсают берег длинными пулеметными очередями, засыпают его снарядами. В наушниках шлемофона писк, треск и ни одного человеческого голоса. Тоже очень хорошо: командиры катеров так вышколены, так поняли свою задачу, что Ястребкову не приходится вмешиваться в их действия и отдавать лишних распоряжений.

Пылающий костер возник на мосту. Это горят фашистские машины. Бронекатера уже у моста. Эх, сейчас бы сюда батальон Козлова! Зацепились бы десантники за берег, катера прикрыли бы их огнем в упор — и точка поставлена на вражескую переправу!.. Но нет здесь батальона. Плетется он где-то в хвосте...

— Вас Усатый просит к телефону, — говорит Дятлов, умышленно сдваивая букву «с», из-за которой Латенко терпеть не может прозвища, прилепившегося к нему.

— Мне пора? — спрашивает Латенко.

— Подождешь, — усмехается Норкин: Латенко «завелся» и теперь налетит на фашистов с неменьшей яростью, чем Ястребков. — Ястребков скоро будет возвращаться, — чтобы сохранить у Латенко нужный тонус, все же добавляет он в заключение.

Ястребков вернулся, недовольный скоротечностью своего налета, готовый ринуться обратно, но комдив его словно холодной водой окатил:

— Иди за снарядами. Да истеричность не забудь там сдать Гридину.

Ястребков посмотрел вверх на Норкина, махнул рукой и пошел к катерам, сразу ослабший, вялый. И опять

Норкин доволен: пока Ястребков обижается, матросы примут снаряды и немного отдохнут.

— Товарищ капитан-лейтенант! Товарищ комдив!

Это кричит Карпенко. Он стоит внизу, задрав голову, отчего кажется, что его широкое лицо закрывает все тело.

— Да, да, слушаю.

— Прибыл в ваше распоряжение! — кричит Карпенко, хотя можно разговаривать и обычным голосом. — Все в полном порядке!

— Хорошо, — говорит Норкин, не столько отвечая своему механику, сколько одобряя действия Латенко, который уже вступил в бой.

— Мне нужно вам что-то сказать!

— Позже немного.

— Срочное и очень важное!

Норкин поморщился, еще раз взглянул на катера, снующие у моста, и, наказав Дятлову докладывать ему обо всех действиях и бронекатеров, и противника, спустился на землю.

— Слушаю вас, — сказал он, рассматривая ладони, липкие от смолы.

Карпенко подошел к нему вплотную и шепотом подробнейшим образом передал ему содержание письма Семенова, и свою беседу с Головановым и Ясеныным.

— Из минометов бьют по нашим! — докладывает Дятлов.

— Но я им так и сказал, что все это вранье, злостное вранье, — зудит Карпенко.

— Латенко переносит огонь в тыл врага!

— Отставить! Его цель — мост! Селиванову прикрыть Латенко огнем, — приказывает Норкин.

Гремят выстрелы у Гаричей. Рывкают пушки здесь, у соснового бора.

— И еще одна новость, товарищ комдив, — продолжает Карпенко. — Ковалевская и Чигарев поженились.

Ага, неприятно, голубчик? То-то и оно...

— И вообще у них там на этот счет свободно. Из работников госпиталя только одна жена Селиванова и держится. А все остальные гуляют напропалую!

— У вас все?

— Все. — На лице Карпенко злорадство.

— Осматривайте катера, возвращающиеся из боя.

Со мной держите связь, — говорит Норкин и снова лезет на сосну.

Нечего сказать, хорошие новости привез Карпенко. Цигарев и Ковалевская — этого и следовало ожидать. А вот Катя... Ведь верил ей, скучал, ждал встречи... Видно, правы люди, когда говорят, что ни одной женщине, кроме матери, нельзя верить...

— Товарищ комдив! — кричит Дятлов.

— Иду, иду, — отвечает Норкин и быстрее карабкается по сучкам.

## 2

Бой у моста напоминал борьбу людей со взбунтовавшейся рекой: вода бросается на земляную перемычку, просачивается сквозь нее, ежеминутно грозит вырваться из водохранилища, куда ее загнали люди. Однако строители зорко следят за поведением воды. Стоит ей просочиться где-нибудь, как к этому месту подбегают люди, и глядишь — накрепко заделана лазейка.

Здесь вместо беснующейся воды были фашисты: за то короткое время, пока сменялись отряды, они широкой серой лавиной устремились к мосту.

«Карусель» сравнительно безнаказанно заканчивала уже второй оборот. Норкин забрался на самую вершину сосны и не отнимал бинокля от глаз. Ему не нравилось, что фашисты не оказывали действенного сопротивления. Неужели у немцев нет ни танков, ни пушек, ни крупнокалиберных пулеметов? Конечно, есть. Тогда где они сейчас? Почему молчат?

А время торопило, подстегивало: отряд Селиванова, готовый к выходу, ждал только сигнала. И тогда Норкин приказал вызвать к телефону Селиванова и Курочкина, а когда они пришли — сказал:

— Вот что, Ленчик... Курочкин пойдет сзади тебя в засаду... Курочкин, слышишь меня?

— Так точно, товарищ...

— Ну и хорошо. Твоя «катюша» должна выждать момент и ударить в самую решительную минуту. Ясно?.. Тогда — марш!

Селиванов, шагая к катерам, пытался разгадать мысли Норкина. Что он задумал? В каждом отряде есть один катер с «катюшей». Но раньше комдив все эти ка-

тера держал около себя, создав как бы особую группу, способную мгновенно нанести мощный огневой удар.

Это было понятно и возражений не вызывало. Почему же теперь он отказывается от первоначального, как Селиванову казалось, правильного варианта?

Так и не нашел Селиванов ответа на этот вопрос. А командиры катеров не очень задумывались над подобными «мелочами»: комдив приказал, значит, — делай. А почему так делать? Ему с сосны виднее.

А что же было видно Норкину? Только одно: противник что-то затевает. Значит, нужно внести какие-то изменения в характер боя, чтобы опять ошеломить противника, спутать его расчеты на первое время. Вот и послал он катер Курочкина в засаду. Что из этого выйдет — время покажет.

Курочкин, вернувшись на катер, еще раз просмотрел лоцманскую карту Березины. Как командир, он уже изучал этот участок реки до моста, но тогда смотрел на фарватер, а теперь особое внимание обратил на береговую черту.

— Командир отряда отходит, товарищ младший лейтенант, — докладывает Курочкину пулеметчик из верхней башни.

— Слышу, спасибо, — отвечает Курочкин и снова ищет на карте место для засады. Ага, кажется, нашел! Вот тут, у правого берега, карандашом нанесена полузатонувшая баржа. Интересно, можно или нет втиснуться между ней и берегом?

— Весь отряд со швартовых снялся! — теперь уже нетерпеливо докладывает пулеметчик.

Что ж, попытка не пытка...

— Отдать носовой! Малый вперед!

На середину реки вышли три бронекатера серо-стального цвета и понеслись к мосту, залпами усиливая неразбериху в рядах отступающего противника. Четвертый — зеленый с желтыми пятнами по бортам — крался вдоль берега, прячась за кустами.

В узкую прорезь смотровой щели Селиванову видны торцы толстых бревен настила на мосту, трупы, разбитые остовы машин. Несколько солдат, работая оглоблями, как рычагами, торопливо скидывали в реку машины, трупы лошадей, повозки. Вслед за ними, почти во всю ширь моста, двигаются тупорылые грузовики, которые, словно сердясь на медлительность продвижения,

выбрасывают из выхлопных труб черные сгустки дыма. Вдоль перил цепочками бегут пехотинцы. Все это знакомо по предыдущему налету. Только тогда, кажется, машин было значительно меньше и на их дверцах виднелись другие знаки. Чтобы проверить себя, Селиванов спросил Волкова, стоявшего рядом с ним в рубке катера:

— Эти тогда были или нет?

— Другие уже идут.

Значит, к переправе подошла новая часть. Что же, посмотрим, из какого теста сделаны ее солдаты...

— Открыть огонь! — приказал Селиванов.

Длинная очередь крупнокалиберного пулемета хлестнула по солдатам, расчищавшим проход, потом прошла и по тем, которые жались к перилам. Селиванову невольно вспомнилась трава, падающая под скользящим ударом косы: она ложится так же последовательно и таким же плотным рядом.

Вот снаряд ударил под передние колеса грузовика, взбравшегося на мост. Грузовик подпрыгнул, словно спасаясь от ожогов пламени, вспыхнувшего у него под мотором, и рухнул грудой пылающих обломков.

По броне зацокали фашистские пули, забарабанили осколки. К этим звукам уже привыкли, и никто из моряков не обращал на них внимания. Вдруг свинцовые брызги ворвались в смотровую щель, в которую смотрел Селиванов. Обожгло лицо. Селиванов инстинктивно прикрыл ладонью глаза. Слава богу, со зрением в порядке. Только лицо чуть покалывает и кровь сочится.

— Перевязать? — спрашивает Волков.

— Вперед, а не на меня смотри! — злится Селиванов. Волков опять наклоняется к смотровой щели.

Рокочат пулеметы. Часто-часто, с предельной скоростью рывкают пушки. Катер Селиванова наращивает темп боя.

И вдруг от удара вздрогнул весь катер.

— Пробоина в носовом кубрике! — докладывает матрос.

Новый удар! Селиванов и Волков видят, как на носу катера взметнулся столб пламени. Теперь доклада не поступает. Значит, погибли там матросы...

— Самый полный вперед, — тихо говорит Селиванов.

Ревут моторы, катер еще больше приподымает нос. Селиванов украдкой вздыхает с облегчением: пробоина

оказалась выше воды и пока не страшна. Теперь бы только обнаружить эти пушки, бьющие из-за угла! Селиванов и Волков осматривают берега и прибрежный лес. Ничего подозрительного не видно.

Мимо проносится катер Загороднего. Катер — пылающий костер. Огонь пляшет, сбснуетса около рубки, вырывается из пробоин в бензиновом отсеке. Вокруг огня быстро и спокойно, как на учении, работают матросы: засыпают огонь песком, закрывают плетеными матами. Лейтенант Загородний закрыл пробоину своей кожаной тужуркой и что-то кричит. Огненные струйки бегут по рукавам его кителя.

— Танки, танки! На левом берегу танки! — врывается в наушники голос лейтенанта Никифорова, катер которого шел концевым. — Переносу огонь на них! Прикрываю вас!

— Лево руля! — командует Селиванов. Катер валится на борт, в смотровой щели мелькают мост, горящие на нем машины.

Еще один удар потрясает катер. Глохнут моторы, зарывается в воду нос катера. Теперь вода наверняка заливается через пробоины... Селиванов и Волков, словно сговорившись, распахивают обе двери рубки и выскакивают на палубу. На корме — пожар.

Матросы мгновенно тушат его.

«Тысячу раз прав был Миша, когда гонял нас по пожарным тревогам!» — вихрем проносится в голове Селиванова, но спрашивает он о другом:

— Что с моторами?

— Оба временно вышли из строя, — говорит Волков, уже успевший заглянуть в машину.

Селиванов ругается и со злостью и тоской смотрит на берега, на мост. А пули и осколки свистят, гудят, фыркают. В кубрик тащат первых раненых. Катер течением медленно относится от моста. Но башня стрельбы не прекращает.

Селиванову виден катер Никифорова. Он развернулся носом к кустам ивняка и яростно бьет по ним из пушки. В воздух то и дело взлетают комья земли и вырванные с корнем кусты. Оттуда, будто дразнясь, высовываются красные языки. Так вот где вы засели, голубчики! Эх, добраться бы до вас! Но моторы не подают признаков жизни.

Серо-желтое облако неприятно пахнущего дыма на-

ползает на катер. Селиванов чихает и морщится. Из дыма вылетает катер Загороднего: он выручил товарища, на время спрятал его от противника за спасительной пеленой дымовой завесы. Селиванов перескакивает на катер Загороднего, осматривается. Палуба засыпана песком, на ней валяются зацепившиеся за острые углы железа обрывки истлевших матов, одежды; из пробойны пузырем торчит пробковый матрац; руки лейтенанта Загороднего в волдырях ожогов.

Еще секунду на размышление: куда идти? К танкам или к мосту? Катер Волкова за боевую единицу пока считать нечего. А что может сделать один Никифоров против танков? Да еще и неизвестно, сколько их. Два? Пять? Одиннадцать?

И все-таки Селиванов командует:

— К мосту!

Эх, сейчас бы побольше пушек! Тогда можно было бы показать фашистам, где раки зимуют! Но что сделаешь с двумя катерами?.. Курочкин, Курочкин, где ты? Почему молчишь, когда в бою гибнет твой родной отряд?..

Молчание Курочкина волновало не одного Селиванова. Норкин со своего капе прекрасно видел, как отряд Селиванова атаковал мост, как неожиданно из кустов ивняка блеснуло пламя, как окутался дымом один из катеров. Михаил понимал, что эта танковая засада и была как раз тем сюрпризом, который исподтишка готовил противник. По мнению Норкина, именно сейчас и должен был вступить в игру катер Курочкина: взять под свой контроль мост и тем самым развязать руки Селиванову для борьбы с танками. Но катер Курочкина словно утонул где-то между местом боя и огневой позицией. А Селиванов нуждался в немедленной помощи. И Норкин бросил в бой сразу и отряд Латенко и отряд Ястребкова. Отряд Баташова — последний резерв, с которым решил идти сам, если потребуется и это.

Норкин тщательно осматривал реку, но катера Курочкина не мог найти. И тут неприятный холодок пробежал по спине: а вдруг Курочкин умышленно подводит и его и дивизион? Вдруг он умышленно обрекает на провал всю операцию? Не мстит ли он за отца?..

Михаил обнял качающийся ствол дерева и прижался щекой к золотистым чешуйкам коры. Все может быть, все может быть... Что знает он о Курочкине?

Окончил мореходный техникум, судоводитель, но в заграничные плавания его не пустили; младший лейтенант запаса и командир взвода в полуэкипаже; скромный, застенчивый, исполнительный, дело свое знает...

Дернула же нелегкая выпросить его к себе командиром катера! Почему спрашивал к себе? Да так просто. Не было одного командира, а он попался на глаза, понравился...

Вспомнились и слова Ясенева, которые он сказал, узнав о намерении Норкина взять Курочкина к себе в дивизион:

— Что ж, у нас дети за отцов не ответчики... Только все же присматривай.

Так присмотрел, что хоть в петлю лезы!.. Отсиживается, наверное, этот скромник в кустах и посмеивается... И что обиднее всего — его никак не привлечешь к ответственности. Выскочит из засады уже после боя и прикинется дурачком, скажет, что этот момент считал самым подходящим...

А Курочкин в это время стоял между берегом и полузатонувшей деревянной баржой. Ее надстройка прекрасно маскировала «катюшу», а сам катер сливался окраской с берегом. Курочкин со своей позиции видел больше, чем Норкин и Селиванов: один из них был далеко, второй невольно распылял внимание между противником и своими катерами. А у Курочкина и задание было — наблюдать. Он, правда случайно, заметил даже первый выстрел танков. Тогда снаряд не попал ни в один из катеров, пронесся над ними и остервенело, словно со злости, рванул среди своих солдат, уже сгруппировавшихся на правом берегу. Курочкина так и подмывало предупредить о танках товарищей, но он сжал кулаки в карманах и промолчал: вдруг противник засечет его радиостанцию? Тогда из затей с засадой ничего не выйдет. А ведь комдив вполне определенно сказал: «Главная наша задача — не дать им переправиться».

— Катер Волкова вышел из строя, — говорит рулевой, словно Курочкин не стоит с ним рядом и не видит этого сам.

— Катер Загороднего горит! — докладывают из оружейной башни.

— Катер Никифорова один с танками дерется! — кричит пулеметчик.

Это не были просто уставные доклады матросов. Нет,

матросы упрекали своего командира в бездеятельности, намекали — правда, пока очень туманно — на то, что не трусит ли он?

Обычный нежный румянец сошел со щек Курочкина. Он сейчас походил на больного или труса, боящегося покинуть свое убежище, даже — обнаружить свое присутствие. Даже губы у него обескровели.

И действительно, Курочкин боялся, но это был страх, несколько не похожий на тот, который ему довелось испытать однажды. Тогда (это было еще до поступления в техникум) он вышел из библиотеки с томиком Пушкина, раскрыл его и так увлекся музыкой стиха, что пришел в себя только лишь услышав совсем рядом надсадный рев сирены машины «скорой помощи». Курочкин вскинул голову и увидел наползающий радиатор. Вот тут на него и напал страх. Он сковал руки, ноги и горло.

Теперь совсем иное. Курочкин, нимало не задумываясь, немедленно вылетел бы из засады и сунулся в самую гущу боя, но будет ли это правильно? Этого ли от него ждут? Настал ли тот момент, ради которого его послали сюда?

Оказывается, самому принять решение гораздо труднее, чем выполнять чужие приказы.

Борьба с самим собой была еще мучительнее и оттого, что он верил в товарищей, знал, что командир дивизиона обязательно придет на помощь отряду. Когда это произойдет? Вот этого Курочкин и не знал. Может, быть, пройдет еще несколько минут, и поздно будет вылезать ему из засады: без него справятся с фашистскими танками.

Кому-кому, а ему, сыну человека, которого обвинили во вредительстве, нельзя ошибаться, ему не простят опоздания в бою.

Над рекой прокатился оглушительный взрыв. Там, где еще недавно был катер Никифорова, сейчас кружилась и пузырилась вода. Катера Волкова и Загороднего снова понеслись к мосту. Курочкин всмотрелся и понял, почему: по мосту на полном ходу шли два тяжелых танка. Первый, как мощный снегоочиститель, толкал перед собой разбитые снарядами машины и повозки, откидывал их к перилам, давно треснувшим под таким напором, и сваливал в реку. Второй прикрывал его и почти непрерывно стрелял по двум катерам, мечущимся у мо-

ста. А за танками, уверенные, что проход будет расчищен, из леса шли машины с пехотой, вскачь неслись по возки. В промежутках бежала пехота. Этот поток временно сгрудился около въезда на мост, и, как вода, встретившая на своем пути неожиданное препятствие, пополз в стороны, залил все поле. словно ярмарка раскинулась перед мостом.

Курочкин, впервые в жизни, от радости матюкнулся некрепшим юношеским баском, сдвинул фуражку с мгновенно вспотевшего лба и толкнул ручки машинного телеграфа до отказа вперед. Катер рванулся и вылетел из-за баржи. Грозная «катюша» приподнялась, чуть развернулась, и первые мины взорвались среди фашистов. За первыми последовали вторые, третьи.

На мосту пылали оба танка. Вот башня одного из них подпрыгнула, упала в воду, а еще через несколько секунд и сам он раскололся от взорвавшегося внутри него боезапаса. Но зато и катер Загороднего вспыхнул, как пакля, пропитанная керосином, лишился хода и, покачиваясь на волнах, поплыл по течению. К нему подлетел катер Волкова, и Курочкин видел, как Селиванов в одной черной от копоти тельняшке перескочил на него.

В это время что-то похожее на гром ахнуло рядом, и Курочкина захлестнула непроглядная мгла. Когда она рассеялась, он увидел покачивающиеся берега и нос своего катера, неудержимо катящийся куда-то в сторону. Курочкин хотел прикрикнуть на рулевого, повернул голову туда, где он должен был стоять, и увидел лишь его окровавленное тело. Оно лежало около большой пробоины в дверях рубки. Тогда он взялся за липкий от крови штурвал и, переложив руль, повернул катер к мосту. В голове, казалось, работали тысячи кузнецов. Они безжалостно били по каждой клеточке мозга. Левая рука не поднималась, по спине ползли горячие струйки...

Не успела успокоиться вода там, где еще недавно гремел выстрелами катер Никифорова, а на танки фашистов, стоявшие в засаде, уже обрушился первый залп «катюш».

Дело в том, что Никифоров, желая наверняка попасть хотя бы в один из танков, все время крутился вблизи их засады, и залп с других катеров с одинаковым успехом мог поразить как танки, так и его. Теперь же залпы «катюш» легли на берег, огонь сожрал листву

кустов, и танки стали отчетливо видны. Это послужило сигналом: армейская артиллерия обстреливала танки с закрытых позиций, отряды Ястребкова и Латенко били по ним в упор, а десятки штурмовиков закружились над берегом, полянками, лесом. Скоро с танками все было кончено.

И тут мост вздулся, приподнялся и одним своим пролетом рухнул в воду.

— Успели, дьяволы! — выругался Норкин и начал спускаться со своего наблюдательного пункта.

Куручкин еле справлялся с катером, который бросался то влево, то вправо, то начинал почему-то лезть к облакам, принимавшим самые причудливые формы.

— Что он так рыскает, словно надрызгался, — проворчал Волков, которому катер Куручкина не давал выйти вперед. — А все-таки, товарищ старший лейтенант, здорово выбрал он момент и пластанул их!.. Куда, куда прешь? — это уже Куручкину, который чуть не протаранил дымящийся катер Загороднего.

— Обгоняй его, — приказал Селиванов.

Волков включил сирену и несколько раз махнул с левого борта белым флагом. И случилось странное: дверь рубки на катере Куручкина не открывалась, но все видели, как из нее высунулась кисть руки, вяло приподнялась, опустилась, исчезла.

Обгоняя катер Куручкина, Селиванов осмотрел его и невольно вздрогнул: три больших пробоины — под безмолвной башней, в рубке и у машинного отделения — пугали своей чернотой.

Катер Куручкина круто повернул к пескам чуть выше соснового бора и, не сбавляя хода, выбросился на берег. Мотор заглох. Но не откинулся ни один люк, не вышел на палубу ни один человек.

Норкин, за ним и Селиванов, Волков и другие моряки подбежали к катеру Куручкина, взобрались на его палубу. В лучах заходящего солнца она нежно поблескивала тонким слоем смазки. Все аккуратно лежало на своих местах, и если бы не это зловещее безмолвие да не опалины от залпов «катюши», то можно было бы подумать, что катер и не участвовал в бою.

Селиванов открыл дверь рубки и посторонился, пропуская вперед Норкина. Солнце, ворвавшееся в рубку, сверкнуло позолотой подраенной медяшки компаса и осветило три неподвижных тела, лежащих на палубе.

Верхним был Курочкин. Его белые волосы потемнели, слиплись на затылке. Китель был разорван на спине. Из раны сочилась кровь.

Норкин осторожно взял со столика журнал боевых действий и вслух прочел последнюю запись:

«18.52. Убиты пулеметчик и рулевой. Башня и машинное отделение не отвечают; командир катера младший лейтенант Курочкин ранен в голову и спину. Выхожу из боя...»

### 3

Задача, стоявшая перед дивизионом, была решена: фашистам не удалось прорваться по мосту. Однако никого из катерников это не радовало: много товарищей убито и ранено в этом бою. Досталось и катерам. Три из них надолго вышли из строя, один — взорвался.

Куда бы ни заглянул Норкин — везде кровь, везде следы отчаянной борьбы со смертью за свою жизнь и за жизнь своего катера.

Новая партия раненых уже отправлена в госпиталь к Сквинскому. Скоро тральщики поведут в Киев первые покалеченные, истерзанные катера. На высоком берегу под соснами мелькают лопаты. Там роют братскую могилу. В нее одним из первых будет опущен младший лейтенант Курочкин.

— Все осмотрел, товарищ капитан-лейтенант, — говорит Карпенко, вытирая руки паклей. Он взволнован и бледен.

— Ну?

— Своими силами ни один не восстановит.

Норкин предвидел такое заключение и все-таки вздрогнул, услышав приговор специалиста. Тает дивизион, тает. Вчера — тральщики, сегодня — бронекатера...

— Отправить их в Киев.

— А я?

— Что вы?

— С ними?

Норкин вскинул на него удивленные глаза. Что за человек Карпенко? Дурак или... трус? Неужели не понимает, что в Киеве и без него специалистов — пруд пруди, а здесь он единственный?

— Я к тому сказал, что во время ремонта хозяйский глаз нужен.

Тоже верно. Хозяйский глаз везде нужен. Но где нужнее? Здесь идут бои, и, если судить по результатам первых двух дней наступления, флотилия скоро упрется в Бобруйск. Тогда всем придется возвращаться в Киев или идти к Голованову на Припять. Это и ребенку ясно. Успеют за это время отремонтировать катера? Нет, не успеют. Даже — едва ли дотащат до мастерских.

— Останетесь здесь, — твердо говорит Норкин и отворачивается.

Тела моряков, зашитые в тюфячные наволочки, несут к соснам. Норкин поспешно встает и вытягивается, как при встрече самого высокого и уважаемого начальства. Медленно поднимаются в гору провожающие.

— Комендоры... по катерам! — приказывает Норкин, и десятки людей скатываются с обрыва, исчезают в башнях. — Волков! — лейтенант подбегает, вытягивается. Он в выглаженных брюках, в чистом кителе. — Командуй салютом... Двенадцать залпов.

— Есть, — чуть шевелятся дрожащие губы.

— Фугасными, фашистам вдогонку и на самом дальнем прицеле, — поясняет Норкин.

Гремят дружные залпы. Шуршит осыпающаяся земля...

Опустив обнаженные головы, стоят моряки над холмиком свежей земли. Сколько подобных холмиков уже поросло травой, сколько сравняли ветры и воды... Сколько их еще будет впереди?

К берегу бесшумно подошел полуглиссер. Из него вылез Семенов и неторопливо поднялся на горку.

— Не мог меня-то подождать, — сиплым голосом говорит Семенов. Чувствуется, что он взволнован по-настоящему, и Норкин прощает ему все неоправданные нападки, грубость и даже вчерашнюю несправедливость.

Так уж получилось, что здесь начальство бросило последнюю горсть земли.

— Всех их сегодня же представить к награде, — говорит Семенов, громко и долго сморкается в носовой платок. — Всех, кто отличился... Вообще, всех!

Летняя ночь плывет над землей. Ветер утих. По стойке «смирно» замерли сосны. Комендоры дерном обкладывают холмик. На вершине его растет пирамида из гильз. Все знают, что гильзы соберут безжалостные интенданты, но носят их, носят: кто будет собирать гильзы, тот невольно поклонится павшим.

— Теперь слушай новый приказ, — сказал Семенов, как только моряки разошлись по катерам. — Пошли тральщики к мосту. Пусть разведают, есть проход или нет. Потом дальше думать будем.

— А не опасно одним тральщикам? Немцы наверняка спрячутся по берегам. Может, с ними послать пару броняшек? — осторожно предложил Норкин.

— Я только задачу даю, а дальше — твое дело, — охотно согласился Семенов.

Карпенко с тревогой прислушивается к спокойным голосам недавних, казалось бы непримиримых, врагов: неужели помирятся?

Норкин отдал приказ, и два тральщика и отряд бронекатеров старшего лейтенанта Баташова исчезли в темноте.

После ранения Никишина, по молчаливому согласию командиров других тральщиков, Мараговский стал ведущим. Он правдами и неправдами добивался права участвовать во всех операциях. Вот и сейчас, когда потребовалось выделить два тральщика, он заявил, нахально глядя в глаза командиров тральщиков:

— Нужен только один: вторым комдив приказал мне идти.

Конечно, никто, даже Гридин, который шел с катерами, не осмелился обратиться к Норкину с таким вопросом. И катер Мараговского пошел головным.

Мараговский, надвинув на глаза козырек фуражки, как в обычном походе, сидел перед рубкой на надстройке кубрика, изредка бросая короткие указания рулевому Моисееву.

Вот и Гаричи. Столбы огня поднимаются над горящими домами. Между ними бегают солдаты. Они тушат пожары, тушат так же яростно, как недавно шли в бой. На берегу около вещей, сваленных кучами, толпятся жители. В Гаричах и на реке изредка рвутся тяжелые немецкие мины, прилетающие сюда из ночи. На них никто не обращает внимания.

— А-а-а, чтоб тебе повылазило! — вдруг дико орет Моисеев и раздражается таким потоком отборной брани, что все опешили.

— Моисеев! — наконец кричит Мараговский и покает кулак

— Да спасу же нет, товарищ главный! — уже более

спокойно отвечает Моисеев и левой рукой зажимает рану пониже поясицы. — Ведь угораздило же сволоту!

Копылов, уже просунувший в рубку свою плутоватую рожу, переводит глаза с руки Моисеева на маленькую дырку в стене рубки и кричит не менее дико, чем недавно Моисеев:

— Санитары! Носилки в рубку!

Моисеев выпускает из рук штурвал, бросается за Копыловым, но спохватывается и возвращается на свое место. Катер, рыскнув, снова поворачивает к мосту.

А неугомонный Копылов уже проталкивает в рубку Жилина, через плечо которого перекинута санитарная сумка.

— Кого перевязать? — спрашивает Жилин.

— Моисеева, — подсказывает кто-то из-за спины Копылова.

— Изничтожу! — орет Моисеев.

В ответ раздается хохот. Всем давно нужна разрядка, и теперь до слез хохочут прибежавшие минеры, катается по надстройке Мараговский, не может сдержать улыбки Гридин. Моисеев несколько секунд удивленно смотрит на них, потом улыбается, безнадежно машет рукой и говорит:

— Давай носилки. Ранение почти смертельное, посколькó осколок в зад угодил.

Мараговский становится к штурвалу, а Моисеева осторожно выносят из рубки и кладут на надстройку. Жилин склоняется над ним.

— Скажи пожалуйста, даже кончик осколка видать...

— Ты тащи его, а разглядывать потом будешь! — злится Моисеев.

Жилин смотрит на свои руки, перепачканные машинным маслом, и качает головой.

— Пусти, — говорит Копылов и протискивается вперед. Осторожно нащупывает осколок.

Моисеев прижимается ртом к рукаву фланелевки. Резкий рывок. Моисеев дергается.

— Скажи пожалуйста, вырвал...

Моисееву накладывают повязку, а он ворчит:

— Ну почему я с детства, как тот Щукарь несчастный? Все люди как люди, а я рыжий. Сколько из-за своих волос натерпелся — не счесть!.. Попал на фронт — и тут не повезло. Ни медали завалящей, ни

благодарности приличной. Другой хоть раной похвастается, а я...

— Мы тебе справку дадим, что ты шел на врага грудью, а он ударил с перелетом, — успокаивает Копылов.

— Иди ты со своей справкой знаешь куда? — беззлобно огрызается Моисеев.

У моста оказался взорванным только один пролет. Его быстро расчистили, обозначили проход. А теперь что делать? Возвращаться в Гаричи и тушить пожары? Там и так народу хватает.

— Может, пойдём дальше, разведаем? — предлагает Баташов. — Повиснем на хвосте у фашистов и будем дожидаться своих. Мимо нас не проскочат.

— Пошли, — после недолгого раздумья соглашается Гридин.

— Но теперь я головным. Сам понимаешь.

Гридин согласился.

Чуть слышно журчит вода под форштевнем катера. Темная от склонившихся над ней деревьев, она кажется плотной, густой, даже вязкой. С приглушенными моторами крадутся катера вдоль берега — обрывистого, заросшего ивами. Моряки всматриваются в гладкую поверхность реки, прислушиваются к шелесту леса, подступившего к самой воде. Волны плавно набегают на берег, ползут по обрыву и откатываются назад, обнажая уходящие в воду корни деревьев, похожие на узловатые вены на старческой руке.

Черное небо с яркими точками звезд — в багровых заревах пожаров. Изредка над лесом вздымаются длинные трепещущие языки пламени, мечутся по небу, тянутся к звездам и падают вниз, не найдя опоры.

Но не слышно набата, никто не тушит пожары: отступая, фашисты жгут деревни.

Временами короткие вспышки озаряют небо и прилипли к нему облака. Это бьет советская артиллерия, протягивают к фашистам огненные щупальца гвардейские минометы.

Белорусский фронт продолжает наступление.

Огромная петля захлестнула здесь немецкую группировку и неумолимо сжимается, душит врага, парализует его действия. По дорогам ползет серый поток врагов: обмундирование их посерело от пыли и грязи, а лица — от страха. Страшно фашистам на советской земле,

хочется поскорее уйти подальше, но земля не пускает, держит, хватает сучьями за одежду, расступается под колесами. И машины вязнут, остаются ржаветь среди болотных кочек. А смерть гонится за фашистами по пятам, даже забегает вперед и ждет, притаившись за каждым кустом, за каждым деревом.

Катера отряда Баташова несколько раз встречали противника. Это были небольшие группы, стремящиеся перебраться на правый берег Березины и ускользнуть из мешка. И тогда молчаливые берега оживали: трещали автоматные очереди, и, как искры из кузнечного горна, трассирующие пули отскакивали от брони катеров. В ответ катера разворачивали башни, секундная выдержка, яркая вспышка, и — удар! Несколько залпов — и снова тишина. Мощные прожекторы освещают воронки, опаленные, сваленные взрывами ивы, скрюченные трупы.

Прислушиваются моряки. Где-то там, в лесу, слышен треск сучьев: туда бегут фашисты. Их не преследуют. Зачем? Фашистам не уйти. Если не солдат в пилотке с красной звездочкой, то партизан или простой крестьянин грозно крикнет им: «Стой!»

Нет, не уйти фашистам от расплаты. Не уйти.

Старшему лейтенанту Баташову показалось, что от воды к кустам метнулся человек, и тотчас раздался крик сигнальщика:

— Правый борт, курсовой шестьдесят! Люди!

Лязгнули затворы пулеметов и замки пушек. Баташов уже был готов дать команду: «Огонь!», но люди на берегу опередили его, завопив:

— А-а-а!

— Мамка! Мамка! Где ты?

— Не стреляйте! О, господи!

— Падай сюда! Здесь ямка!

Белые лучи прожекторов скользнули по берегу и замерли на толпе людей. Босые, некоторые в лаптях и лишь немногие в сапогах, стояли люди у самой воды, тесно прижавшись друг к другу. Они шурились от яркого света прожекторов.

Баташов понял, что эти люди возвращаются из лесов в свои деревни, и скомандовал отряду:

— Подойти к берегу!

Катера развернулись. Люди на берегу зашевелились и замерли под гипнотизирующим взглядом пушек и пулеметов.

Сдавленно урчат моторы, работающие вхолостую. Прожекторы шарят по кустам, где, как кажется морякам, больше никого нет.

Баташов и два автоматчика прыгнули на песок. Теперь старший лейтенант видит, что перед ним стоят старики да женщины. И еще — за широкими юбками из домотканого полотна прячутся дети. То здесь, то там виднеются маленькие босые ноги или детское личико с широко открытыми настороженными глазами.

— Здравствуйте, товарищи, — говорит Баташов.

В ответ одни снимают картузы, шляпы, другие только кланяются, а кое-кто ворчит что-то неопределенное.

— Куда путь держим?

Люди переглядываются, а встретившись взглядом с Баташовым, отворачиваются, опускают глаза и рассматривают свои исцарапанные, покусанные комарами ноги.

— До дому, — наконец отвечает за всех один старик.

Он сразу привлек к себе внимание. Одежда его ничем не выделялась из общей массы, но сам он стоял как-то по-особому прямо, положив обе руки на толстую суковатую палку. И в его глазах не было той растерянности, которая замечалась у других. Похоже было, что он принял какое-то решение и непременно выполнит его.

— А дом-то где? Туда или сюда?

— Кому куда, — неопределенно ответил старик, пошевелил губами и немного погодя добавил: — На том берегу.

Стало ясно: люди почему-то замкнулись, не доверяли морякам, сторонились их. Только детвора немного осмелела. Один мальчуган, не выпуская из рук материнского подола, даже потянулся к золотому галуно на рукаве кителя. Баташов воспользовался моментом, протянул руки и схватил мальчонку. Тот сразу сел на землю, уперся босыми пятками во влажный песок и всем телом откинулся назад.

— Ишь, какой сердитый мужичок! — засмеялся Баташов, беря его на руки. — Как тебя зовут, пузырь?

Мальчик засунул палец в рот и сосредоточенно обсасывал его.

— Как тебя звать? Ну, вынь палец! — Гридин боднул «козой» вздутый живот мальчишки. — Меня звать дядей Лешей. А тебя?

— Скажи, Микола, дяде, скажи, — вмешалась мать и подошла поближе.

— Ух, какой ты упрямый, Микола! — засмеялся Баташов. — Давай поговорим... Где твой батько?

Микола покосился на мать, еще глубже засунул палец в рот и отвернулся.

— И про батьку говорить не хочешь, — Баташов понимал, что попал в неловкое положение. «И дернула меня нелегкая затеять душевный разговор», — подумал он, но сдаваться не хотелось. — А конфетку надо? Нет?.. А сахару? Тоже не надо?.. Так чего же ты хочешь?

— К мамке, — ответил Микола и уперся руками в грудь старшего лейтенанта.

Моряки невольно рассмеялись. Улыбнулся и кое-кто из людей, толпившихся на берегу. Микола спрятался за мамкину юбку и, осмелев под такой надежной защитой, высунул свое личико и сказал, строго глядя на Баташова:

— Хлеба дай.

Пять буханок хлеба — весь запас катеров — разрезаны на небольшие кусочки. Ребята едят, а взрослые смотрят на них и перешептываются.

— Вопросик можно, — тут старик замешкался, видимо, подбирая слова, — мил человек?

— Давай, папаша, спрашивай, — обрадовался Баташов.

Старик оглянулся на людей, переступил с ноги на ногу, вздохнул и начал:

— Уж ежели что не так — не обессудьте... Я за все в ответе, значит. — Голос его чуть заметно дрогнул. — Вы из каких будете?

— Как из каких? — удивился Баташов.

Старик по-прежнему стоит, величественно опираясь на палку. На его седых волосах красноватый отблеск пожаров, по лицу мечутся тени, а он спокойно и требовательно смотрит на Баташова.

— Русские... Ну, моряки... Ведь по форме-то видно?

— Это, конечно, — согласился старик. — По форме, оно, конечно... Тут недавно, так с годик минуло, пришли в одну деревню люди... Говорили — парашютисты к партизанам. Конечно, встретили их, угостили. Да... Оно время, конечно, военное...

— Договаривай, папаша.

— Чего договаривать-то? И сейчас нет деревни... Даже печи разворочены... Форму всякую надеть можно, — закончил старик и вздохнул.

— Хочешь, документы покажу? И удостоверение, и партийный билет, и орденскую книжку?

— Что ж... Документы, конечно, главное... Тут недавно был такой случай...

Баташов развел руками. Ну что скажешь этому старику? Он по-своему прав: фашисты надевали любую одежду, прятались за любыми документами.

— Ну чем я докажу тебе, папаша, чем? — взволнованно спросил Баташов.

Старик повел плечами и еще ниже опустил голову. Действительно, чем докажет человек, что он свой, советский? Кажется, нет ничего святого для фашистов, ко всему они припечатали свою грязную лапу... А как хочется, чтобы это были по-настоящему свои!

— Что ж, Баташов, не получилось у нас разговора по душам. Жаль, но ничего не поделаешь, — сказал Гридин. — Пусть остаются со своими молчанками. Приказывай заводить моторы и пойдем дальше.

— До свидания, — сказал Баташов, козырнул и прыгнул на катер.

Пушки и пулеметы отвернулись от берега, катера поднялись. И вдруг на берегу все заговорили враз, а старик шагнул к воде, замахал рукой. Баташов неохотно вернул катера к берегу.

— Марья! Вылазь! Наши!

— Ой, точно ли?

— Наши, наши, — кричали люди на берегу.

И ожили кусты, казавшиеся мертвыми. Идут люди, замученные ожиданием, неизвестностью, и все они тянутся к морякам, каждому хочется оказаться поближе к ним, перекинуться с ними хоть словом. Старик завладел Баташовым, признав в нем старшего, и сказал проникновенно:

— Ты, сынок, не обессудь. Всего мы навидались за эти годы. А ты, поди, и сам знаешь, что обжегшись на молоке, на воду дуют...

— Да я не обижаюсь...

— Нет, ты не спорь! Обидели мы вас, крепко обидели. Но понимать надо, отчего обида идет. У нас она от осторожности. Глянь, сколько нас. Окажись вы фашистами, что бы тут сейчас творилось? Страсть!.. Немец после моих слов первым бы делом в морду мне раз! Ты — опять разговаривал... Ничего из беседы не вышло — немец бы развернул пушки да трахнул!..

— Дядя, а дядя, — теребит за китель Микола. — А мой батька партизан! Фашисты, знаешь, как его боятся? Он им как даст!..

— Так куда же вы путь держите? — спросил Баташов, когда волнение немного улеглось.

— До дому!

— В Гаричи!

— А наша деревня вон! Еще крест церкви над огнем торчит!

Отвечали охотно, подробно. Баташов и Гридин узнали, что за несколько дней до начала наступления наших войск фашисты стали угонять людей на запад, сжигать дома тех, кто уходил в леса. Народ не пошел на запад — и запылали деревни; в одночасье прахом пошло то, что десятилетиями наживали.

— А как на тот берег перебираться будете? — спрашивает Гридин.

— На ту сторону? Переберемся!

— На бревнышках! Или вплавь! Вода теплая!

— Может, лодку найдем!

Матросы жадно прислушивались к этим репликам. Им, тоже оторванным от родных мест, была понятна эта тяга к дому. Они о чем-то перешептывались, подталкивали Мараговского, чувствовалось — заставляли его говорить от имени всех.

— Товарищ старший лейтенант, — тихонько говорит Мараговский, отведя Гридина в сторону. — Матросы считают, что можно было бы и перевезти. Ночку не поспим, зато драться завтра злее будем и плакаться на усталость не станем. Слово даем! А оно у нас твердое.

Гридин и Баташов согласились с предложением матросов. Заурчали моторы, и первые счастливыцы зашли по трапам на палубы катеров.

Всю ночь работали катера, а люди все идут, идут...

Яркое солнце вышло из-за туч дыма, обогрело опаленную боями землю, и зашелестели ивы, поднялись с болот розоватые клочья тумана. В ближайшей деревне залиvistо пропел петух.

А с востока приближался нарастающий гул многих моторов. Скоро он заглушил пение птиц, стук топора, и из-за поворота реки появился дивизион Норкина. Отряд Баташова и два тральщика присоединились к нему и пошли дальше, неся на своих краснозвездных флагах отблески утренней зари.

## Глава седьмая

### ТРОЕ СУТОК ПОДВИГА

#### 1

Противник отступал беспорядочно, катера флотилии частенько натыкались на его отдельные части, останавливались, готовились к бою, но чаще всего, постояв немного, шли дальше: фашисты боя не принимали, разбегались по лесам.

Во время одной такой остановки Гридин решил встретиться с Норкиным: что ни говори, а разве это порядок, если за сутки они словом не перебросились?

— Где комдив? — спросил Гридин, подымаясь на катер Ястребкова, над которым трепетал по ветру брейд-вымпел.

— В моей каюте.

— Спит?

— Кто его знает... По-моему, всех ловкачей, что к войне примазываются, надо каленой метлой из армии гнать! — В голосе Ястребкова звучала неподдельная страсть.

— Ты про кого? — насторожился Гридин.

— Будто сами не знаете!

— Конечно, не знаю. Ведь я ушел сразу после похорон.

— Так все это уже без вас произошло? — удивился и обрадовался Ястребков.

— Да скажешь ты или нет, в чем дело? — начал закипать Гридин.

— Опять Семенов кашу заварил. — Ястребков увлек Гридина к носовой башне, усадил там на раскладной стульчик и продолжал: — Сначала разговор шел — лучше не надо! Откровенно говоря, мы все радовались, что они поладили. Ведь нам, мелкой сошке, больше всего достается, если начальство на ножах.

— Слушай, Ястребков! Ты мне антимию не разводи!

— Закругляюсь!.. Потом, слышим, Семенов на басах петь начинает: «Я тебе покажу! Мы в гражданскую!» Наш тоже не отстает и октавою его глушит: «Плевать я хотел на фальшивые приказы! Очковтирательство!»

— Да ну тебя! — рассвирепел Гридин, которому

многословие Ястребкова сейчас казалось самым страшным пороком, и спустился в кубрик.

В кубрике темно. Броневые крышки иллюминаторов опущены, и свет падает только через четырехугольный входной люк. Еще одна узкая светлая полоска выбивается из-под двери каюты командира катера, в которой сейчас расположился Норкин.

— Разрешите, Михаил Федорович?

— Входи, Леша, входи.

Внутри катера даже самый маленький матрос, чтобы пройти несколько шагов, должен согнуться почти под прямым углом. Так же, крючком, Гридин и вошел в каюту. Норкин, тоже не разгибаясь, приподнялся, пожал его руку и сказал:

— Ну, комиссар, давай думу думати. Или я чего-то недопонимаю, или... Ну, да ты сам разбирайся...

Оказывается, после того как Гридин с катерами ушел к мосту, Семенов еще немного выждал, а потом спросил:

— Что в сводке сегодня показываешь? Какие потери у противника?

— Батальона два пехоты, тридцать пять грузовиков, около двадцати повозок и восемь танков.

— Как так только восемь танков? — изумился Семенов. — Своими глазами видел, что их там больше десятка!

— Остальные подбиты летчиками и армейцами.

— А ты откуда знаешь это? — Семенов накалялся все больше и больше.

— По записям в журналах боевых действий. Комендоры своего не упустят.

— Не упустят! — передразнил Семенов. — Что, у них снаряды меченые? Вот посмотришь, те (понимай — армейцы и летчики) и твои танки себе припишут! Или уже забыл про тот самолет?.. Включай все в свою сводку!

— Не могу.

— Приказываю!

— Очковтирательством заниматься? Дайте письменный приказ: «Включить в счет дивизиона все танки, обнаруженные разбитыми на поле боя...»

— Конечно, Леша, он такого приказа не дал, — закончил Норкин и усмехнулся. Впервые Гридин видел у него такую усмешку: губы иронически скривились, а в

глазах — недоумение, грусть и откровенная усталость. — Я не боюсь, Леша, ответственности... И смерти, пожалуй, не испугаюсь... Но другой раз, понимаешь, так не вмоготу становится, что бросил бы все, сорвал офицерские погоны и зашагал рядовым в штрафную роту!.. Честное слово, рядовому во сто раз легче.

— Не понимаю, Михаил Федорович, из-за чего ты так расстраиваешься? Ты абсолютно прав, и я вместе с тобой готов нести ответственность.

— Не в этом дело!.. Я, Лешенька, голову дам на отсечение, что он припишет себе эти танки! Первой бригаде, плавучим батареям отдаст!.. А что, если у армейцев и летчиков такое же начальство? Представляешь, какая сводочка в Москву полетит? Закачаешься!.. А кого обманываем?.. Вранье мне надоело!

— Семеновых единицы...

— Единицы! А картину искажают!.. Да, слушай дальше, — Норкин бросил в консервную банку, заменявшую пепельницу, изжеванный окурочок и продолжал: — Посидели мы с Семеновым еще немного, он и попросил меня дать ему приказ на операцию у Збуричей. Ну, тот, старый. Я, конечно, вызвал секретчика. Семенов прочел приказ и дает мне вместо него вот эту бумажку.

Гридин прочел новый приказ и недоумевающе посмотрел на Норкина. Тот молча протянул ему измятые листы, на которых был напечатан этот же приказ, помеченный тем же числом. Первые части приказов отличались друг от друга только опечатками, но зато дальше творилось что-то невообразимое: время и действия расходились невероятным образом.

— Что это? Почему так? — удивился Гридин.

— Перед тобой приказ и филькина грамота, написанная после боя и по нашим журналам боевых действий. Понятно? Теперь любой поверяющий, взглянув в этот документик, поймет, что все мы только безупречные исполнители воли Семенова. Что он сказал — так и сделано. Все он предусмотрел, ни одной ошибочки! Как по нотам!.. Вот оно, Лешенька, как карьера делается...

Гридин покраснел, насупился и сказал, глядя на палубу:

— В этом вопросе я не могу согласиться с вами. Так, Михаил Федорович, карьеру не сделаешь!

— А он сделает.

— Не выйдет!

— Кто ему помешает? Не ты ли?

— А хотя бы и так!

Они в упор посмотрели друг на друга. И Норкин сдался первым: в глазах, в голосе и в выражении лица Гридина была та уверенность, которая свойственна только людям, чувствующим за собой большую правду.

— И вы тоже, — продолжал Гридин. — Сегодня мы с вами напишем письмо члену Военного совета. Не поможет — выше писать будем!.. Я и один написать могу, если вы...

— А вы, товарищ старший лейтенант, говорите, но не заговаривайтесь! — оборвал его Норкин.

Гридину стало стыдно за свои необдуманные слова, но сказать об этом комдиву неудобно: еще подумает, что испугался его гнева.

— Как раны, Леша? — первым нарушает молчание Норкин.

— Зудят только, — улыбается Гридин, довольный, что все в порядке и не нужно ни извиняться, ни оправдываться.

— Температуру измерял?

— Понимаешь...

— Не измерял, — делает вывод Норкин. — Очень прошу тебя, Леша, понаблюдай за ранеными, что на катерах остались. Мы с тобой за них перед всеми в ответе. А я, видно, не скоро избавлюсь от этих склочных дел... Выйдем на палубу?

Катера уже опять пошли вперед. Прохладный встречный ветер освежает кожу, несет с полей запахи цветов. Огромной извивающейся змеей петляет Березина по Белоруссии. Излучины порой так велики, концы их так близко подходят друг к другу, что человек, идущий к цели напрямик, может спокойно обогнать самый быстроходный катер.

На несколько километров растянулся дивизион. Куда ни помотришь — везде мелькает белый военно-морской флаг с голубой полоской и красной звездочкой.

Артиллерия гремела уже не так неистово, как вчера. Кругом было тихо. По-мирному тихо. Лишь изредка проносились над катерами патрульные истребители; основные пути наступающей советской пехоты пролегли в стороне от реки.

— Расскажи, Леша, как это тебе удалось заполнить ту баржонку со снарядами, — попросил Норкин, расстегивая китель.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло! — засмеялся Гридин. — Понимаешь, прихожу туда, думаю, что каждый снаряд выклянчивать придется, а начальник боепитания встретил меня как спасителя: «Будь другом, выручи!» — «А в чем дело?» — спрашиваю. Оказывается, Михаил Федорович, у него баржа на берегу обсохла! Чуешь, откуда ветер дует? Мы вперед движемся, а боезапас на берегу обсох!.. Начбоепит — человек умный оказался: понял, что пулей пахнет, и отдал баржу мне.

— Товарищ капитан-лейтенант, полуглиссер под флагом командира группы подходит, — доложил Ястребков, появляясь из рубки.

Норкин и Гридин переглянулись. Что еще надумал Семенов?

— Я с вами останусь, — сказал Гридин.

Семенов небрежно козырнул на приветствие офицеров и крикнул:

— Подойти к берегу! Пока мы с тобой калякаем, пусть матросы поразомнутся!

Катера подошли к берегу, заглушили моторы. Воздух сразу наполнился стрекотанием кузнечиков и пересвистом птиц в ивняке, плотной стеной опоясавшем берег. Белый ковер ромашек чуть колыхался под порывами легкого ветерка.

Не выходя из полуглиссера и развалившись на сиденье, Семенов начал:

— Обстановочка, значит, такова: немца бьем в хвост и гриву. Бежит так, что догнать не можем.

Обыкновенная фраза, но столько тайного смысла вложено в слово «бьем», что каждый должен был понять, чья в этом главная заслуга.

— Твой дивизион сейчас разделим. Бронекатера пусть идут вперед до соприкосновения с противником. А тральщики направь в район Стасевка—Половец. Совместно с кораблями первой бригады они будут переправлять через Березину армию. Целую армию! Чуешь?

Вот это да! Целую армию перебросить через реку!

Нет, тогда Норкин еще не знал, что переправа этой армии и станет главной исторической заслугой Днепровской флотилии за время боевых действий на Берези-

не. Тогда ему и в голову не могло прийти, что за двое суток его тральщики совместно с катерами первой бригады смогут переправить на правый берег Березины 66 тысяч солдат и офицеров, 1500 орудий и минометов, 500 автомашин и табун лошадей в 7 тысяч голов, что именно 48-я армия, внезапно появившаяся там, где ее враг никак не ждал, и решит судьбу его Бобруйской группировки. Он тогда понял одно: переправа армии — ответственное задание.

А Семенов торопит:

— Кого над тральщиками старшим поставишь?

Норкин, словно ища ответа, скользнул глазами по катерам, прижавшимся к берегу, по лицам офицеров, наблюдавших за ним издали.

— С бронекатерами старшим Селиванова пошлю, а мы с замполитом будем на тральщиках. Когда переправа наладится, догоню броняшки.

— Выходит, Гридин на тральщиках останется один? — поморщился Семенов.

— Так точно, один.

Гридин, который ловил каждое слово разговора, с благодарностью взглянул на Норкина и сразу потупился.

— А справится? — спросил Семенов. — Что ни говори, а нет у него специального офицерского образования.

— В гражданскую войну, вы сами говорили, многие люди совсем без образования даже полками командовали, — не удержался Норкин от шпильки.

— Что ты меня агитируешь? Наколбасит — тебе отвечать.

Гридин шагнул вперед, и Норкин предостерегающе поднял руку, но в это время кто-то крикнул:

— Немцы!

Норкин метнулся в верхнюю пулеметную башню, оттолкнул пулеметчика, схватился за рукоятки, приготовился к стрельбе и лишь тогда осмотрелся. Десятки пулеметов и пушек были нацелены на ивняк, на ромашковый ковер, по которому, подняв руки, медленно шли десятка четыре немецких солдат.

— Что там? — спросил Семенов уже из рубки.

— В плен сдаются, — пояснил Норкин и тут же предложил: — Для страховки высадим десант?

— Действуй!

Черная полоска автоматчиков опоясала берег.

Немцы охотно выворачивали карманы, помогая обыскивать себя. Норкин понял, что случилось долгожданное: противник убедился в бесполезности сопротивления, сломалась фашистская военная машина!

Семенов с Норкиным сошли на берег. Капитан первого ранга, заложив правую руку за борт кителя, важно вышагивал во главе немногочисленной свиты. Пленные понимали, что их дальнейшая судьба во многом зависит от решения этого большого и строгого начальства, и «ели его глазами». Но Семенов смотрел не на лица немцев, а на их имущество, валявшееся на земле. Здесь были и часы, и бритвы различных марок, зажигалки затейливых форм и фотографии, фотографии. С них на моряков смотрели дородные мужчины и дамы, прилизанные дети и почтенные старцы.

— Майн муттер! Майн фатер! Майн киндер! — охотно поясняли немцы.

Голоса были заискивающие. В них звучала мольба о пощаде.

— Обыскать кусты! — распорядился Семенов, и цепь автоматчиков двинулась вперед.

Скоро пленных стало больше сотни. А сколько кустов еще не прочесано, сколько там еще прячется фашистов?

— Мне кажется, товарищ капитан первого ранга, нам нельзя больше задерживаться, — осторожно напомнил Норкин.

— Ладно, хватит. Только в сводку включи обязательно!.. А теперь отправляй этих на тральщиках. Да скажи своим, чтобы побыстрее возвращались. Нельзя срывать переправу армии!

— Мигом обернемся, товарищ капитан первого ранга, — заверил Мараговский.

— Нет, ты немедленно пойдешь к месту переправы, — осадил его Норкин.

Мараговский с Пестиковым переглянулись.

— Есть идти прямо к переправе, — все же повторил приказание Мараговский и подавил тяжелый вздох.

Луг опустел. Только ромашки, примятые солдатскими сапогами, обрывки фотографий и прочий хлам, безжалостно вываленный из солдатских ранцев, напоминали о том, что еще недавно здесь толпились люди.

Бронекатера полным ходом понеслись за убегающим противником. Тральщики, с каждым километром все больше отставая от них, шли сзади. Глаза устали от блеска воды, рулевым надоело вписывать катера в причудливые изгибы реки, а ей, казалось, конца не было. Несколько раз видели немцев. Они выходили на песчаные отмели, поднимали руки и просили взять их в плен. Катера проходили мимо: зачем терять драгоценное время и распылять силы? Никуда не денутся эти молодчики. Если не солдаты, то местные жители заберут их и доставят куда нужно.

Норкин с тральщиками к месту переправы прибыл точно в назначенное время, а вскоре начали подходить и части армии. Первыми, как и следовало ожидать, появились саперы. Их командир, седой майор с молодыми живыми глазами, деловито расспросил Норкина о грузоподъемности катеров, их осадке, отдал несколько распоряжений своим солдатам, переплыл реку в надувной лодке и исчез на противоположном берегу. В лесу застучали топоры. С треском падали деревья. В воде копошились голые саперы. Они забивали сваи для мостков, укладывали на них настил.

За саперами подошла пехота.

Шла пехота в заляпанных грязью стоптанных сапогах, в выгоревших на солнце гимнастерках, с лихо заломленными пилотками. Шла вольным шагом, шла уверенная в своих силах и уже поэтому непобедимая. Лес наполнился переливами гармошек, вздохами аккордеонов и звуками песен, песен раздольных, победоносных, как сама Русь.

Река готова выплеснуться из берегов от множества тел, разом бросившихся в нее, разом ударивших по ней сильными солдатскими ладонями, способными сжимать винтовку и нежно ласкать лицо любимой.

Но вот раздалась первая команда:

— Рота — становись!

Казалось, что и не найти роты в этом скопище людей, казалось, что не услышат солдаты команды, но она проплыла над рекой, бережно хранимая всеми, — и вот рота уже выстроилась на берегу.

— Справа по два... Марш!

Переправа началась.

Норкин с интересом наблюдал за солдатами, которые по-прежнему подходили к реке. Солдаты не только

шли, но и ехали. Ехали на трофейных лошадях, спины которых были так же широки, как знакомые с детства печи; и на низкорослых русских лошаденках, невзрачных на вид, но способных, потряхивая головой, обойти вокруг земного шара; на трофейных мотоциклах, велосипедах и даже на машинах.

— Расступись, пехота! Стопчу! — озорно орет уса-тый солдат, мешком подпрыгивая на костлявой спине какой-то обозной клячи.

Неизвестный шутник тычет коню под репицу колю-чую веточку, конь взбрыкивает задними ногами, всад-ник шлепается на землю и говорит под одобрителный хохот:

— Ишь, до чего умная скотина: знает, что хозяин прибыл к месту назначения, — сама на землю ссадила!

Внимание Норкина привлек молоденький пехотинец. Сняв сапоги, ремень и гимнастерку, он бегал от одной гармошки к другой. И где бы он ни появлялся — обяза-тельно звучала плясовая. Будь это «русская», «цыга-ночка» или «лезгинка» — одинаково светилось радостью, расплывалось в улыбке лицо солдата, одинаково выби-вали дробь его босые пятки, изопревшие в сапогах.

На берег вышла новенькая зеленая машина. Из нее вылез генерал-майор и, прищурясь, посмотрел на сол-дат. Выслушав рапорт подполковника, он неторопливо подошел к переправе, осмотрел катера и спросил Нор-кина:

— Как считаешь, успеете за ночь всю мою дивизию переправить?

— Успеем, товарищ генерал-майор, — ответил Нор-кин.

Переправить за ночь дивизию — выше всяких норм, но разве можно не переправить таких солдат?

Да солдаты и сами не теряли времени. Вот рота по-дошла к катерам, солдаты разделись, сложили обмунди-рование и оружие на палубы, а сами вплавь перебра-лись на правый берег Березины. Там они быстро оде-лись и тем же свободным шагом двинулись дальше.

— Ты мне только пушки переправь, — говорит гене-рал-майор. — А они поместятся на твои коробочки?

— Мы катера попарно швартовать будем.

— И переправите?

— Через Волгу так переправляли, — не скрывает обиды Норкин.

— Верно, верно, — поспешно соглашается генерал, протягивает на прощанье руку и спешит на плотик, на который солдаты уже втащили его машину.

## 2

Волков, навалившись грудью на маленький штурманский столик, стоял в рубке. Казалось, он был поглощен наблюдением за рекой, за ее причудливыми изгибами. На самом же деле Волков не видел ни самой реки, ни деревьев, стоявших по берегам, ни верениц самолетов, летевших на запад. Не искал он в зарослях и противника. Перед его глазами все еще стоял Курочкин. Застенчивый, чистенький, краснеющий по всякому поводу. Волков как бы вновь видел его рядом с собой, вновь слышал его тихий голос, вновь читал запись в журнале, сделанную его ослабевшей рукой.

И что хуже всего — Волков не мог отделаться от чувства вины перед Курочкиным. Ну зачем нужно было постоянно задира́ть, высмеивать его? Волков не плакал ни во время похорон Курочкина, ни после, готовя его вещи к отправке родным. Но зато он перестал зубоскалить, спрятал под фуражку чуб, забросил в рундук грязный китель, сапоги и неглаженные брюки. Даже ругань, которую считал обязательной для настоящего катерника, все реже срывалась с его языка.

Разумеется, все заметили эту внешнюю перемену. Многие верили в нее, но были и такие, которые считали ее временной блажью и только гадали, когда же она надоест Волкову. И никто не знал, что у Волкова теперь появился свой герой — Курочкин, который затмил всех книжных героев. И сейчас Волков мечтал о бое, страшном, свирепом бое, когда всё будет висеть на волоске и он ценою своей жизни спасет положение. Тогда про него скажут: «Он был как Курочкин!»

Но пока ничего особенного не случалось: бронекатера гнались за врагом, изредка становились на огневую позицию, посылали черт знает куда по нескольку снарядов и снова шли вперед, чтобы немного погодя опять приткнуться к берегу.

Все это не то, не то...

— Катера подходят к берегу, товарищ лейтенант, — который раз за сегодняшний день доложил рулевой.

— Вижу, — ответил Волков и вздохнул: опять стрельба «из кривого ружья»!

Едва катер сбавил ход, как на палубе появился Селиванов. Пальцами, кончики которых выглядывали из-под грязных бинтов, он открыл дверь рубки и спросил:

— Почему не докладываешь?

— Еще сам ничего не знаю. Подошли к берегу, и все.

Селиванов захлопнул дверь рубки и уселся около башни на стул-раскладушку. Паршивое, поганое настроение. Половину отряда как корова языком слизнула!.. Конечно, война без жертв не бывает. Однако не виноват ли он, Селиванов, в том, что их так много?

Невольно вспомнились рассказы фронтовиков о переживаниях после того, как убили своего первого врага. Чего тут только не было! Селиванов многих врагов убил. И в рукопашном, и из винтовки. Никогда убитые не снились ему, никогда не мешали жить. А тут... Перед каждым человеком Селиванов в ответе за тех людей, которых потерял в бою.

Все это лишило сна, аппетита, спокойствия.

Конечно, можно бы облегчить душу откровенной беседой, но с кем? С Мишкой? Он поймет, подскажет. Только нельзя к нему сейчас: у него и с Семеновым хлопот по горло. С другими офицерами — смысла нет: не поймет тот, кто сам не распоряжался человеческими жизнями, не отдавал приказ идти играть в пятнашки со смертью. Вот если бы здесь была Натка... Он скучал о ней не только как о любимой женщине, но и как о хорошем друге, способном рассеять все сомнения. На ее фотокарточку смотрел он часами, закрывшись в каюте.

Но Натка далеко, а сомнения рядом...

— Командиров отрядов — к комдиву! — пронеслось по цепочке катеров.

Селиванов на мгновение оживился и сразу же опять нахмурился: он командир не отряда, а лишь двух катеров. Растерял он свой отряд...

К катеру Норкина Селиванов подошел последним и сел в сторонке. Норкин мельком взглянул на него. Осунулся Ленчик. Лоб изрезали морщины. Пообмякли щеки. В черных кольцах волос заметна первая седина. Во всем облике — страшная усталость. Захотелось подойти к нему, обнять по-дружески, но... не время сейчас для нежностей!

— По сведениям воздушной разведки, противника прижали к реке, — сказал Норкин, рисуя красным карандашом на карте подкову, опирающуюся на полосу Березины. — Нам приказано контролировать реку, исключить возможность переправы противника на правый берег... Два отряда пойдут в этот район, а остальные останутся здесь и помогут переправиться еще одному полку 48-й армии.

На лицах командиров отрядов катеров разочарование: опять кому-то торчать в тылу, заниматься очень нужными, но и нудными перевозками.

— Здесь я останусь, — продолжал Норкин, стараясь хоть этим приободрить офицеров и в то же время подчеркнуть, что контроль реки — дело менее сложное. — Контролировать реку будут отряды Ястребкова и...

Ястребков улыбнулся и подмигнул всем сразу. Он доволен.

Кого послать еще?.. Пожалуй, Селиванова. Он тащится за дивизионом, как побитая собака за хозяином. Считает себя виноватым, даже обузой для остальных. Надо подбодрить его.

— ...и отряд Селиванова, — уверенно закончил Норкин. — Исполняйте!

Еще издали, только увидев бегущего Селиванова, Волков понял, что они идут дальше, и крикнул:

— По местам стоять, со швартовых сниматься!

Катера Селиванова снялись первыми и пошли к далекому Бобруйску. Берега реки были безлюдны. Но зато воздух дрожал от грохота: гремела артиллерия, рвались бомбы, над головами гудели десятки бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей.

— Доколачивают фашистов, — сказал Волков.

Справа пикировщики «катались с горки». Скатился один, сбросил бомбы, и земля, казалось, была готова расколоться от взрывов. А за первым уже несутся второй, третий...

И вдруг за поворотом мелькнула лодка. Селиванов и Волков прильнули к смотровой щели. Сомнений быть не могло: на лодках, понтонах и просто вплавь фашисты старались удрать из готовившегося для них мешка.

— Огонь! — крикнул Селиванов.

И катер вздрогнул от оружейного залпа. И тотчас пламя сверкнуло в одной из лодок, а сама она нелепо подпрыгнула и упала в воду грудой обломков.

Залпы гремели беспрерывно. Казалось просто чудом, что пулеметы не захлебывались в скороговорке. А шесть бронекатеров носились по реке, подминая под себя лодки, дробя форштевнями понтоны. Вот катер Ястребкова влетел в самую гущу плывущих немцев и завертелся там. Одна за другой скрываются в воде человеческие головы: многих утянули вниз водовороты, раскрученные винтами, а еще больше пострадало от ударов о бронированные борта катеров.

Чиста поверхность реки. Даже пузыри перестали подниматься с ее дна. Бронекатера торопливо посылают в лес фугасные снаряды, прочесывают кусты и подлесок бесконечными пулеметными очередями. Валяются деревья, вырванные с корнем, падают на землю ветви, срезанные пулями. А над рекой повисают десятки штурмовиков. Селиванов слышит в наушниках голос незнакомого летчика:

— Отойди, браток, отойди! Сыпану!..

Бронекатера торопливо покидают место побойща, где уже грохочут «катюши», где штурмовики уже прочесывают берега пулеметными очередями.

Волков достал папиросу, хлопнул руками себя по карманам и спросил у Селиванова:

— У вас спички есть?

— В каюте.

— Пойду прикурю на камбузе.

Селиванов кивком отпускает его. Волков неторопливо идет на корму катера, где около маленькой печурки копошится кок.

Есть у нас песни о рулевых, комендорах, минерах, сигнальщиках. Даже каторжный труд кочегаров увечен. Но обошли поэты вниманием коков. А если и вспоминают о них, то лишь в шутовском тоне, порой же — и не скрывая иронии: дескать, тоже мне, боевая специальность! Так вот, около маленькой печурки копошился настоящий морской кок, а не тот, которого берут напрокат зубоскалы. Сегодня он встал задолго до подъема, наколот чурок, да так, чтобы ненароком не разбудить товарищей, затопил печурку и приготовил завтрак. Потом, когда зазвучал колокол громкого боя, кок, чертыхаясь, быстренько убрал немудреную посуду, прикрыл продукты и стал подавать снаряды. Он наравне со всеми подвергался опасности. От его быстроты и точности подачи снарядов зависела стрельба комендоров. И если вы

представляете их к награде за предельную скорострельность и меткость, — не забудьте и кока.

А теперь, когда все наслаждались заслуженным отдыхом, кок, отскоблив с рук оружейное масло, взялся за приготовление обеда. Да не такого, о котором говорят: «Сойдет! Проголодались — сожрут и топор!» Нет, кок священнодействовал у печурки, пытался приготовить что-то новое и вкусное из набившей оскомину перловки.

Волков, сунув в огонь чурку, подождал, пока по ней не забегали дрожащие языки пламени, потом достал ее и с наслаждением прикурил. Уходить не хотелось: после недавних волнений душа просила покоя, тишины. И языки пламени, мечущиеся в печурке, и дымок, чуть заметной струйкой вьющийся из трубы, и запах разопревшей каши — все это напоминало родной дом.

И вдруг в этот покой ворвался крик пулеметчика:

— Фашисты! Прямо по курсу!

Волков вскочил, забыв бросить чурку, которую держал в руках. На обрывистом мысочке, почти у самой кромки его, стояла пушка. Около нее замер расчет. Волков бросился к носовой башне и крикнул, открывая ее люк:

— Не видишь?! Огонь!!!

— Снарядов нет, — устало и как-то безразлично ответил комендор.

Тоже правда. Погорячились в бою, все выпустили...

Волков медленно выпрямился и посмотрел на пушку. Вот она, проклятая! Стоит и не шелохнется, уставившись на катер немигающим зрачком своего ствола. Немцы, видимо, догадались, что катер беззащитен, и умышленно подпускают его к себе на верный выстрел.

Волков посмотрел кругом. Лес, обыкновенный лес, мимо которого шли все эти дни. А впереди — река, река узкая, мелкая. Здесь не вильнешь в сторону. Да и поздно: стоит катеру начать поворот — беспощадный снаряд вопьется ему в борт, разорвет его. Осталось одно — ждать, терпеливо ждать развязки.

Но кто может оставаться равнодушным в такой момент? Вот и Волков, взбешенный своим бессилием, злобно выругался и швырнул в немецких артиллеристов чурку, которую все еще машинально сжимал в руке. Она, кувыркаясь, полетела к берегу и упала около пушки. И тут случилось то, о чем Волков вовсе не мечтал: фашисты попадали на землю, стараясь вжаться в нее. Не-

сколько ничтожных секунд, на которые люди часто не обращают внимания, сослужили свою службу: катер, чиркнув днищем по песку, юркнул за мысок -- и запоздалый снаряд прогудел где-то за кормой.

Еще не успели прийти в себя от неожиданного спасения, а сзади уже раздались несколько оружейных выстрелов, и все стихло. Скоро появились катера Ястребкова. Их пушки, казалось, задорно поглядывали на лес.

Прошли минуты первой радости, прекратились разговоры о том, как лейтенант «оглушил» фашистов чуркой. Волкова хвалили, превозносили его находчивость, приписывали ему такие мысли, каких у него отродясь не было. А он угрюмо сидел на берегу в тени деревьев и слушал, как Норкин распекал Селиванова.

— Значит, мстью увлеклись? — говорил Норкин, не скрывая злости и издевки. — Мсть — дело хорошее. Но только тогда, когда мстит умный человек! А мсть дурака — ему же самому боком выходит!.. Говори еще спасибо, что я послал тебя в паре с Ястребковым. И Наталье скажи, чтобы молилась за его здоровье!

— Понимаешь...

— Давно все понял!.. Честное слово, еще один такой ляпсус — спишу тебя на базу к Чернышеву. Хотя такого и туда нельзя: за один день все имущество разбазаришь!

Долго отчитывал комдив Селиванова. Его слова били и по Волкову: ведь это он командир катера, ведь это он в первую очередь был обязан заботиться о его боеспособности.

— Сейчас принимай снаряды и догоняй нас, — закончил Норкин уже сравнительно миролюбиво. — И помни, что такие ошибки один раз счастливо с рук сходят!

Майор Козлов, вытянувшись перед зеркалом, пегим от времени, осмотрел себя, собрал за спину складки гимнастерки, плотнее надвинул пилотку и решительно зашагал к штабу бригады. Его батальон после прорыва фронта у Збуричей был передан бригаде Голованова. Борис Евграфович был зол на себя, а еще больше — на начальство, играющее батальоном, как жонглер шариком. Кажется, чего лучше: прорвали фронт, плохо ли, хорошо ли — сработались с Норкиным. Теперь бы только и преследовать, добивать противника. Так ведь нет! В самый горячий момент повернули батальон на При-

пять, вот и иди представляться новому начальству. Слово на войне и делать больше нечего.

А на себя Козлов злился за то, что по-прежнему волновался перед встречей с новым своим начальством. В такие моменты все сразу на него наваливалось: боязнь, что лично он может не понравиться, что начальство пренебрежительно посмотрит на какой-то батальоншко (хотя он и полнокровнее иного фронтового полка). Но больше всего страшило — вдруг отстранят от командования? Теперь не сорок первый год, много командиров, окончивших академию, в действующие части прибывает, и долго ли в резерве оказаться? Таких майоров, как он, Козлов, за годы войны много расплодилось. Правда, у него кое-какой боевой опыт накопился, но разве это учтут, если вопрос станет принципиально? Другой раз личная симпатия начальства больше всего значит.

О своем новом начальстве Козлов ничего не знал, если не брать во внимание прощального напутствия Семенова:

— Езжай, голубчик, езжай! Там сто раз меня с благодарностью вспомнишь!

Трудно верить, что есть еще подобный человек, после знакомства с которым будешь вспоминать Семенова добрым словом.

Командира бригады Козлов нашел в просторной палатке, раскинутой среди сосен на высоком холме. Здесь все было подчеркнуто мирно: и дорожки, посыпанные чистым речным песком, и часовые, прохаживающиеся на границе этого своеобразного лагеря, и, главное, — отсутствие людей, болтающихся без дела. Чувствовалось, что каждый знает свое место, свое дело и не слоняется сонной мухой в ожидании очередной кормежки или случайного приказа.

Дежурный офицер ввел Козлова в палатку. Там за настоящим письменным столом сидел адмирал.казалось, у него на голове парик: до того белы были его волосы. Адмирал стоя выслушал рапорт Козлова и сказал, протягивая через стол руку:

— Голованов... Садитесь и давайте поболтаем...

И на Козлова посыпались вопросы, которые, на первый взгляд, были только для того и заданы, чтобы «поболтать». Голованов спрашивал о том, как дошли, много ли отставших, какая погода стояла на Березине, когда

читали последнюю сводку Совинформбюро. Только позднее Козлов понял, чего адмирал хотел и что он добился своего: Борис Евграфович освоился с обстановкой, разговаривался, увидел в адмирале не только начальника, но и человека.

«Наблюдателен, не пустомеля», — такой вывод следовал уже Голованов.

В самый разгар беседы полы палатки раздвинулись, на землю легла солнечная полоска и исчезла. Козлов почувствовал на своем затылке чей-то упорный взгляд. Но адмирал продолжал засыпать вопросами, и оглянуться не было возможности.

Вдруг две руки, как в детстве, обхватили его голову. Козлов рванулся и, чувствуя, что краснеет, взглянул на Голованова. Тот усмехался одними глазами.

— Никогда не думал, что у тебя в армии столько друзей, — сказал адмирал немного погодя.

— Пока только он, — ответил неизвестный. Голос его казался знакомым. Козлов попытался вспомнить, вырвать из хора других голосов, возникших в памяти, и не мог.

— Да отпусти ты его! Он так вертится, что вот-вот уши у тебя в руках оставит! — наконец засмеялся Голованов.

Руки разжались. Козлов оглянулся.

— Комиссар! Товарищ Ясенев!

— Институт комиссаров упразднен! — смеясь, поправил Ясенев, но было ясно, что ему приятно слышать свое старое звание.

— Из души его никаким решением не упразднишь!

— Мне выйти или остаться? — спросил Голованов, делая вид, будто тянется за фуражкой.

Больше часа длилась беседа, а Козлов ни разу не вспомнил о Семенове с благодарностью.

— Значит, мы с тобой так договоримся: сегодня на открытом партийном собрании ты всем подробно расскажешь о боях у Збуричей? — подвел итог Ясенев.

Козлов не успел ответить, а Голованов уже подкинул вопрос:

— Пьете, майор?

Козлов сначала растерялся от неожиданности, потом немного справился с волнением и решил отделаться шуткой:

— Воробей, говорят...

— Все ясно, — остановил его Голованов. — До собрания будешь у меня в палатке под домашним арестом.

Теперь уже и Ясенев с удивлением посмотрел на адмирала. Что за неуместная шутка? Человек только прибыл, осваивается и может понять ее превратно.

— Не понимаешь? — усмехнулся Голованов. — Пока вы разговаривали, я несколько раз слышал голос Чернышева. Он так и кружит около палатки. Теперь ясно? Поймает майора, уведет к себе и с помощью катерников так накачает, что к собранию он и не проспится.

Ясенев откинулся на спинку стула и захохотал:

— Это точно!.. Да и госпиталь, наверное, во втором эшелоне не останется!

Так и не побывав у себя в батальоне Козлов до собрания, которое началось в вечерних сумерках и кончилось около полуночи. Борис Евграфович с интересом рассматривал собравшихся, прислушивался к выступлениям. Ему понравилось и то, как свободно выступали коммунисты с критикой, и как Ясенев с Головановым давали справки. В этом откровенном разговоре участвовали не только начальники и подчиненные, а равные перед партией товарищи. Только у одних было больше жизненного опыта, знаний, и к мнению их прислушивались особенно внимательно.

Едва Ясенев сказал, что слово дает майору Козлову, как зашумел лесок, люди зашевелились, устраиваясь поудобнее, и замерли. «Дружная бригада — как пальцы одной руки», — отметил Козлов и начал рассказ. В лесу было темно. Отблески небольшого костра, за которым стоял Козлов, освещали только нескольких человек. Все они были незнакомы Козлову, и лишь майор интендантской службы привлек его внимание. Он протискался сюда уже после того, как Борис Евграфович начал говорить, зашикал на матросов, заворчавших на него, и уселся на самом виду. Он внимательно выслушал все и лишь после этого спросил:

— А в чем особенно нуждаются катера? Я имею в виду снабжение.

— Вроде бы не жаловались, — уклончиво ответил Козлов, которому как-то и в голову не пришло поинтересоваться этим вопросом: Норкин командует — его голове и болеть.

И тут собравшиеся зашумели:

— Так он и будет жаловаться!

— Не на таковских напали!

— Кого комдив больше всех кроет, тот и виноват!

— Это и есть Чернышев, — шепнул Ясенев, показав глазами на майора интендантской службы. — Ишь, как уставился на тебя... Чую, до утра к себе в батальон не попадешь.

Чернышев в это время что-то говорил одному из матросов. И хотя тот кивал головой, майор интендантской службы в заключение погрозил кулаком. До Козлова долетел только обрывок фразы:

— ...как для лучшего друга...

Ясенев закрыл собрание, и сразу кто-то взял Козлова за локоть. Это был, конечно, Чернышев.

— Зайдем ко мне на базу, товарищ майор? Тут две особы страстно желают побеседовать с вами, — предложил он и показал глазами в сторону.

Козлов посмотрел туда и увидел двух женщин.

— Кто такие? — спросил он.

— Одна — жена Селиванова, а другая... Норкинским интересуется.

— Норкин разве женат?

— Не так чтобы официально, — вильнул в сторону Чернышев. — Пойдем, а? Ночью и Чигарев должен подойти с катерами. Знаешь его? Он теперь человек семейный. Да ты, наверное, и жену его знаешь? Ковалевская. Врачом была в ополчении под Ленинградом. Пришла к нам девчонка девчонкой, а теперь такая дама, глянешь — посторонишься!.. Так пойдем?

Предложение было заманчиво: хотелось и поговорить о Норкине, и познакомиться с его новыми друзьями, да и самому повидать старых знакомых. Но не случайно Голованов и Ясенев, правда, в шуточной форме, намекали на то, что он до утра в свою часть не попадет. Пренебрегать таким предостережением не стоит: на первых шагах споткнешься — долго замаливать вину придется. И Козлов решился:

— Не могу, товарищ майор.

— Просто — Василий Никитич. А тебя?

— Борис Евграфович, — машинально ответил Козлов.

— Как так не можешь? Да мне комдив голову отвернет, если узнает, что его дружка не угостил!

— Спасая свою голову и приглашаешь? — съехидничал Козлов.

— Да разве ее спасешь? С этой стороны солому стелешь, а тебя в другой угол бросают... Зайдем, а? Всем хочется про своих послушать.

— Ведь сейчас рассказывал. Повторить, что ли?

— Э-э, пустое! — перебил его Чернышев и махнул рукой. — Я, наверное, побольше твоего прослужил и знаю, что не обо всем на собрании рассказывают! Демократия демократней, но язык в армии не распускай. Особенно по части взаимоотношений с начальством... Ну, на часок заскочи?

— Честное слово, не могу. Ведь я еще с утра в своей части не был.

С лица Чернышева сразу слетела напускная слащавая улыбка, и он не стал настаивать. Козлов правильно понял эту перемену: здесь делами службы не пренебрегают, манкировать никому не позволено.

— А завтра? — только и спросил Чернышев.

— Обстановка не изменится — зайду.

### 3

Шел шестой день наступления Белорусских фронтов. Остались позади укрепленные полосы врага. Больше половины своей боевой техники растеряли фашисты на дорогах. Замкнулось кольцо вокруг их войск, но они еще сопротивлялись, еще тешили себя надеждой на возможность спасения. Одна такая группировка, зажата на левом берегу Березины, уже кончила свое существование: сначала самолеты и танки, а потом пехота сломили ее сопротивление, и первые десятки тысяч пленных потянулись на сборные пункты. Но вторая группировка, засевшая в окрестностях Бобруйска, еще сопротивлялась, бросалась в атаки, надеясь пробиться. Отчасти ей это удалось: несколько тысяч фашистских солдат прорвались севернее города, но их загнали в леса, где они и нашли бесславный конец. Последние минуты жила и сама Бобруйская группировка.

Бронекатера все эти дни преследовали убегающего противника, помогали своим полкам и дивизиям переправляться через реку. Ни люди, ни моторы не знали минуты покоя, но жертв не было. Смерть, собрав дань с катеров под Збуричами и Гаричами, словно насытилась.

Вечером 28 июня бронекатера подошли к Бобруйску. Черное небо прорезали трассирующие пули и снаряды. Отблески пожаров золотили воду. И справа, и слева, и сзади гремела невидимая артиллерия. Норкин сошел на берег, бросил на землю реглан, растянулся на нем и сказал, закинув руки за голову:

— Так бы и проспал суток двое... Все косточки болят.

Рядом с ним разлеглись Селиванов, Ястребков, Латенко и Баташов. Они тоже мечтали об отдыхе: за все эти дни не раздевались ни разу, пистолет натер бедро, ноги все еще гудели, чувствовали под собой дрожание палубы, а главное — хотелось спать, спать, спать. Не урывками минут по двадцать, да еще скорчившись около штурвала, а спать долго, спать, вольно разметавшись.

— Все-таки до армейцев дойти надо, — сказал Селиванов, устраняясь поудобнее.

— Следует, — согласился Норкин и замолчал. Конечно, напомнить о себе нужно, следует и задание попросить, но как хорошо лежать вот так и ни о чем не думать...

— Позвольте, я схожу, товарищ капитан-лейтенант? — сказал Волков откуда-то из темноты.

— И верно, пусть ходит, — поддержал его Селиванов.

— У него ноги молодые, — откликнулся Ястребков и облегченно вздохнул: из командиров отрядов он был самым молодым, и не предложи Волков своих услуг — быть бы ему гонцом.

— Ладно, иди, Волков, — согласился Норкин. — Все ясно?

— Чего яснее, товарищ комдив? Приду и доложу, что мы прибыли, просим указать цели.

— Точно... И быстро возвращайся. И автоматчиков для охраны прихвати!

Где-то поскрипывали колеса повозок, пофыркивали лошади. Это подтягивались обозы, которые наконец-то догнали свои части, значительно опередившие их в марше по бездорожью. Временами слышался человеческий говор, неторопливый, степенный, хозяйственный: солдат уверен, что поспеет ко времени.

Начальник артиллерии обосновался в маленьком домике, чудом уцелевшем в огненной буре, пронесшейся здесь недавно. Сюда тянулись многочисленные нити

проводов, сюда стекались связанные, здесь, в кустах, трещали движки радиостанций. Дверь домика неторопливо хлопала, пропуская спешащих офицеров. Вместе с другими вошел и Волков. Скучный свет керосиновой лампы был неспособен пробиться через плотную завесу мажорного дыма, который не успевал выходить в распахнутое окно. Вокруг стола толпились офицеры. Среди них терялся, становился незаметным полковник — начальник артиллерии. Его, втиснутого в передний угол, Волков еле увидел из-за широкоплечего танкиста. Только по знакомому седому хохолку Волков и узнал полковника, бесцеремонно растолкал офицеров, отстранил плечом танкиста, оказавшегося тоже полковником, и пролез к столу.

На мгновение все разговоры стихли, а танкист, хотя это и казалось невозможным, даже подался в сторону. Полковник посмотрел на Волкова, пожевал тонкими губами и спросил:

— У вас все в порядке?

— Так точно, в порядке.

— А начальство живо-здорово?

— Комдив остался с катерами, готовится к стрельбе, — свои слова Волков не считал ложью, за которую можно и даже нужно наказывать, которая является самым страшным недостатком офицера: он соврал, спасая покой комдива. Почему полковник спрашивает о начальстве? Недоволен, что Норкин не пришел сам? Ну и глупо: комдив не мальчишка, чтобы быть на побегушках! Он даже обязан отдыхать. Небось полковник-то спит в машине? А Норкину когда? Минутки свободной нет. А кроме того, и отдых у него сейчас особенный: небось лежит на земле и рассказывает офицерам особенности тактики катеров в речных боях. Разве это не подготовка к стрельбе, к новым боям?

— Вот это напрасно, — покачал головой полковник, — отдыхать надо.

Волков удивился: как так отдыхать? Тут вон какая горячка, и об отдыхе речи быть не может. Или смеется полковник?

Начальник артиллерии заметил нахмуренное лицо лейтенанта, усмехнулся добродушно и сказал неожиданное просто:

— У всех косточки отдыха просят. Пусть отдыхают морячки. Поработали, спасибо. Представление о вас

сделаем Верховному. Может, и благодарность от него получите, а теперь — отдыхать.

— Но у нас, товарищ полковник, пушки.

— Знаю, что не рогатки. — Полковник нахмурился, его начала раздражать настойчивость лейтенанта. — Если бы у вас были не пушки, ты не ко мне и явился бы.

— У нас много пушек... и «катюши», — пробормотал растерявшийся Волков. У него никак не укладывалось в голове, что можно отказаться от помощи катерных артиллеристов. Разве армейцы так стреляют?

— А сколько их у вас, пушек-то? — хитро прищурился полковник.

Волков назвал цифру, услышав которую, в сорок первом году обрадовался бы любой командир даже корпуса.

— Подожди десять минут, — неожиданно предложил полковник, посмотрев на ручные часы. — Потом продолжим разговор.

Десять минут, казалось, тянулись бесконечно. Но вот полковник еще раз взглянул на часы, встал, вышел из переднего угла и сказал:

— Пошли.

На крыльце остановились. Слабый ветерок чуть доносил запах гари. На фронте вроде бы стало тише. Полковник присел на ступеньку крыльца, показал Волкову место рядом с собой и сказал:

— Благодать-то какая! Сейчас бы с удочкой посидеть...

Волков промолчал. Да и что он мог сказать на это? Конечно, хорошо посидеть и с удочкой, но сейчас ли говорить об этом?

— Самое хорошее время для рыбалки, — продолжал полковник таким тоном, словно только рыбалка его и интересовала. — Ночи короткие, теплые...

И тут где-то слева яркая вспышка озарила небо, ослепила кособокий месяц, приподнявшийся над лесом, а вслед за ней раздался грохот. Он покатился дальше, усиливаясь с каждой секундой. Полковник немного посидел, то ли любуясь работой артиллерии, то ли все еще находясь во власти мечты. Молчал и Волков. Он понял полковника: сейчас у него в руках была такая сила, что пушки гвардейцев могли отдыхать. Наконец полковник поднялся, торопливо сунул Волкову ладонь и сказал уже в дверях:

— Передай Норкину привет от меня и скажи, что еще, может, встретимся.

На катера возвращались не торопясь.

— Ну, значит, пока отвоевались, — сказал Норкин, выслушав доклад Волкова. — Давайте отдохнем, братцы.

И дивизион погрузился в сон, который были бессильны нарушить и залпы артиллерии, и комары, тучами вившиеся над спящими. А Норкин не слышал и того, как утром подошли тральщики, не чувствовал, как матросы осторожно перетащили его под куст: все эти дни нервы были напряжены, но теперь все кончено, и он сразу ослаб, поддался усталости. И эта реакция была настолько сильной, что напрасно Гридин тормозил его, крича в ухо, что получен приказ Верховного Главнокомандующего, в котором всей 1-й бригаде объявлена благодарность, напрасно Селиванов и Ястребков пытались посадить его, напрасно подносили к его рту кружку с самогоном — он спал, спал без сновидений, выключившись из этого мира.

Проснулся от ощущения непривычной тишины. Открыл глаза. Ветви куста почти лежали на его лице. Солнце еле пробивалось сквозь их завесу. Норкин вскочил на ноги и с тревогой осмотрелся. Нет, все на своих местах: и притихший Бобруйск, и катера. Только стрельбы не стало.

С тральщика прыгнул Гридин, подбежал и сказал, вцепившись в его рукав:

— Ну и спите вы, Михаил Федорович! Мы вас будили, будили, потом митинг провели, отсалютовали, а вы все спите! Даже не шевельнулись!

— А что случилось, Лешенька?

— Бобруйск освобожден! Верховный Главнокомандующий нам всем благодарность объявил!

— Врешь?!

Нет, Гридин не врал. Это Норкин понял сразу, как только увидел бегущих к нему офицеров и матросов. Они смеялись, кричали что-то. Селиванов, подбежавший первым, облапил Норкина, и тотчас несколько рук стиснули его ноги, приподняли над землей, и вот он, придерживая рукой кобуру, уже взлетел над кустами.

— Стой! Стой, стрелять буду! — кричит Мараговский.

Норкина, наконец, поставили на землю. Мараговский не идет, а выступает. В руках у него диск от ручного пу-

лемета, покрытый петухастым полотенцем. На нем кружка и кусок ржаного хлеба, посыпанный солью. Мараговский кланяется и говорит:

— Просим откусить нашей хлеб-соли во здравие всего гвардейского дивизиона!

Норкин смотрит на товарищей, на внушительную кружку, бесшабашно срывает с головы фуражку, бросает ее на землю и берется за кружку: нельзя не выпить в такой день!

После полудня на берегах Березины стали появляться пленные. Они шли сюда в одиночку и целыми подразделениями, под конвоем и самостоятельно. Шли поникшие, с опаской поглядывая на пушки катеров и на матросов и солдат, стирающих свое белье и просто блаженствующих в прохладных струях реки. Не верили фашисты в свое спасение: слишком много числилось за ними тяжелых грехов. Но кругом все было спокойно, ничто и никто не угрожал их жизни, и они, постепенно успокоившись, начали присматриваться к этим непонятным солдатам, столь страшным в бою и таким миролюбивым, добродушным сейчас.

Одна группа пленных расположилась вблизи тральщика Мараговского. Какой-то немец до того осмелел, что подошел к самому катеру и попросил прикурить, выразительно пощелкав зажигалкой-пистолетом.

— На, сатана, — буркнул Пестиков, протягивая ему свое кресало.

Рассыпая искры, немец поджег фитиль, прикурил от него сигаретку и сказал, возвращая «катушу»:

— Благодарю. Может быть, закурите?

Пестиков знал очень мало немецких слов, да и то большинство их предназначалось не для печати или мирного разговора с пленными. Однако он понял, что его благодарят; и протянутая пачка сигарет подтверждала это.

— Держи при себе свою траву, — проворчал Пестиков, отстраняя рукой пачку.

В это время на палубу вышел Мараговский.

— Жалеешь? — усмехнувшись, спросил он.

— Не душить же, — огрызнулся Пестиков и отошел к пулемету. Он сейчас не понимал себя. Что-то неладное творилось у него в душе. Ведь ненавидит же он фашистов! А вот сейчас вышли эти из леса, и нет у него

желания раздавить их. Пустота в душе какая-то, и не знаешь, чего хочется.

— Ты на меня не злись, — говорит Мараговский, присаживаясь рядом на коробку из-под пулеметных лент. — Думал, что дорвусь до них — кровью умоюсь...

Хрустят пальцы Мараговского. В глазах растерянность, тоска.

— Мараговский! Даниил! — крикнул кто-то из толпы пленных.

Мараговский вздрогнул, посмотрел на берег, прыгнул с катера и крадущейся походкой направился к группе пленных. Пестиков схватил автомат и догнал его.

Человек в немецком обмундировании — в нескольких шагах. У него хорошее русское лицо. Даже россыпь веснушек хорошая, русская. Но в глазах его застыл животный страх. Голос уже не радостный, а дрожащий:

— Мараговский... Мы же рядом жили...

Пестикову противно смотреть на его прыгающие губы, и он повернулся к пленным. Они перешептывались, жались друг к другу.

— Узнаю, — прохрипел Мараговский. — Хоть форма на тебе и чужая, но морда твоя мне знакома... Иудин.

— Юдин я...

— Расскажи, сосед, с какого ты года на фронте, в каких боях за Родину прославился? — спрашивал Мараговский, с недоброй усмешкой глядя на Юдина. — Может, ты дружков моих положил? Под Збуричами? Под Гаричами?.. Говори, говори, соседушка. Что приумолк? Говоришь, обрадовался встрече? Защиты ищешь? — голос Мараговского зазвенел и оборвался. Нервный тик обезобразил, перекошил лицо. Мараговский рванул кобуру и выстрелил, почти не целясь. Голова предателя, казалось, раскололась, а сам он, будто его ударили под коленки, рухнул на землю.

— А ну, соседи, выходи! — крикнул Мараговский, шагая на толпу пленных. — Выходи, соседушки! Всех возьму под свою защиту! Негоже вам быть вместе с фашистами, негоже!

Пистолетный выстрел тромко прозвучал в июньском зное. Встрепенулись вахтенные. Солдаты и матросы, беззаботно плескавшиеся в воде и, казалось, не замечавшие пленных, выскочили на берег, похватали оружие и грозной лавиной покатались на пленных. Еще немного, еще только одно неосторожное слово, даже дыхание, ко-

торое можно истолковать неверно, — и не остановить по-  
боища. Но сюда же бежали и офицеры. Они окружили  
пленных. Гридин подбежал к Мараговскому и властно  
потребовал:

— Отдай пистолет!

Мараговский ошалело посмотрел на него, на писто-  
лет и протянул его Гридину. Лицо Мараговского окосте-  
нело в усмешке. Злые глаза прищурились, смотрят в од-  
ну точку. Он готов перебить всех предателей, а потом  
хоть под трибунал!..

Зловещая тишина повисла над катерами. На берегу  
сидят коммунисты. Перед ними Мараговский. Он уже  
сказал все: никогда ни одного пленного немца не тронул  
пальцем, а иуду убил и не жалеет об этом. Зубами рвать  
таких будет!

Суровы лица коммунистов. Трудно им говорить. Об-  
винять Мараговского? Что ж, он виноват. Поэтому и  
вызвали сюда. Хоть и паскуду убил, но все же закон  
нарушил. Пятно на всю часть наложил. А с другой сто-  
роны, глянешь на Даньку — душа кровью обливается.  
Мужик всю семью потерял, с первого дня на войне —  
разве выдержишь, когда перед тобой гнида?!. Ну и на-  
жал палец на спусковой крючок...

— Скажи пожалуйста, какая сложная ситуация, —  
пробормотал Жилин и покачал головой.

— Вам дать слово? — обрадовался Гридин.

— Так ведь, товарищ Гридин, вопрос этот, можно  
сказать, как заноза в сердце. И тащить больно, и остав-  
лять нельзя!.. Конечно, поругать надо: не самовольни-  
чай! Передать бы того соответствующим органам — и  
дело в шляпе, а Мараговский — самовольничать!.. А как  
ругать его, если бы и я того застрелил?.. Сложная ситу-  
ация, как в кино.

Никогда так мало и так нескладно не говорил Жи-  
лин, но никто не заметил этого, никто не бросил шутки,  
не прицепился к слову. Молча сидели моряки. Норкин  
кусал стебель травы. Не сказано пока то живое слово,  
после которого по-новому волнуются сердца. А не ска-  
зано оно потому, что не найдено.

— А я так мыслю, что довольно душу выматывать и  
себе, и Мараговскому! Одним подлецом меньше стало, а  
мы дискуссию разводим! Считаю, что такого добра, как

тот подонок, и для органов хватит, безработными не останутся! — высказал свое мнение Ястребков.

— Полностью присоединяюсь к мнению товарища Ястребкова, — вроде бы искренне говорит Латенко, однако Норкин замечает в его чуть раскосых глазах усмешку и настораживается. — Убил человека — начхать! Кругом люди умирают, да еще какие! Верно я говорю, Ястребков? Прекрасные люди умирают!.. Я вообще не понимаю, зачем разводить эту волюнку с пленными? Чего проще — выстроить их на берегу или там в поле, пройтись меж рядов и сразу: одних — домой, других — в землю! Так, Ястребков?

— Ничего подобного я не предлагал, я...

— Но к этому вел!.. Мне тоже наплевать на того гада. Хотя бы и не родился он вовсе!.. Дело к тому идет, что скоро перевалим мы за границу. Там кругом фашисты будут. Я Германию в виду имею. Что получится?.. Глянет Мараговский на семью какого-нибудь ихнего офицера, вспомнит своих — и чирк из автомата! Может так получиться? Запросто!.. Мое последнее слово: комдив по своей линии взыскание наложит, а мы, коммунисты, для первого раза объявляем Мараговскому выговор. За анархизм!

Какое неприятное слово — анархизм! Мараговский морщится, ежится, но оно плотно прилипает к нему, и кажется, даже пахнет от этого слова чем-то затхлым.

Медленно идут катера вниз по Березине. Вчера ночью снялись они из-под Бобруйска и все идут, идут. Матросы на палубах. Они заделывают в бортах пробоины, плетут маты взамен сгоревших, заготавливают чопы, покрывают краской подпалины и свежие заплаты. Радостная песня плывет вместе с катерами, не отстает от них ни на шаг. Да и как не радоваться: операции на Березине окончены, теперь на отдых в Киев!

Торопиться некуда, а бензин дорог, и бронекатера идут на буксире у тральщиков.

Миновали Гаричи. Мост уже восстановлен. Вот и те кусты, из которых стреляли фашистские танки. По зеленому полю разбросаны изуродованные, покрытые копотью бронированные коробки. А где-то здесь же, но под водой, и катер Никифорова...

Ненадолго задержались у братской могилы. Гильзы

интенданты, конечно, уже растащили. Вместо сверкающей позолотой пирамиды — столбик и дощечка с надписью: «Здесь похоронены моряки, павшие смертью храбрых в боях на реке Березине в июне 1944 года». Дерн на холмике завял. Рассыпаны, втоптаны в землю высохшие полевые цветы.

Матросы нарезали нового дерна, вновь убрали могилу. Глухо звучит последний салют. Снаряды рвутся в береговом обрыве. Комья земли падают в Березину, и она морщится, волнуется.

— Радиограмма, товарищ комдив, — говорит радист, протягивая бланк.

Норкин читает короткую строчку: «Немедленно идти Припять распоряжение Голованова Семенов». Ох уж этот Семенов! Даже тут не смог толком ничего сказать! Сам, комдив, принимай решение, торопиться тебе или иди прежним ходом!

А вообще-то эта радиограмма не застала Норкина врасплох, так как еще в штабе Северной группы он узнал, что уже 27 июня на Припяти вступила в бой 2-я бригада кораблей флотилии. Правда, в тот момент, когда Норкин уводил свой дивизион на Березину, она в своем составе только и имела 1-й дивизион бронекатеров (всего четыре катера), 4-й дивизион тральщиков (пять катеров), двенадцать полуглиссеров и в оперативном подчинении плавучую батарею № 1220, 292-й отдельный зенитный дивизион и отряд десантников, которым командовал младший лейтенант Чалый.

Но ведь туда же, на Припять, для усиления, если верить всезнайка-писарям, уже направлена и родная бригада. А вот теперь и 1-я бригада в полном составе, и его дивизион.

Что ж, значит, с сегодняшнего дня наш лозунг: «Дашь Пинск!» — и никаких гвоздей!

Так решил Норкин и приказал катерам идти только полным ходом.

Шипит вода вдоль бортов, а из ночных сумерек наплывают на катера Збуричи. Меньше трех часов и дрались здесь, а, кажется, на всю жизнь запомнили каждый кустик, каждый бугорок. Бревна бонов уже утащили в деревню. На что они пошли? Легли венцом в новый сруб или распилены на дрова? Хотя это и не так важно: лишь бы на пользу человеку, лишь бы на его мирные дела.

— Слушай, Копылов, а почему ты назвал его пустышкой? — вдруг спрашивает Норкин. Он сидит перед рубкой тральщика. Рядом с ним — матросы. Они еще секунду назад резались в «козла», а теперь притихли. О чем они сейчас думают?

Копылов поднимает голову, растерянно смотрит на Норкина и в свою очередь тоже спрашивает:

— Вы о ком, товарищ комдив?

— А помнишь... этот... командир взвода... Когда у Збуричей на прорыв пошли...

— А-а-а, — разочарованно тянет Копылов. По интонации его голоса можно безошибочно угадать мысль: «Нашли о ком спрашивать».

— Почему ты его назвал пустышкой?

— Пустышка он и есть! — с неожиданной злостью отвечает Копылов. — Настоящий человек в трудную минуту себе в лоб пулю не пустит. Драться будет!.. Ведь этак все просто решать: трудно тебе — пулю в лоб, и кончены счета на этом свете!.. А что врагу надо? Смерти твоей. Значит, ты делай наоборот. Плачь, реви в голос, но живи!

— Скажи пожалуйста, как расфилософствовался, — говорит из темноты Жилин. — Знавал я в пароходстве одного человека. Он все, бывало, кричал, что бросить курить — плюнуть и растереть.

— И бросил? — спрашивает самый нетерпеливый слушатель.

— Так он же некурящий был, — отвечает Жилин и замолкает.

Норкин усмехнулся. Интересную загадку ты, старик, подобрал. Значит, говоришь, он некурящий был? Что ж, есть и такие люди. Они любят рассуждать о том, что бы они сделали в том или ином случае. А дойдет до дела — лапки кверху и штаны мокрые.

И все-таки Копылов прав! Да и не один он думает так.

Только сможет ли Копылов делом подтвердить свои мысли?..

Шипит вода вдоль бортов. Перед катерами расступаются черные берега, бегут прочь вместе с ночью. И не слышно ни одного человеческого голоса. Да и о чем говорить, если прекрасно знаешь, что военная страда далеко не окончена, что, может быть, уже завтра будут новые бои?

## Глава восьмая

### ДАЕШЬ ПИНСК!

#### 1

Днище катера скребло по песку. Волны с загнутыми белыми гребнями накатывались на отмель, обгоняли и приподымали тральщик, который, поминутно останавливаясь, полз по перекату. Много пройдено таких же перекатов, где глубина была мала для катеров и они пробирались дальше лишь благодаря упорству и настойчивости команды. Но это последний. Одолеть его, потом пройти еще двенадцать километров — и тральщики окажутся на базе, избавятся от надоевших барж, и можно будет забежать домой, к Оленьке! Она, милая, наверняка заждалась, истосковалась.

Чигарев усмехнулся и с опаской посмотрел на матросов: заметили его переживания или нет? Ведь любому покажется странным, что начальник штаба дивизиона улыбается в тот напряженный момент, когда катер еле ползет, а баржа угрожающе надвигается сзади, готовая при первой оплошности команды тральщика навалиться на него, выбросить на пески.

А все-таки непривычно и как-то необыкновенно весело звучит — домой! Какой же это дом? Обыкновенная баржонка, каких тысячи на всех реках, — дом, а маленькая каютка на корме у нее — твоя собственная квартира, где тебя ждет жена! Давно ли, кажется, мама сдувала пылинки с него, считала мальчиком, а теперь... Теперь у него самого скоро может быть мальчик и тогда мама, хочет она этого или нет, превратится в бабушку!

И хотя каюта очень маленькая (в ней с превеликим трудом помещаются только две койки одна над другой и столик-полочка, прибитый под маленьким окном), Чигареву она дороже прекрасно обставленных хором: это первый его собственный семейный уголок, здесь везде видны заботливые руки Ольги: на дощатых стенках ее вышивки, на столике салфетка ее работы. Даже пододеяльники подшиты к казенным одеялам ее руками, и поэтому становятся дорогими сердцу!

Одно плохо — очень редко удается побывать дома. Припать извивается между заболоченных берегов, доро-

ги идут в стороне; она, словно нехотя, лишь изредка делает крюк, чтобы подбежать к деревне или селу, раскинувшемуся на косогоре. А Голованов, чтобы как можно меньше людей знало о бригаде, упорно избегает стоянок около населенных пунктов, норовит забраться в непролазную глушь. И вполне естественно, что тральщикам нет покоя ни днем ни ночью: они подвозят продовольствие, бензин, боеприпасы. А последние дни и вовсе вздохнуть некогда: флотилия вступила в бои, помогла армии освободить Петриков, Лунинец и устремилась к Пинску. Правда, ее продвижение задерживают армейцы, застрявшие где-то в болотах, но работы у тральщиков от этого не убавилось.

— Вы — мои транспортные суда. Справитесь с перевозками, не сорвете снабжения, — считайте задачу выполненной. Будут перебои — пеняйте на себя, — так сказал Голованов.

Вот и бороздили тральщики Припять, слышали отголоски далеких боев, но сами к противнику пока и на оружийный выстрел не подходили. В первые дни надоедали только самолеты фашистов: они кружились над рекой, как пчелы над ульем, были готовы ужалить очередью. Однако скоро их прогнали наши истребители, и теперь фашисты осмеливаются появляться лишь поздними сумерками, чтобы в случае необходимости скрыться под покровом ночи.

— Полтора! — радостно кричит матрос, стоявший на носу катера, и, взмахнув полосатой наметкой, снова опускает ее в воду.

Чигарев облегченно вздохнул и, прихрамывая, спустился в кубрик, подошел к зеркалу, потрогал рукой подбородок: Оленька терпеть не может даже маленькой щетины. Чигарев сбросил китель, быстренько побрился, освежил лицо одеколоном и снова вышел на палубу. Теперь он, вычищенный, сияющий, нетерпеливо поглядывал вдаль, отыскивая признаки близкой стоянки катеров.

Наконец тральщик вышел на прямой участок реки, сбавил ход и осторожно приткнулся к баржонке с маленькой будочкой на корме. Чигарев старался не смотреть на баржонку, умышленно отворачивался от нее, но взгляд невольно бежал туда и останавливался на Ольге. До чего же она хороша!

Мотор заглушили. Стальные тросы прочно соединили катер с баржой. Нельзя больше притворяться занятым

швартовкой, и Чигарев ступает на трап. Первым налетает на него Чернышев. Он, как всегда в последние дни, возбужден, полон желания действовать.

— Как с продовольствием, товарищ капитан-лейтенант? — спрашивает Чернышев, загоразивая дорогу. — Привезли муки и крупы?

— Нет ничего, Василий Никитич, армия все подчистила... Водки привез...

— А мне муку надо, муку! Матросы второй день сидят на одних консервах. Бедная моя головушка! — Чернышев действительно хватается за голову. — Дайте мне катер на одни сутки! Только на одни, и я всех мукой обеспечу! Засыплю по клотик!

— Не могу, Василий Никитич. Сами знаете, адмирал лично катерами распоряжается.

— Думаете, побоюсь обратиться к нему? — гневно бросает Чернышев, резко поворачивается и уходит.

Теперь путь свободен. Чигарев спешит навстречу Ольге. Она, улыбаясь, смотрит на него.

— Здравствуй, Оля, — говорит Чигарев и тут же спрашивает: — Все в порядке?

Ему очень хочется обнять жену, но кругом люди.

— Зайдешь на минутку? — стараясь казаться спокойной, предлагает она.

Чигареву нечего делать в комнатке, ему нужно спешить с докладом к Голованову, но так хочется приласкать жену и побыть с ней хоть несколько минут, что он перешагивает порог. Ольга входит следом, закрывает дверь и тотчас обнимает его. Чтобы не упасть, Володя делает шаг в сторону и опускается на узкую койку. Еле уловимое мгновение — и Ольга уже сидит у него на коленях, трется щекой о его лицо. Ее пушистые волосы лезут в глаза, в рот, но Володя не пытается отстраниться от встречи с ними: они мягкие и так приятно пахнут...

Наконец он взял Ольгу за голову, сжал ладонями ее щеки и чуть отстранил от себя. Глаза ужены радостные, ясные. Щеки горят, полуоткрытые губы так близко, что Володя не может удержаться и снова целует Ольгу.

— Как жила, Оленька? — спросил он, переводя дыхание.

Ольга положила голову на плечо мужа и тихо сказала:

— Скучно было без тебя, Вовик...

Голос звучал искренне, и Чигарев был счастлив. Он,

чтобы еще раз услышать эти слова, готов хоть сегодня уйти в поход. Конечно, ненадолго. На денек. В крайнем случае — на два.

— Что здесь новенького? — спросил он.

Ольга пожала плечами: «Какое мне дело до всего, если ты где-то далеко?» Чигарев поставил ногу поудобнее. Ольга сразу же освободилась от его объятий, встала и сказала, прижимая его голову к своей груди:

— Какая я глупая, ведь у тебя нога болит.

— Мне пора, Оленька...

— Уже уходишь?

— Надо, милая, доложить начальству о сделанном.

— Дай хоть подворотничок сменю, — предлагает Ольга и начинает расстегивать пуговицы его кителя.

— Не надо, он чистый, — слабо сопротивляется Володя. Откровенно говоря, он любит смотреть на хлопочущую жену, ему приятна ее забота, он рад под любым предлогом затянуть эти минуты.

Иголка мелькает в тонких пальцах Ольги.

— Значит, ничего нового? — спрашивает Чигарев, причесываясь перед зеркалом.

— Ничего... Только Норкина и Селиванова орденами наградили... Почти всех, кто был на Березине, наградили.

Рука, державшая расческу, дрогнула и замерла. Опять обскакал Мишка! И невольно зависть подсказала мысль: «Везет, дьяволу! Ну, да это и понятно: любимчик Ясенева и Голованова». Чигарев со злостью рванул спутавшуюся прядь волос. Это не ускользнуло от внимания Ольги, она отложила китель в сторону, подошла к Чигареву, прижалась к нему и прошептала:

— Что взволновало моего мужа? Ведь я с ним.

Нет, Чигарев больше не сердился и не волновался. Разве он не счастливее Михаила? Орден, конечно, тот получил, но это ли главное в жизни? Кроме того, Мишка награду заслужил. Опять, наверное, себя не жалел. Да и голова у него стоящая, соображает, не как у некоторых.

— Чем наградили, не знаешь?

— Не знаю, Вовик. Вот если бы тебя...

Очень точно, если бы его, Чигарева!

Чигарев снова нахмурился, надел китель и сказал:

— Ну, я пошел, Оленька.

— Скоро вернешься?

— Думаю, что не задержусь.

— Дай поцелую на счастье...

Поцелуй, действительно, оказался счастливым. Голованов и Ясенева встретили Чигарева тепло, подробно расспросили о походе, фарватере, настроении матросов, а потом и сказал Голованов, предварительно переглянувшись с Ясеныным:

— Сейчас обстановка изменилась, Владимир Петрович, да и вы работаете хорошо, полностью обеспечиваете бригаду. Исходя из этого, мы и представили вас к правительственной награде.

И если в начале разговора Чигарев внутренне жглся, приготовился внешне спокойно выслушать неприятное известие, то теперь он не выдержал и, чтобы хоть частично скрыть радость, полез в карман за носовым платком.

— Сам радуйся и жену обрадуй, — ободрил его Ясенева. — Работал ты очень хорошо и наградой гордиться можешь... Говори лучше ты, Борис Павлович, это ведь по твоей части.

— Так вот, Владимир Петрович, обстановка изменилась, и мы из вашего дивизиона сейчас делаем два. Норкин будет командовать бронекатерами, а тебя думаем назначить комдивом тральщиков, — все это Голованов сказал таким тоном, будто Ясенева и не прерывал нити его разговора.

Голованов пытливо смотрел на Чигарева. А тот, чтобы не выдать своего внутреннего торжества, прикрыл глаза веками. Вот когда сбылась давняя мечта! Комдив!

И Чигарев словно наяву увидел свой дивизион, идущий длинной кильватерной колонной. На мачте головного катера реет брейд-вымпел комдива, его, Чигарева!

— Только нос не задирай! — оборвал его мечты строгий голос Ясенева. — Ты один раз уже болел этим, так что смотри! Мы с адмиралом за каждым твоим шагом следить будем.

— Все ясно... За доверие — спасибо.

— Еще приказ о твоём назначении не подписан, а ты уже глупость сказал, — поморщился Голованов. — За что благодаришь? Мы назначаем тебя комдивом, исходя из пользы дела, а не из личных побуждений... Норкин идет сюда и здесь передаст тебе тральщики, а ты ему — базу.

— Выходит, у меня базы не будет?

— Создадим. В Пинске, — сказал Голованов таким тоном, что Чигарев сразу понял: освобождение Пинска — дело ближайших дней. — А Чернышев пусть сам выбирает, с кем ему служить. Между прочим, почему ты ему катера не даешь? Только что приходил жаловаться.

— Вы же сами катерам задания даете.

— А у тебя язык есть? Наберись смелости и скажи начальству, что снаряды и бензин — вещи хорошие, но и хлеб нужен... Учти на будущее.

Возвращаясь на катера, Чигарев охотно отвечал на приветствия встречных матросов и офицеров. Ему казалось, что все уже знают о его новом назначении, радуются вместе с ним. Около тральщиков увидел Чернышева. Василий Никитич, сдвинув фуражку на затылок, командовал матросами, которые по узкой сходне вкатывали большую бочку:

— Левее! Еще левее!.. Наддай, наддай!

Матросы, стоявшие в воде, не возражали, не прерывали Чернышева репликами, но и не выполняли его распоряжений: они сами решали, куда им разворачивать бочку и когда следует наддать.

— Василий Никитич! — крикнул Чигарев.

Чернышев оглянулся, поправил фуражку и подбежал мелкой рысцой.

— Мне сам Голованов разрешил взять этот тральщик. А бочка — под соленую капусту, — выпалил Василий Никитич и замолчал, вытирая платком потное лицо.

— Я не об этом... С сегодняшнего дня наш дивизион расформирован. Вместо него будет два. Одним командовать назначен Норкин, другим — я.

— А я?

Чигарев улыбнулся.

— Вы по-прежнему будете командовать базой.

— Чьей?

— Адмирал предлагает вам самому решить.

Василий Никитич машинально потер рукой красную полоску на лбу, оставленную фуражкой. Легко сказать, решай сам! Допустим, он останется у Норкина. А это значит: в ближайшие дни нагрянет сюда дивизион, голодный, оборванный, и сразу потребует одежду, еду, снаряды, топливо. Ему все сразу вынь да положи! А откуда и что взять? Прийти и сказать: «Здрате, я ваш командир базы»? Сумасшедший Норкин такое пропшет, что и звание свое забудешь!

Другое дело остаться с Чигаревым. На тральщиках потери сравнительно небольшие, катера почти не пострадали за время боев, а на базе кое-что припрятано... Конечно, Норкин рассердится, шум поднимет, но Чигарев, думается, в обиду не даст...

Чернышев вздохнул. Он отчетливо представил, как Норкин стоит перед ним и шумит, призывая всяческие бедствия на него самого и на всю его сегодняшнюю и будущую родню.

— Ну как, решили, Василий Никитич? — поторопил Чигарев.

Чернышев взглянул на него, словно только сейчас вспомнил о его присутствии. И сразу память извлекла из-под спуда другие доводы, теперь уже в пользу Норкина. Василий Никитич увидел его таким, каким он был: энергичным, решительным, расчетливым и хитрым хозяином. А какой настоящий хозяин не сердится, не шумит, если видит непорядок? Норкин небось не заставил бы бегать за катером к командиру бригады...

— Я жду, Василий Никитич.

— Понимаете, Владимир Петрович... Ведь броняшкам сейчас все нужно. И хлеб, и штаны, и снаряды. А тут — еще и новые бои вот-вот начнутся. Разве один Норкин свернет всю эту гору? Я считаю, что...

Чигарев больше не слушал: повернувшись, он пошел к барже. Одна Ольга и поймет, и порадуетя вместе с ним. А Чернышев... Что ж, пускай служит у Норкина. Видно, мало еще Мишка ему крови испортил. В конце концов, был бы дивизион, а командир базы всегда найдется!

До поздней ночи Чигарев пробыл на катерах: проверял документацию, давал задания на утро. В свою каюточку пришел усталый и почти сразу лег. Но не спалось Чигареву.

Где-то на берегу трещал движок радиостанции. Шелестели узенькие полоски бумаги, которыми Ольга заклеила форточку. Луна нескромно заглядывала в окно и смотрела на Олю, разметавшуюся во сне. Койка узкая. Володя лежал почти на самой перекладине, но шевельнуться боялся: Оленька так хорошо спала, положив голову ему на руку.

Вот это настоящая жена! Она и порадовалась вместе с ним, и даже кое-что посоветовала. С таким другом можно спокойно шагать по жизни и не бояться, что

устанешь или собьешься с пути, как бы тяжел и длинен он ни был. И Чигарев, по старой привычке, размечтался. Он уже видел себя не комдивом, а командиром бригады — молодым, чуть прихрамывающим и всем известным адмиралом. К нему шли люди за советами, от него ждали решения самых сложных боевых задач, и он, конечно, оправдывал общие надежды.

«Лезет же такая чертовщина в голову!» — мысленно выругался Чигарев, поймав себя на том, что дошел уже до командующего флотом, и шевельнулся. Ольга открыла глаза, удивленно взглянула на него, обняла теплой рукой и спросила:

— К себе, Вова, пойдешь?

К себе — значит на верхнюю койку. Интонация голоса выдавала и желание Ольги: ей хотелось спать, а Володя мешал. Он осторожно прикоснулся губами к ее виску, встал, закурил и полез на свою койку.

Но сон упорно не приходил. Вспомнились родной город, дом, мама. Как-то там жизнь? Мама, наверное, по-прежнему гоняет отца из-за всякой мелочи и ждет не дождется своего Вовочку. А он вот возьмет да и явится к ней и не один, а с женой и сыном!.. Интересно, почему Оленька отмалчивается, когда он заводит разговор о ребенке? Ведь так хочется иметь сынка! Он бы, разумеется, порой мешал отцу работать, шалил. Но зато приятно было бы и пройтись с ним по катерам, показать матросам человека, которому ты дал жизнь. Или прижать бы сейчас к себе маленькое тельце, чувствовать его тепло на своей груди. Чигарев улыбнулся, вздохнул и тихо позвал:

— Оля... Оленька!..

— Что, Вова? Раны тревожат? — откликнулась Ольга сонным голосом.

— Слушай, Оленька, а когда у нас будет маленький Чигаренок? — спросил Володя, свесив голову.

Ольга натянула на грудь простыню и ответила полу-серьезно, полусутоливо:

— Да спи же ты, дурной!

— Я серьезно, Оленька.

Ольга помолчала немного и ответила, глядя куда-то вверх:

— Рано еще... Посуди сам, где мы его сейчас поместим? Неужели, как котенка, будем держать в белье-

вой корзине? Или в ящике из-под снарядов?.. Подожди, получим квартиру, появятся соответствующие условия...

Чигарев откинулся на подушку. Пожалуй, Ольга права. Зачем мучить ребенка?.. А все-таки хорошо бы...

— Вовочка, завесь, пожалуйста, окно. Луна спать мешает, — попросила Ольга.

Чигарев приподнялся, опустил шторку, сделанную из старой плащ-палатки. В каюте сразу стало темно и тихо. Даже движок радиостанции будто замолчал. Все спят. Не спят только часовые. Но даже их настороженное ухо не может уловить далеких вздохов артиллерии, переместившейся в сторону от реки.

И еще не спит в своей землянке командир батальона морской пехоты майор Козлов. Сбросив ремень и растягнув ворот гимнастерки, он сидит на койке и смотрит в землю. Тяжело Борису Евграфовичу. Давно ли он был командиром полнокровного батальона, а теперь... Много матросов полегло... А ведь впереди Пинск, Польша, возможно, и Германия. Вот и ломает Козлов голову, стараясь отыскать ошибки прошлых боев. Он заново высаживался с матросами на берег, вместо с ними пробивался к окраине Лунинца, штурмовал его.

Да, в том бою матросы дрались дружно и, что больше всего радовало, умело. Они не перли на немцев во весь рост, как зачастую бывало в начале войны, а подкрадывались к ним, били только короткими и от этого кажущимися злыми очередями; бросали гранаты не для шума, а для того, чтобы поразить врага.

И несмотря на это, потеряли почти шестьдесят человек. Шестьдесят лучших в мире бойцов! Козлов вдруг выпрямился. Кажется, разгадка найдена... Не опоздай пехота, навались она на немцев вместе с матросами, — потери были бы гораздо меньше!

Козлов встал, несколько раз прошелся по землянке, остановился около телефона, снял трубку и сказал телефонисту, что-то брызжащему на коммутаторе:

— Дай первого или второго.

— Спят оба.

Козлов взглянул на часы. Без пятнадцати минут три. Самое время для сна.

— Соединяй со вторым!

Трубка долгое время оставалась немой. Наконец в ней что-то зашипело, потом раздался голос Ясенева:

— Слушаю. Кто звонит?

— Извините, товарищ капитан второго ранга, это я, Козлов.

— Что случилось, Борис Евграфович?

— Да вот мысли спать не дают... Все думаю, думаю, почему я столько людей потерял?

— Ты откуда звонишь?

— От себя...

— Тогда иди ко мне.

— Неудобно как-то тревожить. Почти утро.

— А по телефону не тревожишь? — было слышно, как Ясенев смеялся. — Иди, Борис Евграфович, жду.

Когда Козлов вошел в палатку, Ясенев полулежал на койке и читал какую-то книгу. Увидев майора, он заложил страницу листком бумаги, закрыл книгу и бросил ее на стол.

— Чай пить будешь? — спросил он, спуская с кровати босые ноги.

— Не хочется.

— А я буду. Скоро вестовой принесет... Ну, что у тебя? Только говори потише: Голованов недавно уснул, а стена между нами, сам знаешь, звуконепроницаемая, — и он ткнул пальцем в полог палатки.

— Собственно говоря, я ошибку нашел... Плохо мы дрались под Лунином...

— Эй, Ясенев! — раздался из соседней палатки голос Голованова. — Кто там у тебя?

— Козлов зашел, Борис Павлович. Покой потерял после Лунина.

— Вот это хорошо, что покой потерял! Пусть говорит погромче!.. Хотя, подождите, я — мигом!

Скоро в палатку вошел Голованов. В отличие от Ясенева, он был одет так, словно и не собирался ложиться.

— Ну, выкладывай, — сказал он, положив на стол фуражку. — Не красная девица, а по ночам не спишь, томишься.

Козлов сбивчиво рассказал о своих сомнениях и выводах. Ясенев внимательно слушал его, а Голованов неопределенно хмыкал, дергая плечами.

— Извечная причина — плохая связь армии и флота! — сказал он, как только замолчал Козлов.

— А я считаю, что Козлов прав! — моментально заявил Ясенев. — Связь с армейцами у нас действительно была плохая!

— Ну, ну...

— Не плохая, а... недостаточная. Однако Козлов прав, подымая этот вопрос, и я не вижу причин фыркать!

Козлов меньше всего хотел поссорить между собой Голованова и Ясенева и сейчас чувствовал себя во всем виноватым. Дернула его нелегкая сунуться сюда со своими раздумьями!

— Не понимаю, чего ты кипятишься? — пожал плечами Голованов. — Козлов, конечно, прав. Ведь связь между частями — первейший залог успеха. Знали мы об этом? Знали. Так в чем же дело? Установили личный контакт с армейским начальством и успокоились, передоверили остальное офицерам связи... Впредь будет так: командиры наших частей сами лично будут договариваться о взаимодействии с командирами соответствующих частей. И не споры! Я тоже ночей не спал, пока пришел к этому простому решению! И таков мой приказ!

— Не понимаю, чего ты кипятишься? — воспользовался Яснев моментом и ввернул шпильку. — Мы все за то, чтобы было лучше, выгоднее для нас!

Потом пили чай, и Козлов с удивлением наблюдал за Головановым, который как-то вдруг, сразу, предстал перед ним не требовательным начальником, а простым, душевным человеком.

— Значит, вы сегодня же отправитесь к соседям и договоритесь обо всем, — сказал Голованов, вставая. — Относительно катеров — молчу. С Норкиным вы, по моему, хорошо спелись.

— Почему с Норкиным? Он на подходе? — не пытаюсь скрыть радости, воскликнул Козлов.

— Ждем сегодня, — ответил Голованов, надел фуражку и снова превратился в строгого, требовательного начальника.

Козлов козырнул, четко повернулся и вышел из палатки.

Небо на востоке чуть розовело. Начинался новый день военной страды.

## 2

Неизвестно, от кого матросы узнали о прибытии с Березины дивизиона, но факт остается фактом: едва из-за мысочка показался острый приподнятый нос головно-

го бронекатера, как кто-то крикнул: «Идут!» — и берег сразу ожил. Из землянок и палаток, в которых размещались штаб и госпиталь, с катеров, спрятавшихся под ветвями кустов, с барж, казалось бы заброшенных, забытых и доживающих свой век в этой непролазной глухомани, хлынул на берег людской поток. Зеленые гимнастерки морской пехоты перемешались с темно-синими фланелевками матросов.

Впереди и несколько в сторонке стояли Голованов и Яснев. Робко, стараясь спрятаться за чужие спины, жалась к Наталье Катя.

— Пойдем вперед, Катька? Ну что ты в меня вцепилась? — шипела Наталья.

— Ой, не могу, Натка!

— Я одна пойду!

— Ой, Натка...

И Наталья осталась. С Катей вообще что-то странное происходит в последние дни. Она то сидит часами, задумчиво глядя перед собой и улыбаясь неизвестно каким видениям, то вдруг начинает реветь, прятаться от людей. Или взять сегодняшний день. Катя встала раньше солнца, заправила постель, умылась и, напевая, долго вертелась перед зеркалом. Она сменила не одну прическу, наклоняла берет то в одну, то в другую сторону, пока не закрепила его шпилькой на самой макушке. Такой веселой и жизнерадостной она была до тех пор, пока не раздался этот крик: «Идут!» Тут Катя побледнела, как-то сразу увяла, ушла к себе в палатку и бросилась на койку. В палатке Наталья и нашла ее, заставила встать и пойти к реке.

Теперь опять трясется, норовит сбежать. Вот уж никогда не думала, что Катька такая трусиха!

Катера приближались быстро. Они шли как в бой: все люки задраены, с пушек и пулеметов сняты чехлы, на палубах ни души. Вот на головном по фалам поднялись к реке три темных комочка. Еще мгновение — и, как цветы в старых сказках, они распустились, затрепетали, радуя глаз пестротой расцветки.

— Просит разрешения подойти к берегу, — доносится из группы офицеров.

— Дайте «добро», — говорит Голованов.

Матрос-сигнальщик пробивается вперед, разворачивает красные семафорные флажки и пишет ими непонятное Кате слово. На катерах Норкина лязгают отки-

нутые люки, из кубриков и башен вылезают матросы, разбегаются по боевым постам и замирают. Еще мгновение — и, повернув все разом, катера подходят к берегу, стопорят моторы.

— Подать швартовы! — отчетливо звучит первая команда.

Упал на берег трап. Норкин, чуть коснувшись его ногой, прыгнул с катера, подошел к Голованову и отрапортовал. Катя не слыхала его слов, да она бы и не поняла их. Она всматривалась в черты дорогого ей лица. От нее не укрылись ни морщинки, бегущие от глаз к вискам, ни давно не стриженные волосы, зачесанные за уши. Ей казалось, что у Михаила усталый, недовольный вид.

— Подробности доложишь потом, — сказал Голованов, протягивая руку. Голос адмирала прозвучал сухо, официально. Норкин удивился и посмотрел на Ясенева. Но и тот смотрел на Норкина, словно на чужого, незнакомого человека.

Норкин обиженно поджал губы и нахмурился. Что ж, он тоже может быть только официальным.

Голованов почти час лазал по катерам, осмотрел все заделанные пробоины, беседовал с матросами, проверяя записи в журналах боевых действий. Он сейчас больше походил не на командира бригады, который рад прибытию лучшей своей части, а на привередливого поверяющего.

Яснев словно сторонился Норкина, словно избегал оказаться с ним рядом. Он завладел Гридиным, беседовал с ним, читал боевые листки и к Норкину обратился лишь один раз, когда уже уходил:

— Сегодня у меня в палатке ровно в шестнадцать заседание партийной комиссии. Ваша с Гридиным явка обязательна. Ваш вопрос разбираем.

— Есть явиться ровно в шестнадцать, — машинально ответил Норкин и козырнул, глядя в спину удаляющегося начальства.

Начальство ушло, и на берегу около катера стало еще оживленнее. Вокруг Норкина толпились Чигарев, Чернышев и многие другие офицеры. Михаил, скрывая нетерпение, отвечал на поздравления, бросал ничего не значащие вежливые слова, хотя ему очень хотелось побыть одному, разобраться в случившемся. Почему его вызывают на парткомиссию? Чем объяснить холодность

и мелочную придирчивость Голованова и Ясенева? Кажется, не заслужил такого приема.

А кругом толпятся люди, и нельзя командиру дивизиона обняжать перед ними свою душу. Вот и улыбается Норкин, стараясь не глядеть в лицо собеседника.

— Михаил Федорович! Да уделите вы мне, в конце концов, хотя бы пять минут! — нетерпеливо просит Чернышев.

— Слушаю, Василий Никитич, слушаю. У вас никак брюшко завелось?

Чернышев не откликнулся на шутку:

— У кого мне взять точные цифры? Кто мне скажет, сколько и чего надо?

Лицо у Василия Никитича радостное и в то же время озабоченное. Норкин, поддавшись необъяснимому порыву, чуть привлек Чернышева к себе и сказал просто, с затаенной грустью:

— Многое необходимо, Василий Никитич... На тебя надежда.

Впервые Норкин так откровенно признался Чернышеву в том, что ценит его, и Василий Никитич, изрядно взволнованный, забыв, что еще вчера называл Норкина сумасшедшим, уже спешит в тыл бригады. Он хочет, пока не налетели другие, попробовать вырвать кое-что с центральных складов.

Михаил старается оттянуть то время, когда они останутся вдвоем с Чигаревым. Он лично не имел ничего против Чигарева, но все же было неприятно видеть в нем, кроме начальника штаба своего дивизиона, еще и мужа Ольги. Но вот количество любопытных значительно уменьшилось, уклоняться от разговора стало уже неудобно, и Норкин переходит в наступление.

— Тебя, Володя, говорят, можно поздравить? — спрашивает он.

— Да, понимаешь, поженились, — отвечает Чигарев и краснеет.

— Поздравляю и желаю счастья.

Сказаны эти обязательные слова, и на душе сразу стало легче: теперь к этому вопросу можно больше не возвращаться. По крайней мере вслух. А если говорить откровенно... Наверное, только в романах герой легко примиряется с потерей женщины, которую он, как ему казалось, любил.

— Ты уже знаешь о новом приказе? — спрашивает Чигарев, стараясь перевести разговор на менее скользкую тему.

Норкин кивает.

— Когда начнем передачу дел и катеров?

— А чего нам начинать? Забирай тральщики со всеми потрохами и командуй, — небрежно отвечает Норкин, пытаясь под напускной грубостью скрыть боль разлуки с теми катерами, на которых начал службу, с которыми связано так много воспоминаний.

Чигарев понимает его, сочувствует и поэтому предлагает:

— Если надо кого, то бери, возражать не буду.

Норкин грустно улыбается и качает головой. Некого ему брать. Вернее, ему всех жалко отдавать, а так выделять некого. Разве только Сашу Никишина. Но он еще долго пролежит в госпитале, и о нем рано говорить.

— Может, пойдем в штаб? С документами ознакомишься, — опять предлагает Чигарев.

Чтобы только не остаться одному, Норкин пошел за Чигаревым в землянку, которую занимал штаб, и начал просматривать бумаги. Здесь были приказы по флотилии и бригаде, циркуляры и указания флагманских специалистов, донесения разведчиков и наблюдателей. И вдруг на глаза попались два листка. В углу одного из них стоял адрес: «Контр-адмиралу Голованову. Копия — командиру гвардейского дивизиона капитан-лейтенанту Норкину».

Прочел Норкин несколько первых строк, потом посмотрел на подпись и усмехнулся. Теперь понятно, почему его так холодно встретили: Семенов длинно, пространно и с явной тенденциозностью ставил Голованова в известность о «случаях грубого нарушения уставных положений личным составом указанной ранее части».

Норкин снова погрузился в чтение и, как в кривом зеркале, увидел всю жизнь своего дивизиона на Березине. Здесь были упомянуты Пестиков, он, Норкин, Маратовский, «собственноручно застреливший несколько пленных», и даже немногие мелочи, о которых вообще не следовало бы вспоминать. Михаил прочитал последний лист и задумался. Ну и змея Семенов! Правой рукой наградной лист подписал, а потом этой же рукой и кляuzu настрочил. Расчет ясен: хочет показаться беспристрастным начальником. Дескать, за подвиги награж-

даю, за беспорядки — взыскиваю. Даже понятно появление этой копии в бумагах Чигарева, а не у него, Норкина. Теперь это письмо явилось для Норкина ударом из-за угла, он не приготовился к защите, а что взять с Семенова? Если его даже и спросят, почему он не поставил Норкина в известность о письме, то он все свалит на писарей: «Перепутали проклятые! Наказать за халатность? Щедрой рукой отсыплю!»

Норкин представил себе злорадную носатую физиономию Семенова и, сдерживая кипящую злость, захрустел пальцами.

— Прочел? — спросил Чигарев.

— Жирная свинка подброшена, — усмехнулся Норкин, встал и сказал: — Я, пожалуй, пройдусь немного.

Чигарев не удерживал. Он понимал Михаила, которому хотелось побыть одному, собраться с мыслями, подготовиться к защите. Володя сочувствовал Михаилу, жалел его хорошей товарищеской жалостью, рад бы помочь, но не знал, как. Не был он на Березине. Кроме того, Мишка — комдив и сам отвечает за дела дивизиона. Да и грехи наверняка не такие тяжкие, как расписывает Семенов.

Норкин вышел из землянки, со злостью пнул метлу, которая стояла у порога, и зашагал в лес. Ему, действительно, хотелось побыть одному, собраться с мыслями и, главное, — успокоиться. И вдруг из-за деревьев показалась зардевшаяся Катя и тихонько окликнула его. Михаил остановился, взглянул в ее наполненные счастьем глаза, вспомнил рассказ Карпенко и опять насупился.

— Мишук, что случилось? — спросила Катя, подойдя к нему вплотную и тревожно заглядывая в глаза.

— Будто сама не знаешь?

— Неприятности?.. Подумаешь, невидаль! У кого их нет?

— А у тебя что за неприятности? Тебе-то что за дело до меня?

Тревога в глазах Кати сменилась удивлением, потом они часто замигали, из них выкатилась первая крупная слеза.

— За что... Миша?

— Не знаешь? — и вовсе обозлился Михаил. — Иди ты, шлюха, от меня!

Он сбросил Катины руки со своих плеч и широким шагом направился в чащу леса. Некоторое время слы-

шался треск сухих ветвей, шелест листьев, а потом все стихло.

Катя зажмурила глаза, сжала щеки руками и так, медленно покачиваясь из стороны в сторону, стояла несколько минут. Казалось, силы вот-вот оставят ее и она рухнет на траву, примятую ногами Михаила, вцепится в нее руками и забьется в неудержимом плаче.

Катю ошеломили слова Норкина. За что он бросил ей это позорное слово? Будто раскаленное клеймо к сердцу приложил... Да, до него она встречалась с несколькими мужчинами. А кто ее толкнул на это? Не они ли сами?

Или Михаил раньше не знал этого? Знал. Почему же тогда он сам ходил к ней? Почему был ласков, почему целовал?

Эх, Мишук, Мишук. Ничего-то ты не понял... Тебя одного любила. Тебя одного ждала, о тебе одном тосковала. Только твоего ребенка и сберегла под сердцем!.. Что ж... Разорванное платье можно зашить, чулки — заштопать. А если на любовь плюнешь... Не смывать, не отскоблить этого плевка!

Но вот Катя отняла руки от лица. Глаза ее были сухи. Поправив берет, Катя решительно пошла к берегу. Она не боялась людей, не чувствовала себя виноватой ни перед кем.

А Норкин в это время лежал, уткнувшись головой в прелые листья. Распроклятая жизнь! Или, может быть, только ему так не везет? Старался, головой рисковал, сколько костей уже переломано, а чего дождался? Вызвали на парткомиссию!.. И кому поверили? Семенову! Этому балаболке!

Нет справедливости на белом свете, нет. И друзей тоже нет. Где они сейчас? Ясенева другом считал — волком смотрит. Ленка Селиванов небось около Натальи... А про Ольгу — и говорить нечего. Подвернулся случай подходящий — раз, и замуж!.. А эта... Наверное, еще не знает, что, может быть, последние часы он комдив... Пожалуй, и Чигарева неспроста комдивом назначили? Что дали ему только тральщики — временная уловка... Ну и черт с ними! Пускай снимают, разжалуют, пусть в штрафную отправят. Если служба так пошла, то дотянуть бы до конца войны, а там — забирайте ваши игрушки, я больше не играю!..

Напрасно Норкин думал, что у него нет друзей. Все-

знайки-писаря под строжайшим секретом передали матросам содержание письма Семенова, и забурлил, заволновался дивизион.

— Я ту гниду убил, я и в ответе! — скрипел Маратовский, потрясая кулаком. — Так и на парткомиссии скажу! Мне рот не заткнешь, штрафной не запугаешь! От смерти я не бегал, и бегать не собираюсь!

— Скажи пожалуйста, какая неприятная история получилась, а? — философствовал Жилин в другом кружке матросов. — А все же я так думаю, что напрасно весь этот шум. В парткомиссии люди головастые, разберутся что к чему. Конечно, может быть и на старуху проруха, но ведь и мы грамотные.

— Уж не в Москву ли писать собираешься? — перебил его Копылов, который уже успел побывать на многих катерах.

— Скажи пожалуйста, кадровый матрос, всех выше на тральщике — пулеметчик, а дальше своего носа не видит! Партийное-то собрание всех коммунистов, может, повыше комиссии будет?

— Катька, где Михаил? — налетела Наталья на Катю, одиноко идущую по берегу.

— Я за ним не бегаю, — отрезала та и передернула плечами.

— Поцапались? Небось миловаться лезла? Дура! У него такая неприятность, такая! — протараторила Наталья и сказала уже Лене, который молча держался за ее локоть: — Пошли, Ленчик!

Катя, растерянная, опять осталась одна. Ее злости как не бывало. Она уже себя считала виноватой во всем и, повернувшись, быстро пошла в лес. Вот и та полянка. Куда он ушел? Она, кажется, стояла здесь, а он — здесь... Все кусты так похожи друг на друга...

А деревья шумели, словно перешептывались. Шепот был не злорадный, шипящий, какой иногда доносится из-за угла, а дружеский, успокаивающий. Над лесом кружили самолеты. В гуле их моторов тоже не было ничего угрожающего: это свои самолеты охраняли бригаду от внезапного нападения врага. Даже солнце, прорываясь сквозь густую листву, становилось не безжалостно палящим, а нежным, ласковым.

Прошло волнение первых минут, и Норкин теперь уже более трезво рассуждал о предстоящем отчете на парткомиссии. Да, многое наврал Семенов, и доказать

это будет нетрудно. Но есть и доля правды в его обвинениях, значит, придется сегодня попариться. А разве в жизни все гладко? Разве не случается выбоин даже на прекрасном асфальтированном шоссе? А жизнь — не шоссе, человек — не машина. У каждого человека, где бы он ни жил, свой собственный непроторенный путь, и идет он по нему как первооткрыватель. Мудрено ли ошибиться?

В это время Пестиков входил в палатку Ясенева. Входил боком, насупившись, исподлобья поглядывая то на адмирала, который со скучающим видом просматривал газету, то на Ясенева, нервно дергавшего плечами.

— Матрос Пестиков явился по вашему приказанию, — пробурчал Пестиков и вздохнул. В голосе его прозвучала неподдельная тоска. А вздох как бы поставил точку. «Опять всю душу взбаламутят», — вот что скрывалось за этим вздохом.

Голованов быстро вскинул на него свои живые глаза. Адмиралу показалось, что он понял этого, на первый взгляд мешковатого, матроса.

— Садитесь, Пестиков, — предложил Яснев.

— Ничего, мы постоим.

— Разговор длинный будет.

— Постоим.

И Яснев растерялся. От матроса веяло таким несокрушимым мужицким упрямством, такой силой собственной правоты, что капитан второго ранга сразу понял всю нелепость заранее продуманного разговора. Но с чего начать, чем расшевелить эту глыбу, застывшую у входа в палатку? Конечно, можно приказать сесть, но что от этого изменится?

— Ежели сомневаетесь, отдавайте под трибунал. На любые муки пойду. Совесть моя чиста, — прервал молчание Пестиков. Его голос, вначале ровный, глухой, вдруг оборвался.

Голованов резко поднялся, подошел к Пестикову, логонько толкнул его кулаком в грудь и сказал тепло, проникновенно:

— А ты дурь из головы выбрось. Слышишь? Мы тебя за тем и вызвали, чтобы это сказать. А теперь иди... Ну, чего уставился? Иди!

Пестиков растерянно посмотрел на хмурого Ясенева, на улыбающегося Голованова.

— Верите? — не то простонал, не то всхлипнул он.

— Иди, тебе говорят! — прикрикнул контр-адмирал. Пестиков повернулся и вышел, толкнувшись плечом в полог палатки.

— Давай, Ясенов, отменяй сегодняшнее заседание, — сказал Голованов. — Самое страшное обвинение отпало, а остальное и выеденного яйца не стоит.

— Не могу, Борис Павлович.

— Почему? Неужели не видишь, что не было у Пестикова иного выхода? Вернее, не видел он его, понимаешь, не видел!

— И не проси, Борис Павлович.

— Да я и не прошу, черт тебя побери! — крикнул Голованов. — Я в конце концов требую! Как командир бригады, своей властью прекращаю всю эту пачкотню!

— Норкин еще и коммунист. По своей линии ты ему хоть благодарность объявляй, а как с коммуниста, мы с него спросим.

— Да за что, за что спросите? Или еще и Мараговского сюда вызовешь? Да я ему скомандую: «Кругом!» — и хвоста не увидишь!

— В своей палатке скомандуешь, — наливаясь злостью, но еще сдерживаясь, ответил Ясенов.

Голованов взглянул на него, швырнул на землю газету, которую машинально комкал в руках, и выбежал из палатки.

Ясенов поднял, расправил газету, прошелся по палатке несколько раз и лег на койку. Да, невероятно трудно разбираться в человеческих взаимоотношениях. С Пестиковым — все ясно. Мараговский — от него всего ожидать можно: вспыльчив, невыдержан, переполнен ненавистью... Хотя здесь не только в этом дело. Пожалуй, любой на его месте, встретив среди врагов соседа, вспыхнул бы так же... Письмо Семенова — это только предлог для того, чтобы накрутить хвост Норкину. Ох ты, буйная, непутевая головушка! Оторвался от бригады, лишь около месяца и оставался один на один с трудностями, а уже растерялся, подставил шею. Дескать, валите, выдержу! Хорошо, что делом Семенова занимались представители наркомата и вывели его на чистую воду. Тю-тю Семенов! Голову, может, и сохранит, но с партийным билетом наверняка расстанется.

Полог палатки откинулся и вошел Голованов. Теперь он не метал громы и молнии.

— У тебя есть папиросы? — спросил Голованов таким тоном, словно и не поругались они недавно. Ясенев пододвинул к нему папиросы и спички.

Пуская к потолку кольца дыма, Голованов спросил:

— За что же мы Норкину вздрайку давать будем?

— Как за что? За то, что возомнил себя одиноким путником в пустыне, за то, что благодаря его упорному молчанию Семенов смог наломать столько дров. Ведь если бы Гридин не написал того письма и комиссия не проверила факты, то Семенов, может быть, и по сегодняшней день командовал бы группой кораблей. За это мы Норкину и выслем по первое число. Согласен?

— За это следует. А так — смотри, Ясенев, не перегни. Чугун — хрупкий, чуть что — ломается, железо — хоть веревки вей, а сталь — она особого обращения требует.

— Не беспокойся! — засмеялся Ясенев. — Так согнем, что он потом выпрямится и зазвенит!.. Или думаешь, он мне безразличен? Да я за него, чертушку, души не пожалю!

— Кому она нужна, душа твоя? — усмехнулся, вставая, Голованов. — Теперь такой товар не в моде. Ты нам цветные металлы подавай!

### 3

11 июля вечером, когда багровое солнце окуталось дымкой и скрылось в грозовой туче, пришел долгожданный приказ командования 61-й армии, в оперативном подчинении которой теперь оказалась вся флотилия. В нем говорилось, что главный удар по Пинску она нанесет своим правым флангом силами четырех стрелковых дивизий, которым надлежало обойти город с севера и наступать вдоль железной и шоссейной дорог; 9-му гвардейскому стрелковому корпусу обойти Пинск с юго-запада; 1-й Бобруйской бригаде штурмовать город совместно с 415-й стрелковой дивизией и действовать вдоль Припяти; 2-й бригаде стать помощницей 397-й стрелковой дивизии и идти к городу по реке Ясельде.

Из рассказов Мараговского и других старых днепровцев Норкин уже знал, что Пинск стоит на сравнительно приподнятом правом берегу реки Пины, что его соборы видны за многие километры. Значит, и с них такая же видимость?

А от армейских разведчиков стало известно, что на том берегу Пины, где стоит город, ими обнаружено семь железобетонных дотов и множество минных полей.

И еще Норкин точно знал, что от района, где предстояло принять десант, до Пинска было около восьмидесяти километров!

Вот и думай, комдив, как решать поставленную перед тобой задачу...

Около полуночи откуда-то из болот появилась молчаливая пехота, по-хозяйски расположилась на тральщиках, и снова все замерло. Потекли мучительные минуты в ожидании приказа начать движение.

Чигарев еще раз обошел свои тральщики, не нашел к чему придраться и, немного успокоенный, возвращался к себе на флагманский катер.

— Разрешите обратиться, товарищ капитан-лейтенант? — окликнул его Карпенко, взбираясь на невысокий обрыв.

Чигарев остановился. Не любил он инженера-механика. Было в его поведении и манерах что-то неприятное. А после вчерашнего разговора Чигарев и вовсе не терпел его присутствия. Вернее, терпел только по долгу службы...

Вчера, когда Норкин был еще на парткомиссии, Карпенко подсел к Чигареву и сказал со вздохом притворного сожаления:

— Доигрался наш комдив, до ручки дошел.

Никогда до этого не слышал Чигарев от Карпенко такого откровенного высказывания и, чуть отодвинувшись, удивленно посмотрел на него.

— Если бы вы знали, Владимир Петрович, что у нас в дивизионе, когда были на Березине, творилось! — торопливо зашептал Карпенко.

— Не нужно, — остановил его Чигарев. — Лучше пойдите туда и выложите все это в глаза Норкину. Так честнее будет.

— За кого вы меня принимаете? — обиделся Карпенко. — Что я знаю — умрет во мне! А что вам порывался сказать, так ведь нам служить вместе...

В это время и появились Норкин и Гридин. Они шли быстро и о чем-то оживленно разговаривали. Норкин даже смеялся. И Чигарев понял, что все обошлось, гроза прошла стороной, и невольно улыбнулся.

— Михаил Федорович! — окликнул он Норкина.

Тот остановился, всмотрелся в темноту и ответил радостно:

— Вовка? Ты с кем здесь сумерничаешь?

— Я здесь, товарищ комдив! — торопливо ответил Карпенко, и Чигарев с удивлением отметил, что голос его звучал заискивающе.

— А, Карпенко. — Чувствовалось, что Норкин разочарован. — О чем сплетничаете? Небось мои косточки перемываете?

Чтобы замять неприятный разговор, Чигарев спросил:

— Порядок, Миша?

— Какой черт порядок! — засмеялся тот. — Как упрямому волю, хвост накрутили и отпустили пастись!

— Ну? Подробнее, и точнее, если, конечно, можно.

— Выговор схватил, — ответил Норкин, вздохнул, помолчал и продолжал серьезным тоном: — Сегодня же принимай тральщики. Расстанемся с тобой на время.

— Тебя переводят? Куда?

— Головным пойду, — шепнул Норкин. — Чуешь? Вон какая честь выпала опальному боярину Михаилу!

— Вы не поверите, как я рад, что все хорошо кончилось! — казалось бы искренне, сказал Карпенко.

Норкин словно не слышал, не замечал его и продолжал разговаривать только с Чигаревым:

— Ты, Володя, не подведи меня, пожалуйста...

Это было вчера, а сейчас Норкин уже шел в Пинск, может быть, подкрадывается к его окраинам... Скоро тронется и он, Чигарев, а пока приходится разговаривать с Карпенко. Зачем только таких людей держат в армии? Одна радость от них — не пьют публично и начальству не грубят.

Но от неприятного разговора не уклониться, и Чигарев говорит:

— Слушаю вас.

— У нас в старом дивизионе, товарищ комдив, механик обычно не ходил в бой.

— А что он делал? В тылу отсиживался?

— Зачем отсиживался? Готовился к ремонту... и вообще...

Чигареву показалось, будто он видит бегающие глазки Карпенко, дрожь его коленей, — и чтобы раз и навсегда покончить с попытками механика уклониться от участия в бою, сказал резко:

— Вот вам мой приказ: пойдете обеспечивающим на катере мичмана Ткачева. Повторите приказание.

— Есть идти обеспечивающим, — промямлил Карпенко, отступил в сторону и будто растворился в темноте.

Карпенко был зол и немного растерян. Как мог он так просчитаться? Кому поверил? Семенову, пустомеле! Где сейчас Семенов? Словно корова языком слизнула бывшего командира Северной группы! «Сгорел и дыма нету! Был, да весь вышел!» — как говорят матросы.

Думал, что с Норкиным все покончено, а тот отделался легким ушибом и, кажется, еще увереннее в гору полез. Надо было держаться за него!.. Да сделанного не воротишь: сам выпросился у Голованова на тральщички. Надеялся, что с Чigareвым легче будет ладить, а он ишь какую штуку выкинул! Всех офицеров штаба расписал обеспечивающими на тральщички! Ну, где это видано, чтобы инженер-механик второго ранга шел в бой рядом с каким-то мичманишкой, командиром катера-тральщичка?!

Если бы это был обыкновенный поход — куда ни шло. А с десантом, да еще в Пинск... Карпенко тяжело вздохнул, выругался про себя и, перевалившись через леера, ступил на палубу катера. Нет, нужно быть воистину сумасшедшим, чтобы идти в такой рейд! Кругом болота, Припять петляет между ними, как скаженная, а там, на западе, распластав крылья кварталов на высоких холмах, стоит на страже Пинск. Говорят, купола его соборов — как наблюдательные вышки. Немцы не дураки и наверняка посадили там корректировщиков огня, которым не только катера, но и каждый матрос виден. Можно ли в таких условиях мечтать о высадке десанта? И плюс — восемьдесят километров ползти между берегов, сжимающих реку, и ежесекундно ждать залпа из кустов!

— Снимаются, товарищ инженер! — докладывает мичман Ткачев. Он прибыл на флотилию недавно и сейчас заметно волнуется.

«Даже этот молокосос, наверное, понимает бессмысленность всей этой операции», — с неприязнью глядя на Ткачева, думает Карпенко и отрывисто бросает:

— Снимайтесь и вы.

Катер осторожно крадется между притихших темных берегов. В звездном небе степенно тарахтят «кукурузники». Они, как и катера, идут к Пинску, который сейчас

затаился где-то в ночном мраке. И даже самолеты ненавистны Карпенко. Ненавистны только потому, что они высоко, по ним не могут внезапно ударить прямой наводкой. Карпенко кажется, будто за каждым кустом прячется по крайней мере взвод противника и держит на прицеле именно его. По спине пробегает волна дрожи.

— Замерзли, товарищ инженер? — спрашивает Ткачев. Карпенко чудится насмешка в голосе мичмана, в его словах. — Возьмите мой бушлат или спуститесь в машинный отсек. Там теплее.

Идея! Оказывается, и молокосос может предложить дельное! Карпенко юркнул в машинный отсек и торопливо захлопнул за собой люк. Около мотора, машинально комкая в руках ветошь, стоят мотористы. У каждого из них есть свое определенное место, свой боевой пост, на котором он находится. У Карпенко нет боевого поста. Поэтому он подходит к черной трубе генератора и присаживается на корточки около нее. Самое безопасное место на катере: с двух сторон от пуль и осколков защищают мотор и газогенератор, а с третьей — металлические листы палубного настила. Они сейчас подняты и стоят вдоль бортов.

Карпенко ябко поводит плечами и еще плотнее прижимается к теплому телу мотора. Тепло, исходящее от газогенератора, и ритмичный шум мотора успокаивают. Карпенко вспоминает жену. Вчера получил от нее письмо. Пишет, что скучает, с нетерпением ждет того дня, когда они снова будут вместе. Страшно хочется верить ей, но червяк ревности все глубже и злее вгрызается в сердце. И чем дольше думает Карпенко над ее письмом, тем больше сомневается в его правдивости. Почему это вдруг, например, она называет его «милым старичком»? И вовсе он не старик, а просто мужчина в годах... Нет, надо просить у начальства отпуск по семейным обстоятельствам. Обстановка для этого, кажется, благоприятная: Пинск будет взят со дня на день, а после него флотилии идти некуда. Вынужденная остановка. Надолго ли? Кто его знает. Может, и канал разрушен... Самое главное — занять соответствующее местечко в тылу, немедленно вызвать Кисулю, обставить квартиру, и можно жить. Прощай тогда беспокойная кочевая жизнь и вы, товарищи Норкин и Чигарев. Карпенко вам больше не слуга!

Мечты уносили Карпенко в уютную комнату, он мысленно уже сидел в глубоком кресле и неторопливо потягивал чаек, наблюдая за раскрасневшейся, улыбающейся женошкой, когда его привычное ухо уловило изменения в ритме работы мотора. Мотористы, недавно переведенные на тральщик с погибших бронекатеров, еще плохо знали особенности этого мотора и теперь сустились около него. И тут Карпенко пришло в голову: «А что, если мотор заглохнет? Тогда катер приткнется к берегу и отстоится в кустах, пока остальные высаживают десант!» Правда, Карпенко тут же испытал нечто похожее на слабый протест, но не дал ему вырасти, оформиться и убил в зародыше доводом, что на задание вышло много катеров и один катеришко ровно ничего не изменит. Начальство даже не заметит его отсутствия.

Сдерживая волнение, Карпенко поднялся, вылез из своего угла и подошел к мотористам.

— Ну, что у вас тут стряслось? — спросил он, сдвинув брови.

— Барахлит, — неопределенно ответил командир отделения мотористов, зачем-то завел пускач, и в этот момент мотор, чихнув в последний раз, заглох. Даже ушам стало больно от внезапно наступившей тишины. Слышно, как за бортом, постепенно затихая, журчит вода.

Задрезжал звонок, и из переговорной трубы донесся глухой, немного растерянный голос Ткачева:

— В машине! Что случилось?

Командир отделения мотористов взглянул на Карпенко, моля глазами о помощи, но широкое лицо механика ничего не выражало, кроме крайней озабоченности.

— Мотор вышел из строя, — отчаявшись, сказал командир отделения.

— Сколько времени потребуется на ремонт?

Становимся на переборку, — уклонился командир отделения от прямого ответа.

Катер чуть качнулся, накренился, начав поворот. Вскоре под днищем закрипел песок и, приподняв нос, тральщик замер на песчаной отмели. Карпенко для видимости немного поболтался около мотора, наблюдая за мотористами, снимавшими крышки цилиндров, и вылез на палубу. После машинного отделения ночной воздух был особенно свеж, но Карпенко больше не дрожал. Он прошел к рубке и сел около нее на надстройку кубрика.

Река была пустынна. Только издали доносился приглушенный расстоянием шум многих моторов.

— Что там случилось, товарищ инженер? Скоро исправят? — спросил Ткачев, выходя из рубки.

— Плохо, товарищ мичман, подготовлены ваши мотористы. От них теперь все зависит.

Ткачев вздохнул, понурился и отошел к пулемету. Он признавал свою вину, но кое-что мог бы сказать и в свое оправдание. Например, а где раньше были вы, товарищ дивизионный механик? О чем вы думали, когда соглашались на перевод мотористов с бронекатера на газогенераторный тральщик?

Но пререканиями делу не поможешь. Спорь или не спорь, а катера уже ушли вперед...

На душе у Карпенко было спокойно. Он не верил в успех десантной операции, с минуты на минуту ждал яростных залпов притаившихся в засаде пушек, а что должно последовать за этим — и ребенку ясно: Припять слишком узка и мелка для того, чтобы маневрировать, уклоняться от снарядов, и катера собьются в кучу, часть из них выбросится на отмели, превратится в мишени для вражеских артиллеристов. Только счастливыцы выскользнут из такой передраги. Вот после этого побоища, действительно, каждый катер будет цениться на вес золота, и никто не спросит с Карпенко, почему он отсиживался в кустах.

Пока Карпенко тешил себя подобными надеждами, дивизион Норкина уже подошел к Пинску. «Кукурузники», тревожившие гарнизон почти всю ночь, сделали свое дело: утомленный город спал. Не было видно ни одного огонька, не слышалось человеческих голосов. Даже мерная поступь патрулей не нарушала мертвой тишины.

Норкин осторожно подвел дивизион к берегу и в нерешительности замялся. Если бы противник встретил его ливнем пуль, засыпал минами и снарядами, он бы знал, что делать. Но эта мертвая тишина пугала. Не верилось, что дерзкий замысел осуществлен так удачно и легко.

— Молчат? — тихо спросил Козлов, стоявший рядом с Норкиным на носу катера. — Хотя это их дело, а я начинаю высаживаться.

Норкин молча стиснул его руку. На берег прыгнули первые черные фигуры матросов, и ночь проглотила их. Михаил и другие офицеры тщетно всматривались в тем-

ноту, тщетно прислушивались к неясным шорохам: ночь не выдавала десантников.

Сзади подошли тральщики. Они втиснулись между бронекатерами, торопливо высадили десант и, пятясь, отошли от берега. А Норкин все ждал. Он изжевал уже не одну папиросу, обругал Гридина, сунувшегося к нему с каким-то вопросом, а город по-прежнему был нем. Заряженные пушки искали цели и не могли найти их. Сдерживая нервную дрожь, вздыхали пулеметчики в башнях, а город все молчал.

И вдруг в еле уловимые ночные шумы, ставшие уже привычными, ворвался новый звук. Слабый, неясный, возникший где-то среди городских кварталов, он постепенно приближался, становился отчетливее, громче. Скоро всем стало ясно, что к берегу идет толпа людей. Кто они? Немцы, уничтожившие десант в молчаливой ночной схватке? Не похоже. Не такие у Козлова матросы, чтобы дали себя перерезать как ягнят. Хоть один да бросил бы гранату, хоть один да облегчил бы душу длинной очередью. Кто же тогда идет, кто?

Прямо перед катерами неожиданно возникает толпа людей в одном нижнем белье. На борт бронекатера подымается матрос-десантник и протягивает Норкину записку.

— От майора, велено в собственные руки, — говорит он.

Норкин идет в рубку и при свете ручного фонарика разбирает торопливые каракули Козлова: «Порядок, Мишка! Фашисты спят как сурки. Ходим по домам и вытаскиваем их из-под перин. Направляю к тебе первую партию пленных, а сам начинаю пробиваться в порт и к вокзалу. Гони к начальству и возвращайся быстрее и с подмогой. Сообща мигом фрицев скрутим. Да заодно шурани там и насчет мин. Какая-то сволочь застряла с ними. А на что мне минометы без мин? Козлов».

Тральщик Мараговского вместе с другими высадил десант и возвращался обратно, осторожно маневрируя между отмелями, которые угадывались по накатывающим на них волнам. Было пройдено уже чуть больше половины пути, когда Копылов, бессменно дежуривший у пулемета, крикнул:

— С правого борта катер!

Мараговский выскочил из рубки и наклонился вперед, всматриваясь в смутные очертания катера, еле видного в предрассветных сумерках. Силуэт был знаком, на палубе виднелись люди, и Мараговский скомандовал:

— Подойти к его борту!

Еще минута, и катера стукнулись бортами. Первым человеком, которого узнал Мараговский, был Карпенко.

— Куда идете? На базу? — спросил он, держась за леера и перенося через них ногу.

— Что случилось? Разгрузились или нет? — в свою очередь спросил Мараговский.

— Понимаешь, мотор скис, — пояснил Ткачев. — Только досюда и доползли...

— Что за груз?

— Мины.

Мараговский думал недолго. Он представил себе десантников, безмолвно сидящих около никому не нужных минометных труб, и сказал просто, словно пригласил пообедать:

— Крепись швартовыми за мои кнехты. Утащу в Пинск.

Услыдав это, Карпенко мысленно поморщился, но овладел собой: спорить неприлично, опасно, да и катера возвращались из Пинска, как с прогулки.

Тем временем пеньковые тросы легли на чугунные кнехты, винт поднял со дна ил, замутил воду, катер задрожал, напрягся и тронулся. Тральщики борт о борт пошли к Пинску. Навстречу им попались бронекатера.

— Что за катер, куда идете? — окликнули с головного.

— Скажи, что в Пинск, с минами, — подсказал Карпенко сигнальщику.

— Торопитесь! — донеслось в ответ.

Рассвет застал катера в пути. На посветлевшем небе сначала выступили, как зубцы, островерхие соборы, а потом и дома. В городе уже трещали автоматы. Но берег был безлюден, если не считать нескольких раненых десантников, которые терпеливо дожидались здесь отправки в госпиталь. Мараговский подвел оба тральщика к берегу, сбросил трап, и тяжелые ящики заскользили на траву, примятую множеством ног. Неизвестно откуда появившиеся солдаты подхватывали ящики и тащили к каменной ограде парка, из-за которой кое-где торчали стволы минометов.

И вдруг из подвала дома, одиноко стоявшего на самом берегу, вырвалась струя огня, и с противным цоканьем пули впились в борт катера. Зазвенели разбитые стекла. Вскрикнул Копылов и тотчас послал длинную очередь. Красные трассирующие пули сначала втыкались около отдушины, словно разведывали путь, потом несколько их скользнуло внутрь подвала, и вражеский пулемет захлебнулся. Но едва замолк этот, как ударил другой, и пули снова впились в тральщик. Мараговский, заметив, что Копылов, — переваливаясь с ноги на ногу, как утка, — слишком медленно разворачивается со своим пулеметом, хотел прикрикнуть на него, но в это время по трапу скатился последний ящик с минами.

— Полный назад! — крикнул Мараговский, и тральщик, таща своего беспомощного собрата, начал медленно разворачиваться.

Карпенко, как только просвистели первые пули, исчез в машинном отсеке и забился в свой уголок между мотором и газогенератором. Мотористы все еще возились около мотора, который упорно не хотел заводиться. Вот один из них охнул и как-то странно повалился на бок. Около его головы расплзлась темная лужица. «Как куропаток перебьют», — мелькнуло в голове Карпенко. Он вскочил, за несколько минут заменил злополучную поврежденную деталь, и, когда тральщик Мараговского начал поворот, тоже дал полный ход. Катера развернулись словно вокруг оси, катер Мараговского выскочил на мель, швартовы лопнули. Это никого не удивило и не взволновало: в бою всякое бывает. Мараговский попробовал сняться с мели своим мотором — ничего не вышло: катер засел крепко. Вся надежда осталась на товарища. Но напрасно ждали его моряки. Он уже скользнул в Припять и теперь полным ходом удирал от города. Некоторое время над берегом еще виднелась его мачта с развевающимся на ней флагом, потом исчезла и она. Катер Мараговского остался один под хлещущими по нему свинцовыми струями. Правда, пехотинцы открыли огонь из минометов, стреляли из винтовок и пулеметов, но противник торопился наверстать упущенное и бил по катеру с нескольких точек, бил не переставая. Казалось невероятным, что Копылов еще стоит около пулемета, что его еще не снесло этим вихрем.

Мараговский понял, что долго так продолжаться не может. Он осмотрелся. Ничего утешительного: нужно

или снимать катер с мели, или бросать его здесь и вплавать добираться до десантников. Но как можно бросить катер, если он еще живой? А раз один мотор не может ни снять, ни хотя бы раскатать его, значит, нужно помочь ему. И Мараговский решился. Он встал на борт и крикнул:

— За мной! В воду!

Еще не понимая в чем дело, матросы попрыгали за ним. А он, стоя в воде по грудь, уже подпирал плечом борт катера.

— Все в воду! Копылов! Приказание и тебя касается!

— Не могу... Ноги перебиты.

На катере, кроме тяжелораненых десантников, остались три человека: моторист, рулевой и Копылов, который по-прежнему огрызался очередью почти на каждый вражеский выстрел.

Укрывшись от пуль за бортом катера, моряки подвели под него два попавшихся под руку бревна и нажали на них. Струя, взвихренная винтом, рвала одежду, вымывала песок из-под ног, норовила свалить, но матросы упрямо добивались и добились своего: катер вдруг нерешительно дрогнул, потом замер, как бы в раздумье, и пополз все быстрее и быстрее.

— По коням! — радостно крикнул кто-то из раненых десантников, помогавших команде катера, ухватился за леера и только выпрямился, как очередь прошла ему по груди. Потемнела тельняшка, покрылась расплывающимися темно-бурыми пятнами, и матрос, нелепо раскинув руки, упал в воду.

— Буксируемся! — приказал Мараговский и, уцепившись руками за леерные стойки, потащился за катером, который уже спешил за спасительный выступ берега.

Так и вышли они из боя: у пулемета — побелевший, почти обессилевший от потери крови Копылов, в рубке — Моисеев с разбитой осколком скулой, в машинном отделении — моторист, а остальные — за бортом.

Отсутствие в Пинске сопротивления оказалось неожиданностью не только для непосредственных исполнителей десантной операции. Крепко призадумался и Голованов, а командир стрелковой дивизии, которой была придана бригада, просто считал, что фашисты заманивают в ловушку, и наотрез отказался посылать подкрепление до тех пор, пока обстановка не станет более ясной.

Больше того: он приказал главным силам десанта, как и всей своей дивизии, идти к Пинску берегом реки.

Прибытие дивизиона Норкина тоже не внесло достаточно ясности. Правда, были пленные, на первом же допросе они единодушно показали, что не ждали нападения, не приготовились к обороне, но разве не могли они умышленно соврать? И опять мнения разделились: Голованов настаивал на немедленной высадке главных сил десанта, а командир дивизии был склонен подождать еще немного.

Взошедшее солнце залило город светом, и стены домов порозовели, будто на них легли отблески окрестных пожаров. Теперь стрельба не смолкала ни на минуту. Голованов, заложив руки за спину, неторопливо ходил по берегу около застывших в ожидании бронекатеров. Немного в стороне от него стояли Норкин и командиры отрядов. Голованов видел их хмурые лица, чувствовал на себе взгляды, полные недоумения и осуждения, но ничего поделать не мог: не он, а командир дивизии здесь всем распоряжался.

Тарахтение мотора привлекло внимание Голованова. Он остановился и посмотрел на реку. По ней, окутанный клубами белого пара, шел тральщик. Вот он, описав дугу, подошел к берегу. С него спрыгнул Карпенко и, словно не замечая Чигарева, направился к Голованову.

— Разрешите доложить, товарищ контр-адмирал?

— Докладывайте, товарищ Карпенко, — ответил Голованов и заметно оживился. Он надеялся, что тот доставил ему те последние данные, которые обязательно убедят командира дивизии.

— Задание выполнено. Из экипажа катера один убит и двое ранено.

Лицо Голованова оставалось по-прежнему спокойным, но глаза налились гневом. Не такого доклада ждал адмирал. Карпенко — старый служака, мог бы и сам догадаться, что сейчас важнее всего общая обстановка в городе, а не формальный доклад об успешном завершении рейда еще одного катера. Эку невидаль сообщил: «Задание выполнено»!

— Разрешите? — спросил Чигарев, останавливаясь шагах в трех от адмирала.

Голованов взглянул на его хмурое решительное лицо, почувствовал, что у нового комдива есть особые причины вмешаться в его разговор с Карпенко, и ответил:

— Можете разговаривать, раз вам так приспичило.

— Где вы оставили катер Мараговского? — выстрелил вопросом Чигарев.

В глазах Карпенко мелькнуло подобие растерянности, но он быстро справился с собой и ответил, глядя прямо в глаза Голованова:

— Да, мы с ним вместе были. Маневрируя около берега, Мараговский выбросился на мель... Мы не смогли снять с мели его катер.

— Товарища в беде бросили? — голос Чигарева даже слишком спокоен; от этого становится страшно, и ледяной холод заползает в грудь.

За мгновение, не поддающееся учету, Карпенко заново пережил и посвист пуль, и страх смерти, и рывок катера, и треск лопнувших швартовых. И, как это всегда случается с трусами, ему теперь казалось, что по ним было множество пулеметов и даже артиллерийских и минометных батарей. Не уйди он — лежал бы грудой обломков сейчас и его катер. А в том, что тральщик Мараговского погиб, у Карпенко не было сомнений. Значит, нет и лишних свидетелей, и Карпенко, умышленно повысив голос, чтобы его слышали и офицеры, стоявшие в сторонке, сказал:

— Негого мне бросать было... Развалина...

— Кто его так разделал? — спросил Голованов.

— Пушки и минометы.

И столько уверенности было в голосе Карпенко, что никому даже в голову не пришло усомниться в справедливости его слов, хотя никто не слышал ни одного оружейного выстрела. Да и не это волновало сейчас. Всех задела за живое гибель тральщика Мараговского. Все время был такой удачливый, пролезал, казалось бы, между зубов смерти, а тут погиб, когда все остальные не имеют даже пробоины. А каково сейчас десантникам, если фашисты ввели в бой артиллерию?

— Норкин! — позвал Голованов, и Михаил подбежал к нему. — Вышли два отряда для стрельбы с закрытой позиции. Снарядов и мин не жалея.

— Есть, — ответил Норкин и только намеревался идти, как подошел Ясенев и сказал, почему-то подмигнув Норкину:

— Командир дивизии приказал высадить в город подкрепление десанту. Пехота уже на подходе.

— Значит, так, Норкин: сначала выбросишь подкреп-

ление десантникам, а потом становись всем дивизионом на огневую и не давай вздохнуть фрицам! — изменил свое приказание Голованов.

И опять Норкин не успел ни убежать на бронекатера, ни отдать приказаний командирам отрядов, так как кто-то радостно крикнул:

— Идет! Катер Мараговского идет!

Все враз повернулись к реке. Катер Мараговского, накренившись на правый борт и зарываясь носом, медленно шел к месту стоянки. Стволы спаренных пулеметов смотрели в небо. Между коробок с пулеметными лентами лежал Копылов. Жилин что-то колдовал над его обнаженными ногами.

Тральщик шел мимо притихших катеров, и всюду молча стояли моряки, приветствуя товарища, которого считали уже погибшим.

На Карпенко никто не обращал внимания. Он мог бы бежать, скрыться в лесу, болотах, но ноги его отяжелели, казалось, вросли в землю.

Петля стального троса, брошенная нетвердой рукой, плюхнулась в воду. Матрос, стоявший впереди других, зашел в воду, поднял трос, вынес на берег и набросил на ломик. Мараговский, засунув забинтованную руку за борт кителя, сошел на берег, направился к Голованову. И тут он увидел Карпенко. Судорога искривила губы, и, сделав еще шаг, Мараговский закатил ему звонкую оплеуху. Карпенко молча схватился за щеку.

— Арестовать обоих, — сухо сказал Голованов.

А с тральщика уже выносили раненых. Норкин, увидев Копылова, невольно подумал: «Да, этот не пуштышка».

Только около десяти часов утра — наконец-то! — подошла обещанная пехота. И состоял этот отряд всего из 450 человек.

## *Глава девятая*

### **СОКРУШАЯ ВРАГА**

#### 1

Едва катера Норкина, принявшие подкрепление десантникам, оказались вблизи Пинска, как около них начали рваться мины и снаряды. Однако катера упрямо

шли вперед, подминая под себя не успевшие осесть фонтаны разрывов. Но в том месте, где Припять почти под прямым углом сливалась с Пиной, ее перегораживал пляшущий частокол белых водяных столбов. Катер Баташова, который шел головным, с полного хода врезался в него. И тотчас осколки застучали по орудийной башне и рубке. Один из них даже заклинился в смотровой щели, брызнув в лицо Баташову десятками раскаленных иголок. Баташов вскрикнул, закрыл лицо руками и рухнул к ногам рулевого. Тот бросил на него быстрый взгляд и снова прильнул к смотровой щели: берег рядом, и рулевому нельзя ни на секунду оторваться от штурвала.

Норкин ничего не знал о ранении Баташова, и его удивило то, что Баташов — один из опытнейших командиров отрядов! — не попытался пройти к центру города, а, словно с отчаяния, выбросил свой катер на берег, едва добравшись до окраины. Но фашисты стреляли все чаще и чаще, огненные вспышки разрывов замелькали уже и на других катерах дивизиона, и Норкин забыл о странном поведении «двяносто третьего». Вернее — поверил опыту Баташова, решил все вопросы ему задавать после боя. А сейчас главным для него стало — отыскать невидимого врага, который вел по дивизиону такой меткий огонь. И вдруг, когда он уже готов был объявить всем, что стреляют батареи, стоящие вне города, из-за угла каменного дома высунулся ствол орудия, потом показалась и лобовая броня самоходки. Секундная выдержка, яркий сноп пламени опалает листву яблонь, прикрывавших дом, — и с боевой рубки «двяносто третьего» летит пулеметная башня, сорванная снарядом.

Выстрелила самоходка и сразу же исчезла, чтобы через несколько минут высунуться вновь, но уже в другом месте, и опять послать снаряд в «двяносто третий». Теперь из-под его рубки вырвались короткие языки пламени, а еще немного погода — клубы густого черного дыма скрыли его от глаз Норкина.

— Горит Баташов, — словно про себя сказал Селиванов.

— Не слепой, вижу, — огрызнулся Норкин. Он понимал состояние Селиванова, тоже хотел броситься на помощь товарищу, но еще не была решена первоочередная задача: десант по-прежнему сидел в кубриках. А как его высаживать, когда весь берег ошетинился пулемет-

ными и автоматными трассами? Задерживаться с высадкой тоже нельзя: кольцо разрывов сжимается, а сзади напирают еще и тральщики Чигарева. И Норкин отвел глаза от горящего «девяносто третьего», бросил рулевому, словно выругался:

— Лево руля!..

Когда Баташов очнулся, непроглядная ночь уже нависла над ним. Кто-то лизал его руку жгучим языком. Жарко, душно. Баташов нащупал рукой горячую броню и, придерживаясь за стены рубки, встал.

— Кто здесь есть? — спросил он и не узнал своего голоса: не грозный оклик, а мольба о помощи.

Баташов хотел закричать, и вдруг поток свежего воздуха ударил ему в лицо, чьи-то сильные руки бесцеремонно схватили его, почти волоком протащили по палубе, потом приподняли, и Баташов почувствовал, что его опускают в какой-то люк. Голова раскалывалась от боли, мысли путались, хотелось пить и лежать тихо, неподвижно, хотя бы на мгновение забыться сном, чтобы избавиться от этой боли, раздирающей голову.

— Положи ему мокрую тряпку на лоб, — слышит Баташов, словно сквозь вату. Кто это говорит? Кажется, Насыров. Значит... Значит, его из рубки вытащили командоры и спустили к себе в башню... Баташов хочет поблагодарить, открывает рот, но вместо слов вырывается протяжный стон. И в этот момент что-то с силой ударяет в борт катера. Больше ничего Баташов не чувствует...

Противник обнаглел, его самоходные орудия теперь не прячутся за дома, а стоят в проулках и методично посылают снаряд за снарядом. Да и кого им бояться? Пушки на катерах вынуждены молчать: мимо их грозных стволов медленно, морщась от боли, бредут раненые десантники. Катера не могут уйти и оставить их в городе, где бушует яростный бой.

— Поторопи их, Селиванов! — кричит Норкин.

Селиванов стоит у открытой двери рубки, подбадривает раненых матюками, а сам косится на самоходки. Просто удивительно, как плохо фашисты стреляют! Если не считать «девяносто третьего», который погрузился

в воду уже по самую палубу, ни одного прямого попадания! Постойте так, голубушки, еще немного! Подождите, пока погрузим раненых, а потом мы покажем вам, как нужно пользоваться пушками!

И вдруг пламя вспыхнуло под гусеницей самоходки. Она рванулась и замерла, зацепившись пушкой за угол дома. Перебитая лента гусеницы, как шкура змеи, поблескивая, распласталась на мостовой.

— Истребители танков подтянулись! — радостно кричит сигнальщик.

Норкин всматривается в дымящиеся груды кирпичей. Ему кажется, что за одной из них шевелится пятнистый маскировочный халат. Так и есть! Вот человек на секунду приподнялся, взмахнул рукой, и на булыжниках около самоходки снова вспыхнуло пламя. Точно: истребители подтянулись! Значит, увидел Козлов, что туго приходится катерникам, и поспешил к ним на помощь.

А раненые все идут, идут...

И вдруг Норкин с изумлением уловил в грохоте боя знакомые звуки выстрела пушки с бронекатера. Кто же этот счастливец, который уже может по-настоящему вести бой?

Стреляли из носовой башни «девяносто третьего».

Катер сел на дно. Вода, хлынувшая в рваные пробоины, залила огонь, и умирающий катер вдруг ожил. Искалеченный, почерневший от копоти и полузатонувший, он пока еще посылал снаряд за снарядом, и самоходки поспешили укрыться за домами.

Получена только минутная передышка, но ее оказалось достаточно для того, чтобы принять на катера последних раненых десантников. Бронекатера, урча моторами, один за другим отошли от берега и нацелились на опасные проулки зрачками орудийных стволов.

— Передайте Ястребкову, чтобы подошел к «девяносто третьему» и снял с него команду, — сказал Норкин, забыв, что у губ висит неотключенный микрофон.

— Есть подойти и снять команду! — ответил Ястребков.

Очень торопился Ястребков, но все-таки опоздал. «Королевский тигр», подмяв под себя палисадник, неожиданно вышел на берег. Длинный ствол орудия «тигра» уставился на «девяносто третий». Яркая вспышка, страшный грохот — и башня «девяносто третьего» раскололась.

Катер Ястребкова резко отвернул в сторону от обломков и скрылся между берегами Припяти. За ним ушли и остальные бронекатера. Река перед городом теперь спокойно несла свои ленивые воды, плескалась около зияющих пробоин в бортах «девяносто третьего».

Норкин, расставив катера на огневой позиции, швырнул в реку окурок и сказал подошедшему Гридину:

— Нет Баташова...

— Я уже распорядился и насчет писем родным, и насчет «боевого листка»...

— Иди ты к богу со своим листком! Кому от него легче станет? — вспыхнул Норкин. — Ты мне скажи, кого вместо Баташова назначим?

Гридин обижен. Он хочет сказать, что «боевой листок» — не его личная прихоть, что через него тысячи людей узнают о «девяносто третьем», будут подражать его команде. Но он видит Селиванова, который выглядывает из-за плеча комдива. Сдвинув брови и выпятив губы трубочкой, Леня грозит пальцем.

— Так кого же, а? — опять спросил Норкин. В голосе его слышна острая боль утраты. Гридин внимательно посмотрел на комдива, увидел усталое, какое-то растерянное лицо и забыл про свою обиду. Что случилось? Никогда до этого не замечал он у комдива таких глаз.

И вдруг Гридин понял, что Норкин не может примириться с тем, что из-за излишней осторожности и самонадеянности командира дивизии батальон Козлова оказался отрезанным, что бронекатера вынуждены болтаться на месте, выжидать для атаки удобного момента. А ведь еще час назад они могли стать полными хозяевами положения...

— Волков злой, а? — спрашивает Норкин.

— Злости — хоть отбавляй, — подтверждает Селиванов, и Гридин соглашается с ним.

— Волкова назначу командиром отряда, — думает вслух Норкин. — Сейчас нужны злые командиры... Очень злые... Эх, Мараговского бы сюда!

Так Волков стал командиром отряда, а Гридин, даже мечтать не смеявший о таком счастье, временно принял от него катер.

Днем тральщики не дошли до Пинска: противник встретил их таким огнем, что отступили даже самые за-

бубенные головушки. Чигарев, в душе проклиная весь свет, повернул дивизион и встал позади бронекатеров. Но вечером, когда черные тучи легли на реку, тральщики вновь сделали попытку проскользнуть в город, озаряемый вспышками взрывов снарядов. Тральщики почти бесшумно прошли мимо бронекатеров. Казалось, что еще немного — и они будут в городе; но из чернильной тьмы кварталов взлетела ракета, огромным знаком вопроса повисла над рекой, осветила ее. Дружно рывкнули самоходки, и головной тральщик пылающим костром закачался на волнах. Остальные сбились в кучу, начали разворачиваться, чтобы уйти из опасной зоны, но на одном из них оказался безумно злой командир. Его тральщик оттеснил к отмели горящего и проскочил в город. Это был тральщик Мараговского, и вел его сам Чигарев, взбешенный и предательством Карпенко, и прочими неожиданными неудачами в первый же день своего самостоятельного командования дивизионом.

Трассирующие пули впивались в борта, срезали фалы, но катер упрямо рвался вперед. За ним, словно только теперь увидев путь, устремились остальные.

— Полную скорострельность! — услышал Гридин в шлемофоне голос Норкина и забыл о тральщиках: пушка его катера открыла огонь по указанному ей кварталу.

Через полчаса или чуть больше тральщики уже возвращались обратно. С развороченными рубками, со сломанными мачтами, они медленно шли к месту стоянки. Строй замыкал горящий тральщик. Кто управлял им — не знали, но всем было ясно: у руля человек с головой. Он умышленно держался подальше от товарищей, принимая на себя весь огонь противника. Он даже не подвел свой катер к дивизиону, а приткнулся к берегу примерно в километре от общего места стоянки.

По берегу пробежали санитары с носилками. Сзади них, припадая на больную ногу, спешил Чигарев. Но еще раньше к неизвестному тральщику убежали матросы с бронекатеров. Они захватили с собой огнетушители, кошму, санитарные сумки.

Норкин, бросив Селиванову: «Остаешься за меня», — прыгнул с катера, догнал Чигарева и спросил:

— Потери большие?

— Точно не скажу, но приблизительно человек двадцать.

Норкин присвистнул. Дорого обходится Пинск...

Около обгоревшего тральщика в воде копошатся матросы. Доносятся обрывки фраз:

— Держи его голову...

— Давай еще разок!

— Фланелевку сними!

— Крепкая.

— Ножом!

Ольга тоже здесь. На лбу у нее красная полоса, щека в саже.

— Только один жив. Остальные... — говорит она и замолкает, устало махнув рукой.

— Что с тобой? Ранена? — тревожно спрашивает Чигарев, всматриваясь в лицо жены.

— Ничего. Устала страшно...

— А на лбу?

— Ударилась нечаянно...

Разговор оборвался.

— Готовь носилки! — кричит кто-то из реки.

Булькает вода, чавкает ил. Бережно несут матросы полураздетого человека. Его руки безвольно болтаются, порой касаясь земли. Безжизненное тело осторожно кладут на носилки. Моряк дрожит мелко, непрестанно. Откуда-то появляются одеяла, полушубок. Все это наваливают на раненого.

Ольга стряхивает с себя оцепенение и говорит властно, как тогда на фронте под Ленинградом:

— Дайте свет. Нужно немедленно сделать перевязку.

Чигарев посмотрел на Норкина. Легко сказать: «Дайте свет»! И дать его легко, а что будет потом? Несколькими мин просверлят темное небо, расколуют тишину, и еще жертвы?

Норкин пожал плечами. Дескать, делай как знаешь, а я тебе ни помогать, ни мешать не буду. Чигарев благодарен и за это: Мишкины катера стоят ближе всех, только он протестовать и может.

А матросы уже вбили в землю четыре кола, натянули на них плащ-палатку, все это сверху прикрыли кошмой — и перевязочный пункт готов. В руке у Норкина зажужжала динамка, и дрожащий пучок света остановился на тяжело вздымающейся груди матроса, пополз к его лицу.

— Пестиков! — как вздох, вырвалось у Норкина и Чигарева.

Пестиков, словно услышав свою фамилию, приподнял веки, открыл бессмысленные глаза. Как по пустому месту, скользнули они по склонившимся над ним лицам и опять закрылись. Лицо — неподвижная маска с уродливо большим, заострившимся носом.

Ольга бесцеремонно распоролла намокшие брюки, и все увидели две кровоточащие раны. Еще несколько минут, и их скрыли белые бинты. Теперь Ольга перебинтовывала скрюченные, обожженные пальцы.

Норкин не мог больше оставаться здесь и, сунув фонарик кому-то из санитаров, вышел.

Баташов, Насыров, Моисеев, Копылов, а теперь еще и Пестиков... Осколки и пули, словно нарочно, метят дорогих сердцу сталинградцев.

— Товарищ комдив, разрешите? На тральщике матросы нашли журнал боевых действий. Чигареву отдать прикажете? — спрашивает Волков. В руках у него чуть подмокший журнал. Он теперь собственность истории, его место теперь в архиве флотилии, но отослать его туда, не узнав о последних минутах жизни героического катера, Норкин не мог.

— Дай сюда, — потребовал он. — А Чигареву скажешь, что я взял.

В каюте душно, однако Норкин не замечает этого. Он сидит под лампочкой, заливающей каюту ровным светом, и неторопливо, осторожно перелистывает страницы журнала. Но вот оборвались аккуратные записи. Дальше идут измятые страницы, заляпанные бурыми пятнами крови, покрытые торопливыми закорючками букв. Норкин всматривается в них, разбирает, порой — угадывает слова.

«Часы разбиты и времени не знаю. Вступил в командование катером матрос Пестиков».

Очень лаконичная запись. А Норкин видит: лежат в рубке бездыханные командир и рулевой; катер, не управляемый никем, рыскает в сторону берега, вот-вот выбросится на него; пулеметчик Пестиков заглядывает в рубку и становится на место павших. Что заставило его поступить так? Что заставило его лезть в пасть смерти, когда спасение было рядом, когда до него в полном смысле этого выражения можно было дотянуться рукой? Ведь катер шел к берегу, никто бы не упрекнул Пести-

кова в трусости: не может один человек вести катер в бой.

«В машине живой только моторист Аниконов. Иду в Пинск. Десантники сами выгрузят боезапас».

«Выгрузка закончена. Раненых брать не стал, потому что катер от мины горит».

«Аниконов, видать, убитый. Иду к своим».

А дальше — размашисто на обе страницы журнала: «Ранило в ногу и грудь. Пока смогу, буду вести катер. Ежели помру, то прошу передать комдиву товарищу Норкину, что про Крамарева я сказал сущую правду. Сынишку его отправьте моим родным. Пусть вместо меня будет.»

Ниже рука вывела привычное: «Передайте поклон», — но в последнюю минуту Пестиков, наверное, решил, что нельзя этого писать в журнале, зачеркнул написанное и подписался: «Гвардии матрос Пестиков».

Норкин прочел последние строки, однако у него не хватило сил закрыть журнал: глаза снова и снова возвращались к тому, что было написано Пестиковым. И еще — он как бы слышал голос матроса, который первым пробрался на тральщик:

— Заходим, а там все вповалку. Только он один как повис на штурвале, так и висит. Железо-то накалилось, притронуться нельзя, ну и припеклись у него пальцы. Ватник тлеет. Тогда взяли мы его за руки, за ноги — и в речку... Затушили огонь...

Норкин не слышал ни приглушенной команды над головой, ни топота ног и вздрогнул от неожиданности, когда, согнувшись почти пополам, в каюту вошел Яснев. Капитан-лейтенант попытался встать, но капитан второго ранга коснулся рукой его плеча и присел рядом на койку.

— Что читаешь? — спросил Яснев.

— Записи Пестикова.

Яснев молча взял журнал, бегло просмотрел его и, осторожно закрыв, вернул Норкину. Несколько минут оба молчали. Потом Яснев распахнул китель и сказал:

— Душно у тебя. Открой иллюминатор.

— Тогда свет погасить придется.

— Или нам впервые в темноте разговаривать?

В каюте темно. Синеватым кругом кажется иллюминатор. К нему тянутся ленты табачного дыма, его из-

редка пересекают трассирующие пули, похожие на падающие звезды.

— Что с тобой, Михаил? — спрашивает Ясенев.

— Как что? — удивляется Норкин. — Все в порядке.

— Нет, не то... За парткомиссию обижаешься?

— С чего вы это взяли, товарищ капитан второго ранга?.. Такой, как всегда.

— Вот и врешь!.. Потому и завернул к тебе, что ты не такой, как всегда. Угрюмый, недовольный чем-то.

— Нечему радоваться, — буркнул Норкин, стиснув руками колени, приподнял плечи и замер.

— Давай выкладывай... Разреши сомнения и забудем о них.

— Одним махом всех убиваю? — усмехнулся Норкин.

— Не хочешь говорить? Тогда я скажу. — Ясенев вздохнул, щелкнул портсигаром, закурил и продолжал: — Конец войны близко, ты его видишь...

— Товарищ комиссар! — невольно вырвалось у Норкина. Ясенев замолчал: он знал, что если Михаил называет его комиссаром, то, значит, он сильно взволнован, минуточку терпения — и выложит самое сокровенное.

И Норкин действительно заговорил. Он долго возмущался поступком Карпенко, потом замялся на мгновение, думая, высказывать все или промолчать, и выпалил:

— Глянешь на этих семеновых, карпенков разных!.. Ты бьешься, жизни своей не жалеешь, а они... Я понимаю, что служили они до войны, и в сорок первом году. Но почему их тогда так ясно, как теперь, видно не было? Словно прятались где-то?

— Да, они прятались, — подтвердил Ясенев. — Рядом с нами жили, а мы их не видели. Они маскировались, приспособливались к народу, к нам с тобой. В те годы они не давали свободы себе. Страшно им было... А сейчас, когда близок праздник на нашей улице, они выпрямляются, раскрываются... Да и мы добрее стали. В сорок первом году сразу бы их за шиворот взяли, а теперь порой либеральничаем... Не забудь, что единицы у нас семеновых и карпенков разных. Сам знаешь, копаем с ними.

— Это у нас не стало ни Семенова, ни Карпенко. Но не исключено, что они служат и в других частях. Почему сегодня дали немцам возможность подтянуть си-

лы? Теперь, пока вышибаем их, сколько своих голов положим!.. Злость меня душит. Взял бы всех подобных гадов за горло и задушил собственными руками!

Окурок, описав дугу и рассыпав красноватые искры, вылетел в иллюминатор.

— Про злость — очень хорошо, — сказал Яснев. — Про нее ты сейчас правильно сказал. Да, нужно быть злым. А дальше все от лукавого... Хорошо, согласен, что утром мы просчитались. Кто не ошибается? Грешны и мы... Хитришь ты, Михаил. Другое гложет тебя... Конец войны видишь и смерти стал побаиваться? Невольно о ней часто думается?

Норкин вздрогнул и еще сильнее стиснул руками колени.

— Что ж, и это легко объяснимо, — продолжал Яснев. — Может быть, последние бои, может быть, еще денек, другой — и цел останешься, а тут на рожон лезть приходится.

— Я ни от какого задания не откажусь!

— Знаю, — повысил голос Яснев. — Знаю, поэтому и говорю с тобой откровенно... Пойми, кто-то и в самый последний час войны должен будет умереть... Печальная истина, но от нее никуда не спрячешься. Я не требую, Миша, чтобы ты, улыбаясь, шел в бой. Или плясал среди трупов. Дело не в этом... Кто-то сказал, что учитель всегда должен быть спокойным, уравновешенным. Пусть он болен, пусть у него дома крупная неприятность — никто из учеников, глядя на него, не должен догадываться об этом. Командир — больше, чем учитель. Он не только учит людей, но и посылает их, может быть, на смерть... Ты понимаешь меня? Пусть у тебя кошки скребут на сердце — ты оставайся спокоен. Внешне спокоен. У тебя, Михаил, авторитет сейчас большой, за каждым твоим шагом сотни глаз наблюдают... Между прочим, знаешь, что матросы говорят о сегодняшнем бое?

Нет, об этом Норкин ничего не знал и насторожился.

— Они говорят, что ты сегодня потерял только один катер, — Яснев особо выделил слово «только». — Верят они тебе, Михаил, верят! Потеряй ты в два или в три раза больше — они по-прежнему сказали бы свое «только»... Эх, Мишка, Мишка! Честное слово, завидую тебе! Еще мальчишка, а такой авторитет!

Норкин смущенно молчал: он был обыкновенный человек, и похвала льстила его самолюбию.

— Договорились? — спрашивает Яснев и хлопает Норкина по плечу. — Если опять меланхолия навалится, приходи к нам с Головановым. Вылечим!

— Это вы мигом, — усмехнулся Норкин, вспомнив заседание партийной комиссии. Потом помолчал и вдруг спросил: — А как с Мараговским будет?

— Пойдет под трибунал, — голос Яснева прозвучал сухо, безжалостно.

— За Карпенко? Под трибунал? Да тому гаду не оплеуху влепить надо было!

— Возможно... Но Мараговский пойдет под трибунал.

— За оскорбление офицера? Да не офицер Карпенко!

— Не кричи, не в лесу, — поморщился Яснев. — Ты глубже смотри. Первый это у Мараговского случай отказа от дисциплины? Нет, не первый, он давно и упорно шел к подобному концу... И наша задача, как нам с Головановым кажется, заключается сейчас в том, чтобы спасти Мараговского от самого себя. Мараговского нужно судить не только за оскорбление офицера. Ты сам знаешь, что у армии свои законы. Перелезть через них или проскальзывать под ними никому не позволено... Что будет, если мы все начнем хлестать друг друга по физиономии? У армии соблюдение законов — основа всего... Между прочим, характеристику на Мараговского писать придется тебе. Ты слушаешь меня или спишь?

— Дам характеристику.

— Какую, если не секрет?

— Смел, находчив в бою, честен... Предан партии и Родине... Только страшный анархист в душе.

— Что ж, хотя немного и нелогично, но тут, пожалуй, твоя правда. Нельзя нарочно чернить человека, если он этого не заслуживает.

— Да Мараговский и не пропащий человек!

— А кто с тобой спорит?

Яснев посидел еще немного и стал прощаться. Норкин вышел проводить его. Погода резко изменилась. Над землей медленно плыли плотные тучи. Холодный северный ветер шумел листвой деревьев, покрывал реку чешуйчатой кольчугой ряби. Изредка падали мелкие капли дождя. После жаркой каюты Норкину стало холодно, он поежился и сказал:

— Возьмите мой плащ, товарищ капитан второго ранга.

— Зачем? У меня на полуглиссере все имущество. Даже полушубок есть.

Чуть слышно пофыркивая, полуглиссер отошел от борта катера и скоро скрылся из глаз. Норкин посмотрел в сторону города, где по-прежнему перекликались автоматы, зябко повел плечами и ушел в каюту. Он не спал уже больше суток, но сон упорно избегал его. Думал Норкин и о Пестикове (выживет ли? не останется ли калекой?), но больше и чаще думал о батальоне Козлова: как и чем помочь ему?

Ведь сейчас и ребенку ясно: Пинск не удалось захватить неожиданным налетом; фашисты стянули к городу войска, и батальон Козлова, отрезанный от своих рекой, один принимает на себя удар врага.

Трудно ему сейчас, а что будет завтра? Выход только один: помочь морской пехоте, помочь и пушками, и живой силой. Но как это сделать, как?

Норкин включил свет, развернул на столе план города и склонился над ним. Он всматривался в перекрестки дорог, в четырехугольники кварталов, старался представить себе сеть незнакомых улиц. Он искренне жалел, что на плане не было даже намека на то, мощная эта улица или нет, какие здесь дома — каменные или деревянные. И больше всего злило — город наш, кровный. Будь он вражеский — развернул бы «катюши» и так сыпанул, чтоб от пепла солнце померкло!

Из матросского кубрика доносились сочный храп и сонное бормотанье, а Норкин все колдовал над планом, шагал по нему циркулем, и красная штриховка постепенно ползла от реки к центру города.

## 2

Ксенофонтов со своим отделением без единого выстрела прошел почти до вокзала, мог бы ворваться и туда, но опыт войны подсказал, что нужно остановиться немедленно. И он первым скользнул в подвал углового двухэтажного дома с каменным низом. Здесь он надеялся найти просто убежище, откуда можно будет вести огонь по врагу, когда он начнет атаковать. Однако даже беглого осмотра подвала оказалось достаточно, чтобы понять: он давно облюбован немцами и, похоже, то-

же для боя. Об этом свидетельствовало многое. И прежде всего то, что из подвала исчезло все лишнее, а на полу лежали мешки с песком, встав на которые было очень удобно вести из продухов и наблюдение за улицами, и огонь.

Пять человек к этому времени было в отделении Ксенофонтова. Каждый из них и сам вполне мог бы командовать такой же группой, но все они безоговорочно подчинились приказу, хотя не поняли, почему нужно останавливаться здесь, когда враг не оказывает сопротивления и можно, воспользовавшись этим, продвинуться значительно дальше. Они во всем верили мичману, поэтому быстро изготовились к стрельбе через продухи подвала.

Мичман, как много раз бывало и до этого, оказался прав: вскоре где-то левее грохнул первый выстрел, а еще через несколько минут прямо к их дому побежали четыре немецких солдата, катя за собой станковый пулемет. Их срезали короткими очередями, когда им до подвала было рукой подать. Нарочно так близко подпустили к себе: чтобы за пулеметом далеко не ползать.

— Ну теперь держись, хлопцы, — спокойно сказал Ксенофонтов, устанавливая немецкий пулемет на площадку, специально сделанную для него еще немцами.

— Нема за что держаться, товарищ мичман, — медленно отозвался один.

— Держись за землю, — подсказал ему другой.

— Разговорчики, — проворчал Ксенофонтов, и все замолчали.

Стрельба уже ярилась и слева, и справа. А эти две улицы, которые хорошо просматривались через продухи подвала, словно вымерли: ни один человек пока не появлялся. И вдруг длинная пулеметная очередь хлестнула по камням фундамента. Она была так прицельна, что несколько пуль даже влетели в продух, правда, к счастью, не задев никого.

— Ишь ты, сердится, — даже весело заметил Ксенофонтов, хотел сказать еще что-то, но в это время вражеский пулемет зарокотал снова и одновременно с этим, словно его вторая очередь явилась сигналом, из ворот дома, стоявшего на противоположной стороне улицы, выбежало около взвода немцев. Все они были нацелены на их дом.

По ним дружно ударили из автоматов. Кто-то из

немцев, будто споткнулся и упал, кто-то метнулся обратно, но трое все-таки перебежали улицу, рванули дверь дома, потом высадили окно.

— Пойду, встречу? — спросил кто-то.

— Добро, — ответил Ксенофонтов.

Но в это время на улице прозвучала пулеметная очередь, и больше никто не пытался проникнуть внутрь дома, в подвале которого обосновался Ксенофонтов со своим отделением.

Минутная пауза, и вот из проулка выполз «фердинанд», ощупал длинным стволом своей пушки дома и уставился им, казалось, точно в тот продох подвала, из которого высовывалось тупое рыльце теперь уже трофейного пулемета.

Выстрелить «фердинанд» не успел: противотанковая граната рванула в угрожающей близости от его гусеницы, и он поспешил отойти.

Так начался этот бой, продолжавшийся двое суток. Окончательно опомнившись, немцы открыли по десанникам огонь из автоматов, пулеметов, минометов, танков и самоходных орудий. И периодически атаковали, атаковали...

Когда захлебнулась очередная немецкая атака, начавшаяся почти уже ночью, Ксенофонтов устало опустился на пол подвала, долго и жадно пил воду прямо из ведра, стоявшего здесь еще до их прихода, потом сказал:

— Жаркий денек выдался... Интересно, сколько же раз они на нас перли?

— Двенадцать, — немедленно ответил один из матросов.

— Двенадцать? — удивился Ксенофонтов, покачал головой, словно поражаясь, что его отделению удалось отразить столько вражеских атак. — Не ошибся? Может, одну за две считал?

Матрос обиженно пояснил:

— Я, как очередная начиналась, царапину на стене делал. Чтобы со счета не сбиться... Можете пересчитать.

— Зачем же пересчитывать? Просто думаю, насколько же ему Пинск нужен, если он так на нас набрасывается.

Разговор оборвался. Да и о чем было сейчас говорить, если они знали друг друга давно, если понимали, что главные испытания еще впереди?

Действительно, едва начало светать, немцы снова обрушили на десантников весь свой огонь, снова неизвестно сколько раз бросались на них в атаку. Во время одной из них кто-то из матросов и доложил:

— Мичман, патроны кончаются.

Доложил спокойно, словно сообщил о самом обыденном, хотя все прекрасно понимали, что это значило, да еще в таком упорном бою, как сегодняшний.

— Значит, нам теперь и вовсе жалеть немцев придется, — ответил Ксенофонт, не отрываясь от пулемета.

«Жалеть» в понимании Ксенофонтова — убивать сразу. Это отлично знали, и вопросов не было.

### 3

Второй день дул холодный ветер, по небу ползли серые тучи. Исчезли яркие краски, и все вокруг казалось застиранным, выцветшим. Даже лица моряков стали иными. Но это не от погоды. Вот уже второй день фашисты упорно сопротивлялись в Пинске, удерживая в своих руках и железнодорожный узел, и шоссе.

Но Карпенко это мало интересовало: он сидел под арестом в маленьком домике, который спешно оборудовали под гауптвахту. Все «благоустройство» фактически свелось к тому, что из пустующей комнаты убрали висевшее на стене мутное зеркало, а на окна прибили рейки. В щели между ними были видны улица деревни, проходящие по ней моряки, и серая река, казавшаяся застывшей. На завалинке под окнами устроился караульный, а его товарищи разместились в кухне, отгороженной от арестантского помещения тонкой перегородкой, и каждое слово было отчетливо слышно. Мало утешительного находил для себя Карпенко в подслушанных разговорах. Матросы обсуждали идущие бои, хвалили Козлова, Норкина, а он, Карпенко, для них словно не существовал. Если же и заходил разговор о нем, то говорили примерно так:

— Глянь, чего тот делает.

— Своди-ка его в галюн, что ли. Пусть проветрится.

И не только это угнетало Карпенко, заставляло думать о том, что его карьера, пожалуй, окончена, что никогда ему не носить фуражки с золотым ремешком. Несколько раз он просил дать ему возможность

поговорить с Головановым или Ясенывым. И однажды адмирал зашел. Карпенко вскочил, вытянулся и даже попытался изобразить на своем лице подобие радостной улыбки. Но адмирал спросил сухо, глядя на него холодными глазами:

— Какие у вас претензии?

— Товарищ адмирал... Я почти двадцать пять лет отдал флоту...

— У меня время очень ограничено, — перебил его Голованов и, заметив Мараговского, кивнул ему. Карпенко был готов поклясться, что при этом глаза командира бригады засветились участием.

— Слово старого служаки!.. Коммуниста! — вышалил Карпенко, стараясь разжалобить командира бригады (он, как и многие другие, знал, что адмирал неравнодушен к старослужащим, и захотел сыграть на этом).

— Трибунал разберется, — ответил ему Голованов и спросил Мараговского: — Есть претензии?

— Есть, — ответил Мараговский. — Можно до суда в боях участвовать?

Голованов испытующе посмотрел на него и ответил, чуть приметно вздохнув:

— Не в моей власти это, Мараговский, — повернулся и ушел.

Едва стихли шаги командира бригады, как Карпенко бросился плашмя на койку и закричал, молотя кулаками по подушке:

— Бюрократы! Живого человека не видят!

— Ты там полегче, — пренебрежительно бросил Мараговский. — Тебе самому надо было живого человека видеть. Вот и не сидел бы.

И давно бурлившая злоба нашла выход. Карпенко соскочил с кровати и, потрясая кулаками, подбежал к Мараговскому, который опять сидел на своем излюбленном месте — у зарешеченного окна.

— Молчать! Не забывай, кто я!

— Арестант, — криво усмехнулся Мараговский.

В ответ Карпенко разразился потоком брани и размахнулся. Мараговский встал, простым толчком кулака в грудь отшвырнул Карпенко к противоположной стене. Привлеченный шумом, в комнату заглянул караульный и спросил у Мараговского:

— Что тут у вас происходит?

— Воспитательную работу провожу.

Караульный перевел смеющиеся глаза на Карпенко и сказал, прежде чем исчезнуть:

— Дело хорошее. Только... Сам понимаешь, не дозволется.

Нет, не люди это, а выродки! Нет в них ни капли сострадания к человеку! Мараговскому они тайно передают табак, еду и даже компот, а что перепадает ему, Карпенко? Какая-то отвратительная баланда!

К Мараговскому, смотришь, нет-нет и заглянет кто-нибудь, перебросятся несколькими словами, поддержит в эти трудные для него часы. А к нему, к Карпенко, никто не приходит. Правда, вчера вечером Карпенко увидел Волкова, направляющегося к домику, и у него затеплилась надежда. Однако новый командир отряда, словно не заметив его, поздоровался только с Мараговским, присел с ним рядом, передал привет от товарищей, коротенько рассказал о боях в городе и закончил:

— Судить тебя, Данька, будет обязательно. Но мы думаем, что дальше штрафной роты не пошлют.

— Мне только бы не за решетку, — ответил Мараговский.

Волков посидел еще немного и ушел, на прощанье даже не кивнув Карпенко.

Муторно на душе у Карпенко, мрачные мысли лезут в голову. Хотя бы к следователю вызвали, что ли. Тот хоть разговаривает, спрашивает, где и когда служил, терпеливо выслушивает все объяснения и не позволяет себе никаких грубых выпадов.

Воспоминания о следователе несколько подняли настроение, заронили в душу искру надежды на то, что весь этот кошмар скоро кончится. Попугают, создадут видимость всеобщего осуждения, а потом, отругав основательно и нагнав страху, отпустят. Не осмелятся же они зачеркнуть всю долголетнюю безупречную службу?

Карпенко сел, посмотрел на Мараговского, окутанного клубами табачного дыма, пошарил в своих карманах и сказал ласково, будто друзья они с Мараговским:

— Дай, Даниил, закурить...

И опять тихо в маленьком домике. В щели между рейками смотрят арестанты. Оба они без погон и ремней, оба заросли черной щетиной, у обоих тоска в глазах. Но каждый тоскует о своем. И если Мараговский, кажется, был мысленно там, где дерутся товарищи, то Карпенко улетел далеко-далеко. Он уже вне войны, и

не злой Мараговский, а она, дорогая женушка, сидит рядом с ним.

Окурок ожег пальцы, Карпенко очнулся, швырнул его на пол, прижал ногой и снова завалился на кровать. Его глаза остановились на клопе, который вылез из щели в бревне. Клоп застыл на самом краю щели и, казалось, рассматривал своих кормильцев. Карпенко шевельнулся. Клоп поспешно втянул в спасительную щель раздувшееся брюшко. Карпенко позавидовал ему: был и нет его. Вот бы так и ему...

#### 4

— Найди! Хоть лопни, но найди мне его! — кричит Козлов в телефонную трубку. — Пока не найдешь и не снимешь — на глаза не показывайся!

— Есть, хоть лопнуть, но на глаза не попадаться, — умышленно перевирает на том конце провода Миша Аверьянц.

Козлов медленно кладет трубку на рычаг аппарата и долго не снимает с нее руки. Глаза закрываются сами собой. И не потому, что дела батальона плохи. Нет, батальон не только выдержал натиск обрушившихся на него самоходок и танков врага, но и заставил их отступить, спрятаться, и продолжал теснить противника, отодвигать его от берега.

Но немецкие автоматчики залезли в подвалы, забрались на чердаки домов. Конечно, выбить их можно, однако это очень дорого обойдется батальону, который уже и сейчас так поредел, что его можно свести в одну нормальную роту.

Козлову пришлось отослать в цепь всех своих связанных.

И все это было бы ничего, да у противника появились снайперы. Особенно досаждают один из них. Где он — неизвестно, а пули его бьют по связным именно здесь, около командного пункта батальона. Еще час назад это было терпимо, но теперь, когда вот-вот должно начаться общее наступление, снайперы могут основательно все подпортить. Вот и пришлось отдать приказ своему снайперу отыскать того молодчика. Если же говорить точнее — не снайперу, а матросу Аверьянцу.

Козлов невольно улыбнулся, вспомнив Аверьянца. Маленький, в шинели до пят и в огромной каске, навп-

сающей над глазами, он кажется мальчишкой, приклеившим себе для солидности черные усики и переодетым в военную форму.

Военная специальность у Миши — барабанщик в оркестре экипажа Балтийского флота. Как и когда он попал на фронт — Аверьянец не рассказывал, а сам Козлов не спрашивал: во время войны почти все дороги ведут на фронт. В батальоне Миша, на первый взгляд, был незаметен: о нем не писали в «боевых листках», его фамилия не упоминалась в приказах. Но не было такой черной работы, такого опасного дела, где бы он не участвовал. И матросы любили его за постоянную веселость и неунывающий характер.

Козлов познакомился с ним перед отправкой батальона на Березину. Матросы уже садились в машины, когда из казармы вышел Аверьянец в своей неизменной шинели. К ремню были прикреплены две противотанковые гранаты. Они оттянули ремень и болтались около колен. Козлов хотел уже прикрикнуть на командира взвода, который не привел в порядок это чучело, но Аверьянец вдруг вскинул вверх руки и залопотал неимверной скороговоркой:

— Митотальни, митотальни!

Это было так похоже на сдающегося в плен немощного тотальника, что батальон грохнул хохотом. Дюжие матросские руки подхватили Мишу, и он, придерживая оружие, влетел в кузов машины.

Так произошло знакомство, а немного погодя, приглядевшись, Козлов, как и все матросы, полюбил Мишу и даже сделал своим личным связным. Аверьянец платил ему тем же и охотно выполнял любые приказания своего комбата. Казалось, он вечно был занят больше всех, но у него всегда находилось время для шуток, порой рискованных и всегда неожиданных. Особенно запомнилась одна из них.

Во время стоянки на Березине матросы занимались штыковым боем, бросали учебные гранаты и делали еще многое, что может пригодиться в бою. Козлов в сопровождении Аверьянца обходил роты и хмурился: матросы лениво тыкали штыками в воздух, вяло бросали гранаты и при первой возможности норовили юркнуть в спасительную тень, чтобы, как они выражались, «припухнуть минут на триста». Сонная одурь овладела и офицерами. Они молча выслушивали разнос комбата,

отвечали, что им все ясно, все будет исправлено, но Козлов понимал, что это просто слова, что ничего не изменится, пока не исчезнет сонливость. А вот как ее разогнать? И тут Козлов случайно остановился глазами на гранате. Он выхватил ее из сумки, вставил запал, размахнулся, и граната, кувыркаясь в воздухе, полетела к кустам, стоявшим вдоль кромки оврага. Вот она упала, подскочила несколько раз, чуть покатилась и улеглась окончательно. Еще секунда, и... Но тут из кустов вылез Миша. Все замерли. А у Козлова противно задрожали колени, во рту пересохло.

Аверьянц схватил гранату и, высоко подняв ее над головой, побежал на застывших в недоумении матросов. Из-под черных Мишиных усов блестели оскаленные зубы, вытаращенные глаза казались безумными. Кто-то не выдержал и бросился в лес. За ним побежали другие. Козлов остался на месте: у него словно отнялись ноги.

— Держи, товарищ майор, вставляй новый запал и бросай еще раз, — сказал Миша, протягивая гранату.

Козлов машинально взял ее, так же машинально выбросил несработавший запал и только тогда облегчил душу руганью и вытер пот тыльной стороной ладони. Смущенно посмеиваясь, на поляну потянулись моряки. От недавней сонливости не осталось и следа.

Позднее, уже сидя в землянке, Козлов подробно расспросил Мишу, и тот сознался, что давно приметил в овраге полуразвалившийся блиндаж, и, думая, что комбат будет долго разносить матросов за нерадивость, решил воспользоваться моментом и вздремнуть. Уже залезая в блиндаж, он услышал знакомый щелчок, оглянулся и увидел падающую гранату. Миша, конечно, припал к земле, мысленно сосчитал через ноль до трех, подождал еще немного и тогда выскочил из укрытия. Дальнейшее видели все.

— Очень нехорошо, когда у командира автомат не стреляет или в гранате запал не сработает. Матрос может подумать — плохо командир оружие знает, — закончил он.

— А если бы она около тебя взорвалась? — воскликнул Козлов.

— Теория вероятности — наука хитрая, — усмехнулся Аверьянц.

Вот этот самый Миша теперь и вышел на охоту за фашистским снайпером.

Козлов снял руку с телефона, потер виски и подошел к амбразуре, прорубленной в фундаменте. До серой, как и небо сегодня, реки — рукой подать. Вдали чуть видны катера. Сейчас они молчат, но Козлов с благодарностью смотрит на них: если бы не они, туго пришлось бы десантникам, и особенно в первую ночь. Катера тогда тишком все же вошли в Пину и так дружно ударили вдоль берега, что противник очистил его, отошел к вокзалу.

Эх, сейчас бы еще немного пехоты, и двинуть бы в последний раз!

Зазвонил телефон. Козлов снял трубку и бросил привычное:

— Слушает «девятнадцатый».

— Говорит Миша. Потяни, пожалуйста, провод, а? Очень прошу!

— Что ты там опять затеял?

— Очень прошу! Сам должен понимать, лопаться неохота, а найти надо!

Аверьянец был взволнован, сыпал «ты», чего никогда не позволял себе в обычных условиях, и Козлов понял: это не просто причуда.

— Хорошо, потяну, — ответил он и тут же спросил: — А который?

— По которому говоришь.

Козлов подошел к выходу из подвала и, прячась за косяком, выглянул. Перед ним распласталась мертвая улица. На булыжниках, смоченных дождем, лежали небурные трупы. Больше — немецкие. Но вот те — свои, связисты. Их срезал снайпер. Где же спрячется он? Молчат, не отвечают дома с окнами, закрытыми ставнями. Молчат и черные провалы продухов в их фундаментах. Все молчит. Даже стрельба затихла. Козлов вздыхает, мысленно призывает все беды на голову неизвестного стрелка, появившегося так некстати.

Провод в руке Козлова ожил, забился, затрепетал. Борис Евграфович потянул его к себе. Провод поддавался с трудом. словно кто-то временами его задерживал.

Прошло минут пять. Козлов начал злиться: нечего сказать, хорошее дельце для комбата нашлось! И вдруг внезапно хлопнул выстрел. Козлов инстинктивно отпрянул к стене. Пуля пролетела где-то стороной, свиста ее не было слышно.

Проволока снова забилась в руках, и Козлов снова потянул ее к себе. Раздалось еще два выстрела. Козлов выглянул из подвала и увидел чучело матроса, которое дергалось и ползло вместе с проводом. В этот момент неожиданно и одиноко прозвучал выстрел русской винтовки. Немецкие автоматчики всполошились, открыли сумасшедший огонь, но скоро успокоились: целей не появлялось.

В подвал вошел Аверьянец. Расправил полы шинели, заткнутые за пояс, бережно поставил в угол винтовку со снайперским прицелом и доложил:

— Приказание выполнено.

— Свяжись со всеми ротами и соседями, пусть готовятся, — сухо бросил Козлов: приближался решительный час, и было не до сентиментальностей.

Точно в назначенное время бронекатера озарились вспышками орудийных выстрелов и понеслись к городу. Волны, поднятые ими, бились о берега, отскакивали от них и толклись на месте, не зная, где им укрыться от несущихся полным ходом катеров. Снаряды бронекатеров рвались по шоссе и около вокзала, где все еще группировались фашистские войска.

Вот первый отряд бронекатеров уже в городе. Из кубриков выскакивают солдаты и, пригнувшись, бегут к домам. Весь берег в серых пятнах шинелей. Козлов, выжидая момент, застыл у телефона. У порога, не спуская с командира глаз и готовый вскочить по первому его слову, сидит Аверьянец и обрывком тельника машинально протирает затвор винтовки.

Высадка десанта прошла удачно, и, приняв раненых, катера Норкина пошли обратно. Шестнадцать километров, которые теперь отделяли город от госпиталя, пролетели мгновенно.

Врач Сквинский, заложив руки за спину, встретил Норкина еще на берегу и сказал, поблескивая стеклами очков:

— Вас, Михаил Федорович, я скоро буду считать личным врагом.

— За что такая немилость?

— Как только вижу ваши катера — знаю, что опять везете искалеченных людей.

— Мы не извозчики и ничего не возим, — обиделся Норкин.

— А мне наплевать на тонкости флотского диалек-

та, — отмахнулся Сквинский, придирчиво рассматривая цепочку носилок, поднимающуюся в гору. И тут же совсем другим тоном, в котором слышалась искренняя боль: — Скоро ли все это кончится? Даже подумать страшно, сколько страданий человеческих!.. А у нас и обезболивающего ничего нет.

— Теперь уже недолго ждать. Думаю, сегодня Пинск освободим, — ответил Норкин, искоса наблюдая за Катей, выбежавшей из операционной и что-то делавшей около носилок.

— Дай бог, дай бог, — проворчал Сквинский, нахмурился и ушел.

К Норкину подбежал какой-то капитан с интендантскими погонями и торопливо, заикаясь от волнения, выпалил:

— Скажите, вы здесь главный? Мне нужно срочно доставить в город гранаты и патроны. Подбросьте, пожалуйста!

— А где вы раньше были? — обозлился Норкин.

— Понимаете, после дождей дороги развезло... Машины застряли и еле выбрались... Пехоте плохо будет, если все это не доставим. Очень прошу...

В груди Норкина появилась какая-то необъяснимая противная пустота, и сразу все стало ненавистным: и морозящий дождь, и Пинск, тонущий в серой дымке. Он хотел ответить грубым отказом, но тут глаза его остановились на Гридине, который стоял рядом. «За тобой, Михаил, сотни внимательных глаз следят», — вспомнились ему слова Ясенева, он пересилил себя, подмигнул Гридину и сказал, пряча за напускной беспечностью беспричинную тоску:

— Сходим, что ли, Леша? Надо же этого чудака от трибунала спасти.

— Есть идти в Пинск! — живо откликнулся Гридин. — Разрешите выполнять?

— Вместе пойдем, Леша.

Который уже раз идет катер знакомым фарватером. С каждым поворотом реки все ближе город. Норкин стоит перед рубкой и будто бы беспечно покуривает. Вокруг него громоздятся ящики с гранатами и патронами. Если придерживаться инструкции, то курить нельзя. Норкин курит нарочно. Пусть все видят, что ничего страшного нет в этом походе.

Гремят выстрелы только на окраинах города. Теперь, кажется, он действительно освобожден...

Почти все ящики были уже сгружены на берег, когда разорвалась первая мина. Норкин не слышал взрыва. Он стоял на носу катера, наблюдал за выгрузкой, и вдруг между ящиками вырвался сноп пламени. Не успел осесть черный дым, как солдаты разбежались, попрятались в щели. Одинокий катер, как мишень, торчал на реке. Мины, постепенно сжимая кольцо, начали напозать на него. Больше стоять нельзя ни минуты, и Норкин, чтобы поскорее отделаться от опасных ящиков, нагнулся, схватил ближний, положил его на перевернутый трап и толкнул. Ящик скатился и мягко упал у самой кромки воды. Матросы, увидев это, повыскакивали из башен, машинного отделения и мигом поскидали ящики на берег.

— Отходи! — разрешил Норкин.

Как привязанные, за ним двинулись разрывы мин. Невысокие столбики воды то и дело вырастали у бортов. Норкин подошел к рубке и остановился в нерешительности: заходить или нет? В рубке, бесспорно, безопаснее, но оттуда хуже видно. А впереди, как назло, два километра узкого извилистого фарватера, да еще перегороженного полузатонувшей землечерпалкой. Долго ли до греха?

Норкин остался на палубе.

Боли он не почувствовал. Просто ему вдруг показалось, будто кто-то невидимый толкнул его в бедро. И тотчас в ноге появилась тяжесть, по коже прокатилась горячая волна. Норкин навалился плечом на рубку и попробовал пошевелить пальцами ног. В сапоге захлюпала кровь.

Землечерпалка уже рядом. Еще несколько минут, и она останется позади, обстрел прекратится... Но это еще через несколько минут. А пока мины все рвутся, их горячие осколки раздирают воздух и воду. Вот один из них впился в броню рубки. На пять сантиметров ниже — и нет головы.

Может быть, постучать в рубку? Стук услышат, откроют дверь и вташат его... А вдруг именно в тот момент, когда дверь будет открыта, и разорвется мина?.. Нет, лучше потерпеть...

Странно ведет себя сегодня землечерпалка. Ее надстройка дрожит, качается из стороны в сторону... И бе-

рега тоже плывут куда-то, сливаются с водой, ползут к небу...

Норкин тряхнул головой. Все встало на свои места.

Когда катер проскочил землечерпалку, мина ударила в один из ее ковшей, и звук взрыва, сливаясь со звоном металла, долго плыл над рекой.

Дверь рубки распахнулась, высунулся сияющий Гридин и крикнул:

— Порядок, Михаил Федорович! Он совсем было накрыл нас, да мы тоже не лыком шиты!

— Леша, помоги сесть, — тихо сказал Норкин, протягивая руку.

Гридин не разобрал слов. Но он увидел бледное лицо комдива, его руку, ищущую опоры, и выскочил из рубки.

— Куда ранило, Михаил Федорович?

— В ногу...

— А еще куда? Весь реглан в дырах.

— Больше не зацепило...

Кругом уже толпятся матросы. Один притащил матрац, второй готовится наложить жгут; третий подносит к запекшимся губам кружку с водкой.

А голова кружится, кружится...

Мелко дрожит палуба катера, и каждый толчок рвет ногу, перетянутую жгутом. Норкин под полушубком лежит на палубе, навалившись спиной на оружейную башню. Вот и родной дивизион. На палубах катеров толпятся матросы. Один из них подносит к глазам бинокль. Что-то кричит. Из кубрика выскакивает Ленчик, хватывает у матроса бинокль.

Катера поравнялись.

— Мишка, — не то спрашивает, не то думает вслух Селиванов.

— Порядок, хлопцы, — говорит Норкин. Голос его предательски дрожит.

Шестнадцать километров было от города до госпиталя. Чепуха, а не расстояние! Только не для раненого, который пластом лежит на вздрагивающей палубе. Его тело тоже дрожит, и боль с каждой минутой становится невыносимее. И Норкин еле сдерживался, когда катер наконец-то подошел к знакомой деревушке.

На берегу было безлюдно. Гридин спрыгнул с катера и побежал к операционной.

— Где врач? — спросил он у Натальи.

— Оперирует, — ответила она и в свою очередь тоже спросила: — А зачем он? Может, я выручу?

— Комдив ранен, — бросил Гридин и решительно откинул полог палатки.

Сковинский посмотрел на Гридина поверх очков. В его взгляде вопрос: «Кто вам, молодой человек, дал право врываться сюда?»

— Комдив ранен, — почему-то робея, повторил Гридин фразу, которую мысленно твердил всю дорогу.

— Какой комдив?

— Норкин.

Зазвенел пинцет, ударившись о таз. Сковинский недовольно поморщился, посмотрел на побледневшую Катю и сказал:

— Пусть вас заменит Селиванова, — и когда Катя вышла, спросил деловито: — Какое ранение?

— Осколочное, в ногу.

— Немедленно на стол.

Норкина положили на стол. Он приподнялся и осмотрелся. Так вот как выглядит это таинственное место, где за последние дни побывало столько матросов... Обыкновенная палатка, стол, две табуретки и металлическая коробка на шипящем примусе.

— Ну-с, как это случилось? Не первый год воюешь, есть голова на плечах, а сунулся под какой-то дурацкий осколок. Видишь, он сам наружу просится. И мы сейчас его подцепим и выдернем! — ворчал Сковинский, а с Норкина уже сняли штаны, чьи-то умелые руки ослабили жгут. — Только придется потерпеть. Обезболивающего у нас, действительно, нет. Хотя все матросы терпели, так неужели комдив подкачает? Выдержим, а?

Норкину и больно, и стыдно, и смешно: кругом женщины, а он лежит на столе в чем мать родила, да еще и отвечать на такие глупые вопросы должен.

— Стоп, у меня есть обезболивающее, от которого ни один фронтовик не отказывался. Дайте ему... двести граммов спирта.

Все приготовления закончены. Сковинский испытующе смотрит на захмелевшего Норкина и говорит:

— Для страховки мы его все же прижмем.

Кто-то грудью ложится Норкину на ноги, а плечи нежно обнимает Катя. Норкин смотрит в ее глаза и успокаивается.

— Комдив, возьмитесь за плечи сестры и держитесь крепче. Она женщина с характером... Очень больно будет — кричите.

Норкин кладет руки на Катины плечи. Она крепко обнимает его и замирает, словно это ей сейчас будет невероятно больно.

Что-то холодное и острое входит в ногу... Пока еще можно терпеть... Боль пронизывает все тело. Норкин судорожно напрягается, закусывает губу.

— Миша... Мишенька, — шепчет Катя. На глазах у нее слезы.

## 5

Сковинский подошел к Норкину, локтем отстранил Катю, прильнувшую к груди любимого, и спросил, показывая зазубренный осколок:

— На память возьмешь или в утильсырье бросить?

Боли не чувствовалось, по ноге разлилась необъяснимая легкость, и Норкин ответил, блаженно улыбаясь:

— В утиль! К концу войны авось еще не один поймаю!

— Ты эти штучки брось! И оперировать не буду, и спирта больше не дам!.. Несите его в палату.

Норкин осторожно перебрался на носилки, улегся, закинул руки за голову. На улице носилки остановили матросы. Они появились неожиданно, плотным кольцом окружили санитаров.

— Сами донесем, — сказал Волков и тут же прикрикнул на санитаров: — А ну, отойди!

Санитары, разумеется, не стали спорить. Пусть несут, если охота. И снова, покачиваясь, поплыли носилки.

— Поправляйтесь, товарищ комдив! — услышал Норкин, когда его пронесли мимо гауптвахты.

Это крикнул Мараговский. Норкин помахал ему рукой. И тут матросы свернули к реке.

— Не туда, товарищ лейтенант, несут, его вон куда надо, — подсказал один из санитаров, показывая на сарай, где лежали раненые.

— Думаешь, сам не знаю, куда его надо? — ответил Волков.

Вот и катера. Они, как всегда, стоят дружной стайкой. Между ними — тральщик Мараговского. Широкий

настил из нескольких трапов, положенных рядком, соединяет его с берегом.

— Осторожно, — предупреждает Волков, и еще несколько матросов берутся за палки носилок.

— Стойте! Немедленно прекратите безобразие! — доносится сзади голос Сквинского.

Матросы смотрят на Волкова, тот кивает. Носилки опускаются на землю.

— Что это за самоуправство? — кричит Сквинский. — Несите раненого немедленно в палату!

— Товарищ военврач...

— Я не с вами разговариваю, лейтенант!

— Тогда не болтайте под ногами! — кричит и Волков.

Спор разгорается, переходит в перебранку. Спирт берет свое, боль окончательно затихает, и Михаил с интересом, посмеиваясь в душе, прислушивается к перебранке. Из слов Волкова он узнает, что «офицерская палата» — обыкновенный сарай с земляным полом, набитый ранеными. А на катерах и постель, и питание, и уход — лучше не надо!

Сквинский постепенно сдается. Чувствуется, что противится он только из-за оскорбленного самолюбия.

— А как вы втиснете его в ваши люки? Там и здоровый человек кости ломает! Да и душно в каюте, а раненому нужен свежий воздух, — убеждает Сквинский.

— И это учтено, доктор, — отвечает Волков, умышленно подпустив «доктора» (докторов медицинских наук не так часто встретишь в полевом госпитале, а майоры и подполковники — на каждом шагу). — Видите вон тот тральщик? Команды на нем почти нет, комдив расположится в кубрике, а матросы переберутся в машинное отделение. Ясно? Тишина, покой, уют!

— А как быть с обслуживанием раненого? Надеюсь, вы понимаете, что ему ни в коем случае нельзя вставать? Минимум — с недельку.

На лице Волкова растерянность.

— Это уже организовано, — спешит на помощь Жилин и торжествующе подымает над головой стеклянную «утку».

В толпе матросов приглушенный смешок.

— Где взяли? — спрашивает Сквинский.

— Мобилизовали, — отвечает невозмутимый Жилин.

Сковинский берет сосуд в руки, рассматривает его, краснеет и гневно кричит:

— Как она попала к вам? Это моя «утка»!

— Скажи пожалуйста, неужто личная? Поди, еще и именная?

У Сковинского округлились глаза. Волков стиснул зубы, чтобы не расхохотаться. Только у Жилина самое невинное выражение лица. Норкин не может сдержаться и хохочет. За ним смеются Волков и матросы. Сковинский несколько секунд еще крепится, потом фыркает и тоже смеется.

— Только, чтобы уход за ним был настоящий! Лично проверю! — наконец говорит он, вытирая глаза.

За то время, пока Норкина доставляли в госпиталь, удаляли осколок и перетаскивали на катер Мараговского, соединения 61-й армии выгнали из Пинска последние немецкие части. За ними по шоссе и вдоль железной дороги к Кобрину и Бресту устремились армейцы, а вдоль берега Пины шли только пять матросов во главе с мичманом Ксенофонтовым. Шли исключительно для того, чтобы разведать, а можно ли и здесь, выше города, действовать катерам. Шли в стороне от тех дорог, по которым бежали немцы, но и тут везде были следы панического отступления: машины — легковые и грузовые, наспех поломанные, исковерканные, и такие, что только поверни ключ в замке зажигания — сразу мотор заработает. В машинах и просто на земле валялись чемоданы, набитые «трофеями», аккордеоны, манящие перламутровой отделкой, и даже целехонькие фотоаппараты.

Много валялось всякой всячины, но моряки равнодушно проходили мимо: зачем обременять себя имуществом, когда война еще не кончена?

Они дошли до указанного им рубежа, когда один из них сказал:

— Гляньте, товарищ мичман, никак живого коня они бросили.

— Не одного, а двух, — моментально подправил дружкой.

Действительно, два коня-тяжеловоза были метрах в ста от моряков. Один из них, увидев людей, побрел к ним, шатаясь и с трудом переставляя ноги — кости, обтянутые кожей. А второй лежал, он встать уже не мог.

Только чуть приподнял голову и сразу же уронил ее на траву.

— Так поспешно гады драпали, что коней загнали, — сказал один из матросов.

Мичман несколько минут молча стоял над лежащим конем, потом сказал, тяжело вздохнув:

— Беда жалко коней.

Тотчас один из матросов лязгнул затвором автомата.

— Ты чего? — будто проснулся мичман.

— Вы же пожалели их, — ответил тот, не понимая, почему мичман начинает багроветь.

— Думать надо! Нешто можно коня с фашистом равнять? Да ни в жизнь! Этот конь, хотя он и немецких кровей, можно сказать — по-русски ни слова не понимает, в любом крестьянском хозяйстве еще во как пригодится! А ты к нему с той же меркой, что и к фашисту! — набросился Ксенофонов на матроса.

— Так он же, товарищ мичман, так ослаб, что на ноги не встанет. Не на себе же его нести? — поспешил на помощь товарищу кто-то.

— А мы на что? — еще больше взъярился Ксенофонов, хотел сказать еще что-то, но вдруг забросил за спину автомат, несколько раз обошел лежащего коня и сказал вовсе неожиданное: — Чего встали? Подымай его!

И они с помощью подошедших солдат подняли коня, поставили на дрожащие от слабости ноги. Потом облепили с боков, подперли плечами и повели.

Так они и вернулись в Пинск: впереди — Ксенофонов и его матросы, поддерживающие с боков немецкую обозную лошадь, а на несколько шагов сзади — мальчонка в постолах, держащийся за гриву второй.

## 6

Ласковый солнечный луч настойчиво пытается пролезть под опущенные веки. Чтобы избавиться от него, Норкин шевельнулся и тотчас глухо застонал: волна боли обрушилась на раненую ногу.

— Что надобно, товарищ комдив? — слышит Норкин чей-то голос и открывает глаза.

Над ним склонился Жилин. Лицо у него заспанное, измятое. На щеке заметен отпечаток пуговицы буццалата, который в эту ночь служил ему подушкой.

— Я тут задремал малость, — извиняется он. — Если что нужно, я в момент организую.

— Ничего мне не надо, Жилин, — отвечает Норкин и опять закрывает глаза. Как жаль, что все это сон. И горы, и мама, стоящая на крыльце...

— Может, нужда какая? — не отстает Жилин. — То же можем. Ребята ночью и судно «мобилизовали».

— Спасибо, Жилин, это не надо... Вот если бы поесть, — сдерживая невольную улыбку, отвечает Норкин.

— Чайку? Или молочка парного?

— А где ты возьмешь его, молоко?

— Скажи пожалуйста, неужто и молока здесь достать нельзя? Матросы-то без рук и головы, что ли? Ежели бы вы знали, как они инвентарь мобилизовали...

Норкин устал лежать на спине, шеvelyнулся и опять поморщился от боли. Жилин истолковал это по-своему, оборвал свой рассказ и сказал, подымаясь по трапу:

— Одним духом слетаю!

Где-то на берегу залиvisto кричит петух. Ему отвечают второй, третий. Эта своеобразная перекличка растет, ширится, постепенно удаляясь от катера. Обыкновенное мирное утро на окраине провинциального городка. Норкин отчетливо представляет себе маленькие домики, озаренные восходящим солнцем. Утренний ветерок чуть колышет занавески на окнах. Кое-где хлопают двери, и хозяйки, разомлевшие от сладкого сна, неторопливо приступают к своей большой незаметной работе.

А ведь еще вчера здесь все казалось вымершим.

Интересно, а почему во время боев он никогда не слышал петухов? Странно...

Норкин уже знал, что вчера остатки недобитого немецкого гарнизона бежали на Кобрин, Брест. Знал и то, что бронекатера попытались по Пине преследовать врага, но за годы войны мелководную Пину ни разу не чистили и она заросла травой, которая огромными пучками наматывалась на винты катеров. Как и предполагал Норкин, Днепровская флотилия остановилась. Над двухэтажным домом, стоявшим у реки, взвился военноморской флаг. Здесь разместился штаб флотилии.

Почти всю ночь над землей рассыпались ракеты, почти всю ночь звучали песни. Это матросы и солдаты отмечали победу. А Норкин лежал на матросском рундуке и прислушивался к ликующим голосам. Потом в

кубрик ввалилась целая толпа моряков, мелькнуло и Катино лицо.

Все близкие побывали, а Катя так и не зашла в кубрик, будто избегает встречи с ним, с Михаилом...

Жилин вернулся скоро и в сопровождении Василия Никитича. Чернышев, тщательно выбритый и надушенный, выглядел именинником. Осторожно пожав руку Норкина, он сказал:

— Поздравляю, товарищ капитан-лейтенант. Теперь я, так сказать, командир базы гвардейского Бобруйско-Пинского дивизиона.

— Не понял, Василий Никитич, вы меня или себя поздравляете? — засмеялся Норкин.

— Конечно, себя, — нисколько не смутился Чернышев. — Вас, уверен, все поздравят, а кто вспомнит о каком-то командире базы? Да и стоит ли он того? Выдавал хлеб и крупу, считал портянки, собирал стреляные гильзы, — в голосе Чернышева слышна обида. Норкин согласен с Чернышевым. Действительно, поздравил бы он базовиков или нет? Пожалуй, забыл бы...

Норкину стыдно, он хмурится.

— Виноват, товарищ комдив, — неожиданно вмешивается Жилин. — Запомятовал и не сказал товарищу интенданту, чтобы он по такому случаю привел своих.

Второй раз матросы выручают его! Норкин от злости и стыда кусает губы. Чернышев смотрит на расстроенного комдива, на покаявшегося Жилина, расплывается в улыбке и говорит:

— Пустяки, товарищ комдив! Я ведь так... К слову пришлось... А матросам я обязательно передам, что вы хотели их специально вызвать. Сами увидите, как они обрадуются.

Посидев еще немного и пообещав забежать попозже, Чернышев ушел.

На столе стоит большая кринка парного молока. Рядом с ней лежит вкусно пахнущая горбушка хлеба домашней выпечки.

— Жилин.

— Здесь я.

— Зачем ты соврал?

— Нельзя иначе, товарищ комдив. Вы за ранением, может, и забыли, а матрос любит, чтобы о нем помнили, — убежденно поясняет Жилин и, считая этот вопрос исчерпанным, продолжает уже тоном старой доброй

няньки: — Чего не пьете-то? Самое парное. Можно сказать, при мне и доили... Или, может, чего покрепче? Уточку или гусенка?

— А это ты откуда возьмешь?

— Так ведь место здесь дикое, глухое, раздолье для охотника, — поясняет словоохотливый Жилин, но смотрит мимо Норкина.

— Тоже мобилизовали?

— А если и так? — неожиданно озлился Жилин. — Для себя, что ли? Да мы и на пшенке — чтоб ей сгнить на корню! — проживем! Неужто командира раненого нельзя побаловать? А хозяин этого гусака где? Кто он? Если свой человек — поймет, не осудит. Фашистский прихвостень, куркуль проклятый — так ему и надо, сатане лапчатому!

Со всем в принципе согласен Норкин. Не понял только, почему вражеский пособник — сатана лапчатая.

Давно выпито молоко. Не обойдена вниманием и гусятинка. Солнце не жалеет лучей, потоками шлет их на землю, и в кубрике душно. Норкин то и дело вытирает полотенцем пот, струйкой бегущий по телу. Никто почему-то не заходит, и настроение портится, кажется, будто нога чешется, кость мозжит. Заболели даже ребра, перебитые еще под Ленинградом. А тут еще и мухи. Они влетели в иллюминаторы и кружатся около лица, садятся то на лоб, то на самый кончик носа.

Обидно и за свою беспомощность, и за товарищей, которые так быстро забыли его. Один только Жилин терпеливо сидит с ним.

Случайный порыв ветра занес в кубрик звуки марша. Норкин приподнялся на локтях и спросил:

— Что там, Жилин?

— Партизан встречают.

— Что же ты молчал?

— А зачем расстраивать?

— Кто есть на катере, кроме тебя?

— Вахтенный.

— Тащите меня на палубу.

— Мигом, товарищ комдив! — Жилин подбежал к трапу, тут остановился, подумал и спросил: — А как с медицинской точки зрения? Не вредно?

— Давай!

И вот Норкин уже лежит на надстройке кубрика. Здесь гуляет приятный ветерок, отсюда хорошо видно

город, омытый дождем. Его железные и черепичные крыши яркими пятнами лежат среди зелени деревьев. Флаги, цветы, хвойные гирлянды и снова флаги. Звуки марша, словно прорвавшиеся сквозь невидимую преграду, мощно и торжественно зазвучали над рекой. Из переулка на набережную выходит оркестр. За ним, немело печатая шаг, идут люди в шинелях, немецких френчах, пальто и пиджаках, идут с оружием самых различных марок. Проходят партизанские бригады, сжимаемая руками оружие, добытое в боях. Кажется, сама грозная Беларусь вышла из болот и лесов.

Несколько часов шли колонны партизан.

А вечером, когда жара спала, вереницы людей потянулись к парку. Они провожали в последний путь героев, павших в боях за Пинск. Не играли оркестры похоронных маршей (за недостатком времени не успели разучить), не было и огромных венков, увитых широкими траурными лентами. В простых, насоро сколоченных гробах несли останки героев.

В парке гробы опустили в братскую могилу. Сняли каски, фуражки, бескозырки и пилотки, замерли с обнаженными головами. Яснев сказал короткую речь. Комья земли застучали о крышки гробов. Взвод матросов вскинул винтовки. Грянул первый залп прощального салюта. И, вторя ему, дружно ударили пушки с реки. Над высоким холмиком склонились знамена...

Все это Норкину рассказали товарищи, которые под вечер явились к нему.

Уже после отбоя ушли от него последние посетители. Норкин устало откинулся на подушку. Хоть и приятно товарищей видеть и чувствовать их заботу, но утомительно.

— Стой, кто идет? — окликнул кого-то вахтенный.

— Свои, из госпиталя.

Норкин приподнялся и подоткнул под себя простыню. Этот голос он узнал бы из тысячи схожих. В кубрик, щурясь от яркого света электрической лампочки, вошла Катя. Черные глаза ее возбужденно блестели, на щеках играл лихорадочный румянец. Но голос ее прозвучал на удивление официально:

— Как вы себя чувствуете? Доктор Сквинский приказал мне навестить вас и сделать перевязку.

— А так, без приказанья, не могла прийти? — вырвалось у Норкина.

Катя вскинула на него глаза, в глубине которых на мгновение мелькнул упрек, но тотчас же потупилась и сказала еще суше:

— Прикажите принести воды. Мне нужно вымыть руки.

Норкин решил больше не разговаривать с Катей. Подумаешь, цаца! Возомнила о себе бог знает что! А если приглядеться — ничего особенного. И не красивая даже... Вернее, и красивой-то лишь потому кажется, что других женщин близко нет. А по бесптичью, известно, и лягушка за соловья сойдет.

Катя окончила перевязку и хотела уйти, но, словно в растерянности, остановилась. В глазах ее, как и тогда в операционной, появилось что-то особенное, нежное. Норкин осторожно взял ее руку и сжал безвольные пальцы.

— Не уходи... Катя, — робко попросил он.

Она послушно присела у стола и от нечего делать начала листать книжку, забытую Жилиным. Полистала и сказала так просто, будто они и не ссорились никогда:

— Хочешь, прочитаю?

— Читай...

И она читала, а он, убаюканный ее голосом, задремал. Сквозь сон он слышал, как она закрыла книгу, почувствовал, что она подошла к нему, наклонилась, обняла, чуть приподняла за плечи и поправила подушку. Ее губы коснулись его лба. Норкин открыл глаза и прижал ее к себе. Катя не сопротивлялась.

— Значит, помирились? — шепотом спросил Норкин.

Катя осторожно освободилась от его рук, выпрямилась, поправила берет и ответила, покачав головой:

— Нет, Миша... К старому дорожка заказана...

— Почему? Не любишь?

— Ох, если бы так! — вырвалось у нее.

— Так в чем же дело? Почему раньше было можно, а теперь нельзя?

— Я буду матерью, — помолчав, сказала она и медленно пошла к трапу.

— Катя! Пстой!

Она, придерживаясь рукой за борт, продолжала подыматься.

— Ты еще придешь?

— Не знаю...

Норкин откинулся на подушки. Чего-чего, но только не этого ожидал он от Кати! Что же получается, а? Выходит, скоро он станет отцом?..

Интересно, придет завтра Катя или нет?

В кубрик спустился вахтенный, посмотрел на комдива, который лежал неподвижно и с закрытыми глазами, потушил свет и вышел, ступая на носки.

Теперь Катя навещала Норкина ежедневно, и визиты эти становились все продолжительнее и продолжительнее.

Первое время после ее столь неожиданного признания Норкин держался настороженно, опасаясь, как бы она не предъявила к нему претензий, не набросила на его шею невидимую петлю и не заарканила бы на всю жизнь. Однако Катя держалась просто, по-дружески, и постепенно он успокоился, стал смотреть на нее будто другими глазами. И если раньше он видел и замечал только одну ее физическую красоту, то теперь бросились в глаза ее серьезность и какая-то особенная женственность. Действительно, движения Кати стали более плавными, она теперь ходила осторожно и уже не перепрыгивала с катера на катер, как случалось прежде. Это была далеко не прежняя беспечная хохотушка. И вообще Катя сильно изменилась.

И Норкин не заметил, как начал относиться к ней иначе, нежели раньше. Он уже не стеснялся, не краснел, когда кто-нибудь заставлял их вдвоем.

Обычно беседы их текли мирно, но вот сегодня уже несколько раз вспыхивали споры. Началось с того, что Катя ни свет ни заря прибежала на катер, растормошила спящего Норкина, подняла на ноги матросов и заявила:

— Сегодня командир бригады будет вручать ордена и медали. И сюда зайдет. Нужно сейчас же привести все в божеский вид.

— Ну и пусть приходит, — вяло ответил Михаил, хотя его сердце и забилось беспокойно. — Мы к встрече начальства всегда готовы.

— Не городи, пожалуйста, чепухи! — напустилась на него Катя. — Может быть, по-вашему это и порядок, а у нас, женщин, то же самое называется свинарником!

— Какой свинарник? Пылинки не найдешь! — возмутился Норкин.

— А это что? — спросила Катя, поднимая окурок.

— Понимаешь, ночью...

— Несите мне воды, тряпку и убирайтесь все до единого отсюда, — распорядилась Катя таким тоном, словно всю жизнь у нее только и дела было, что командовать матросами. — На верхней палубе пусть хоть черт ноги сломит — слова не скажу, но сюда и не суйтесь! И комдива заберите. Пусть проветрится.

— С такой женой не пропадешь, — пряча усмешку в углах губ, проворчал Жилин, помогая Норкину перебраться на его излюбленное место перед рубкой.

— Бешеная, — заметил Норкин.

— А с нашим братом иной раз только так и надо. Вот возьми, скажем, такой случай из моей семейной практики, — начал Жилин и полез в карман за вместительным кисетом.

— Долго еще мне придется воду ждать? — неожиданно раздался у его ног голос Кати. Он глянул вниз, увидел в иллюминаторе ее лицо, поспешно спрятал кисет и сказал:

— Несу, несу...

Больше часа Катя мыла кубрик. Норкин слышал шлепки мокрой тряпки, журчание воды. Потом в кубрик спустился Жилин, а еще немного погодя до Норкина донеслась его негромкая скороговорка:

— Тут, товарищ сестрица, тоже с умом прибираться надо. Вот, скажем, палубу ты выдраила прилично. А если адмирал в трюм заглянет? Что тогда? Водичка-то грязная туда стекла?

— Не заглянет он...

— Это Голованов не заглянет? Это ты, сестричка, брось. У него особый нюх на непорядки.

Жилин заговорил тише и потому до Норкина донеслись только Катины слова:

— А вы про это комдиву не говорите. Он смеяться надо мной будет.

— Скажи пожалуйста, а мне какое дело? Ваше семейное дело, вы и разбирайтесь.

Но все это были только цветочки, а ягодки начались после того, как Норкина торжественно водворили на старое место. На рундуке лежали белоснежные простыни с кружевным подвесом (Катя принесла или матросы «мо-

билизовали?»), подушки были взбиты, а на столе в консервной банке торчал букет полевых цветов. Катя ждала справедливой оценки своих трудов и выжидательно смотрела на Норкина, а он, чтобы немного позлить ее, небрежно бросил:

— Мещанство. Канарейку бы еще.

— В чем ты видишь мещанство? — приняла вызов Катя.

— И подвес, и цветочки...

— Много ты понимаешь! Если хочешь знать, уют — тоже показатель культурности человека! Или тебе гаечный ключ вместо цветов поставить?

Долго они спорили — он шутя, а она серьезно. Потом Катя махнула рукой, что в ее лексиконе означало: «Чего с дураком связываться?», — и подала Норкину его парадный китель:

— Надень, пожалуйста.

— Это еще зачем?

— Как зачем? Голованов сразу два ордена вручать тебе будет, так не к нижней же рубашке их прикреплять!

— Тогда, Катя, я тебе скажу так, — начал Норкин, нахмурившись. — Всему есть предел. Понятно? Не забывайся и особенно не командуй.

В это время вошли Чигарев и Селиванов. Катя немедленно бросилась к ним, надеясь найти поддержку:

— Леня, Володя! Да уговорите хоть вы это идолище! Он меня ни вот столечко не слушается!

Чигарев, для которого после женитьбы ничто подобное не было диковинкой, улыбнулся, присел на рундук рядом с Норкиным, а Селиванов, более отзывчивый на чужую беду, принял удар на себя и спросил участливо:

— Что он еще натворил?

— Китель надевать не хочет! К нему сам Голованов придет, а он...

— Помолчи, пожалуйста, надоело, — поморщился Норкин. — Заладила: «Сам Голованов!»

— Ты, Мишка, погоди, не горячись, — вмешался в разговор Селиванов. — Голованов — все же адмирал, и желательно...

— А если я не могу, как желательно? Он-то знает, к кому идет?

— Китель-то ты можешь надеть?

— Представляю себе картину: в кителе с погонами, при орденах и без штанов возлежит на рундуке комдив! Да вы что, высмеять меня надумали?

У Норкина задергались губы, он побледнел. И Катя была уже не рада, что затеяла этот разговор. Пусть хоть совсем голый лежит, только бы не волновался, не психовал.

— Ведь не видно... — начал Селиванов.

— Тебе еще и видеть надо?!

— Предлагаю сменить пластинку, — вмешался в разговор Чигарев. — Я, Миша, вот зачем к тебе пришел... Может, спрыснем вечерком награды?

— Что ж, приходите, буду рад...

Пока Норкин и другие моряки считали минуты в ожидании наград, к тюрьме, стоявшей на западной окраине города, конвой подвел двух арестантов. Это были Мараговский и Карпенко. Карпенко еле волочил ноги, слезы застилали ему глаза и он запинался почти на каждом шагу. Ведь только подумать: десять лет тюрьмы!.. «Приговор окончателен и обжалованию не подлежит», — еще звучали в его ушах заключительные слова председателя трибунала. Десять лет...

Мараговский держался хорошо. Только дергающееся веко и выдавало его душевное волнение. Хотя его и поразило приговор, на пять лет лишивший свободы, он не терял надежды выкарабкаться. Как? Там видно будет... Можно и просьбу о помиловании написать...

Скрипнула калитка, и арестантов ввели во внутренний двор тюрьмы. Обыск, унижительный для честного человека, каким считал себя Мараговский, и переход в камеру. В пустом длинном коридоре гулко раздаются шаги надзирателей. Шаркает подошвами Карпенко. Звук противный, коробящий. Двери, обитые железом. Около одной из них остановились. Надзиратель вставил в замочную скважину большой ключ, повернул его, и дверь открылась. Полумрак, и впереди окно с толстой железной решеткой.

Мараговский на мгновение замер перед порогом, закрыл глаза, потом, решившись, тряхнул стриженной головой, вскинул ее и вошел в камеру. Следом протиснулся Карпенко.

За ними лязгнул замок.

## Глава десятая

### ВПЕРЕД, ГВАРДИЯ!

#### 1

В результате летнего наступления 1944 года советские войска почти полностью освободили от немецких захватчиков родную землю и во многих местах даже перешли за ее границы. Немецкий фронт, как лед во время половодья, трещал, ломался, и обломки его, подобно льдинам, неслись по воле хлынувшего потока. Но если половодье длится сравнительно недолго, то напор советских войск не ослабевал со временем, а усиливался, удары наносились неожиданно и, по мнению фашистов, — в самых невероятных местах. Давно ли, кажется, немецкое командование подтягивало резервы к Ленинграду, потом спешно перебрасывало их на Украину, как вдруг под угрозой уничтожения оказалась одна из лучших его группировок — «Центр».

Не успели фашистские радиокomentаторы закончить цикл бесед о неприступности линии обороны немецких войск в труднопроходимых болотах Белоруссии, как пришлось кричать уже о том, что самое разумное сейчас — отойти за Вислу и тут окончательно закрепиться. Да такое заявление и пора было сделать: советские войска взяли предместье Варшавы — Прагу; перед их глазами была Варшава, окутанная дымом пожаров. Этого ни от кого не скроешь.

На запад шли вереницы эшелонов: по «зеленой улице» проносились к фронту танковые и артиллерийские части и соединения, эскадрильи самолетов снимались с обжитых аэродромов и почти безбоязненно располагались по соседству с наземными войсками. Да и чего им было бояться? Уже не существовало вопроса о господстве в воздухе. Давно и безоговорочно советские летчики решили его в свою пользу.

И куда бы ни упал взгляд — везде видны следы успешного бегства фашистов: исправные машины, сваленные в кюветы или застрявшие на ухабах проселочных дорог; танки с перебитыми гусеницами и невдалеке от них — склады снарядов, мин и патронов; неспаленные деревни и факелы, валяющиеся как вещественные доказательства на их улицах; приказы о том, что

немецкая армия отсюда не отступит, дощечки с надписью: «Минное поле». И везде — трупы, трупы, раздетые и ограбленные фашистскими мародерами.

В потоке наступающих войск шла и Днепровская флотилия. Две ее бригады были погружены на железнодорожные платформы и начали свое движение к конечному пункту маршрута — к станции Треблинка.

А от Треблинки по Западному Бугу до реки Нарев, где стоял тогда фронт, им предстояло пройти 93 километра. Разве это расстояние? Особенно для бронекатеров с их скоростью?

Головным, как и раньше, шел дивизион Норкина, которым временно командовал Селиванов. Катера, стоявшие на платформах, казалось, летели за убегающим противником. Под зовущий вперед перестук колес жизнь на катерах шла своим чередом: около пулеметов дежурили зенитчики, а остальные штудировали набившие оскомину наставления, инструкции и памятки. Зато блаженствовали редакторы «боевых листов», просматривая пачки корреспонденций. Да это и понятно: за время боев о многом захотелось рассказать матросам, а где же лучше всего писать заметку или вымучивать стишок, как не на занятии, когда ты заранее знаешь, какое слово скажет сейчас руководитель?

Но сегодня, хотя время было и неурочное для этого, моряки толпились на палубах и молча смотрели вдаль. Чигарев, переняв от Норкина его манеру, сидел на надстройке кубрика, навалившись спиной на рубку. Он был в парадном кителе со всеми орденами и медалями. Даже пуговицы надраил до белесого блеска. И причина была одна: на этом перегоне эшелон пересечет государственную границу. Так неужели можно предстать перед поляками в затрапезном виде?

Граница... Из-за нее ползли к нам в дом провокаторы, диверсанты, шпионы и просто бандиты. Она всегда первая принимала удар вражеских полчищ.

Граница... Каждый ее метр обильно полит кровью многих поколений и поэтому священен...

— Вот она, смотрите!

Полосатый столбик с государственным гербом и около него часовой. Немного дальше — другой такой же столбик, но на нем уже иной герб, около него другой часовой в непривычной для глаз форме. Вот и все. Очень просто и неожиданно...

И земля, по которой бежит поезд, — обыкновенная земля. И не отличишь ее от той, что осталась позади. Здесь она такая же истрескавшаяся от жары, так же плотно утрамбованная солдатскими сапогами. Даже елки и березы точь-в-точь такие же, как на Родине.

— Скажи пожалуйста, какая напасть на мою голову, — тихо говорит Жилин.

— Что случилось? — спрашивает Гридин, который по старой памяти завернул на тральщик.

— Погибну я теперь со своим образованием, — сокрушается Жилин. — Вот демобилизуюсь, вернусь в пароходство, а мне и всучат листок по учету кадров. Дескать, заполняй. Раньше-то я на все каверзные вопросы просто и кратко отвечал: «За границей не был», «В контрреволюционерах не состоял». А теперь ведь все подробно описывать придется? И когда, и с кем, и где, и с какой целью. С ума сойти!

— А ты пиши кратко: «По приказу начальства, а зачем — ему известно», — шуточно подсказал кто-то.

— Начальству-то что? С него взятки гладки, а нашему брату, который в грамоте не силен, отдуваться придется.

Гридин считает момент подходящим и говорит:

— Я ведь к вам делегатом пришел. — Матросы окружают его, стихают разговоры. — Броняшки ли, тральцы ли — мы с вами все равно одной кости. Вот и попросили меня матросы с броняшек передать вам, что они понимают, какая судьба им выпала, и честь флотскую не замазуют. Сами должны понимать — здесь не дома...

Очень правильно сказано. Здесь не дома. Не одни друзья вокруг будут. В этом убедились еще на пути к Бресту. Сильна кое в ком старая закваска, кое-кто еще бредит Великой Польшей от моря до моря, не хочет понимать происходящего, надеется на возврат далекого прошлого. А когда рушатся все надежды — достает из тайника припрятанное оружие и всю злобу вкладывает в выстрел из-за угла. Есть такие людишки. Бродят они по лесам, отсиживаются в болотах и лишь темной ночью, как тати, вершат свои черные дела.

— Ясно, товарищи? — спрашивает Гридин.

— Куда яснее, — отвечает за всех Жилин и, сгорбившись, лезет в кубрик.

К месту назначения дивизион Норкина благополучно прибыл 12 сентября. Паровоз подвел состав к берегу реки, свистнул на прощанье и ушел. Моряки попрыгали с платформ на землю и с интересом разглядывали реку, которая теперь должна была нести их дальше на запад. Кем будет она для них? Любящей матерью или злой мачехой? На глаз трудно определить. Западный Буг здесь немного шире Припяти в верховьях, но явно мелководен — проселочная дорога спокойно уходит в воду и выныривает на том берегу. Однако и это радовало: противно сидеть без дела в бронированной коробке и со скуки считать телеграфные столбы. Да и как-то неловко. словно велосипедисту, который бредет по дороге со своей машиной на плече.

Пока матросы осматривали берег, реку и местных жителей, робко наблюдавших за ними издали, появились Селиванов с каким-то поляком, который, одетый в довольно потертые пиджак и брюки, с непокрытой головой, где ветерок шевелил жиденький пушок, казался слабым, даже забитым.

— С этой цацей, похоже, кровушки попортим.

— А зачем ее портить? Саботировать начнет — Буг рядом...

Так рассуждали некоторые матросы, наблюдая за беседой своего командира с поляком. Однако скоро все убедились, что поляк, оказавшийся местным начальством, был очень быстрым на слова и действия. Он, едва кончилась его беседа с Селивановым, крикнул что-то, и немедленно от толпы, стоявшей в стороне, к нему подбежал пожилой мужчина, вытянулся по-военному, выслушал приказание, а еще через несколько минут берег огласился стуком топоров; начали для катеров сооружать скат.

— Видать, шарики у него не заржавели, — одобрительно заметил кто-то.

— Он их, не то что ты, частенько проворачивает, — моментально откликнулся другой.

— Во время работы прошу разговаривать о деле.

Это сказал уже поляк, неожиданно вырастая около них.

Матрос выпрямился, играючи всадил топор в бревно, хотел обрезать непрошеного указчика, и осекся: в из-

можденном лице поляка было что-то такое, от чего пропала всякая охота спорить с ним.

Поляки и матросы работали с короткими перерывами для еды и на сон, и уже к вечеру следующего дня первый бронекатер, взметнув брызги, неуклюже съехал в реку и закачался на затаихающих волнах.

Стоянка около Треблинки не была напрасной тратой времени. Моряки не только спустили на воду все катера и подготовили все для следующих эшелонов, но и познакомились с местным населением, убедились, что и здесь, в Польше, у них немало друзей. Побывали они и в лагере смерти, увидели своими глазами бесконечные рвы-могилы и ненасытные печи. Своими руками осторожно перебирали детскую обувь, рассортированную фашистами по размерам, сами находили в жирном пепле обломки нехитрых детских игрушек...

Ко дню отплытия бригада по-прежнему была подтянутой, злой, охочей до драки.

— Ясно, Селиванов? Сейчас сентябрь, а в середине октября мы ждем тебя под Сероцком, — сказал Голованов и испытующе посмотрел на молодого комдива. Адмирал не особенно верил в расторопность Селиванова и не скрывал этого, чем не только обижал, но и сердил его.

«Что я, маленький, что ли? — думал Селиванов, глядя на карту. — Будто впервые поведу катера! Добро бы еще в бой, а тут простой переход в девяносто три километра!»

— Если мы пойдем даже самым малым ходом... — начал Селиванов.

— Арифметику и мы когда-то изучали, — поморщившись, перебил его Голованов. — Что вы знаете об этой реке?

Леня замялся. Река как река. Наверняка есть перекаты и плесы. Но раз выбросили здесь, значит, плавать по ней можно.

— То-то и оно, — продолжал Голованов. — Ни вы, ни я об этой реке ничего толком не знаем. Железная дорога подходит к реке здесь, ну и выбросили нас. Дескать, плывите!.. А у нас даже ни одной лоцманской карты Западного Буга нет. На ощупь пойдем... Ну, счастливо-го плавания!

Как хорошо, когда под ногами у тебя гудят моторы, и катер, чуть приподняв нос, несется вперед на крыльях вздыбленной им волны. Берега уплывают назад, сосновый бор сменяется лугами, на которых серыми смушковыми шапками торчат маленькие копенки. За лугами — березовая роща. И кажется, что нет никакой войны и плывешь ты по родной реке...

Большой белый дом с колоннами рельефно выделяется на фоне темной зелени парка. И невольно брови сходятся к переносице. Некогда барский, панский дом это. И большой крытый скотный двор, и машины, и пруд, и теплицы — все панское. У панов даже дороги свои. Они, асфальтированные, начинаются от порога личной усадьбы и стрелкой бегут до шоссе.

У простого люда свои дома и свои дороги. Маленькие, вросшие в землю хатки, покрытые потемневшей, полусгнившей соломой, тонут в море непролазной грязи. Здесь нет не только асфальта и клумб, но даже и деревянных полов. Вместо них — земля. По ней ходят люди и скот, живущие под одной крышей.

Такой моряки видели Польшу.

Вдруг тошнотворный скрежет железа о камни. Катер резко остановился, и не удержись Селиванов вовремя за леера, так бы по инерции и бухнулся в воду, шипящую у бортов.

— Сели, — говорит Волков, глушит мотор и выходит из рубки. Вместе с Селивановым он смотрит на волны, все еще расходящиеся от катера, и хмурится: везде ползут они с загнутыми гребнями и зло шипят. Значит, и справа, и слева тоже мель.

Только несколько секунд промедления, а на мели уже и второй, и третий, и четвертый катера. Остальные успели застопорить моторы и несколько растерянно сблизь в кучу.

— Первая, — говорит Селиванов и чертыхается.

Катера, как слепые котята, тычутся в мель носом, пытаются найти фарватер. А солнце не останавливается, у него на пути нет препятствий, и оно идет, идет, отсчитывая часы. Давно миновала пора обеда, а фарватер все не найден. Полосатые футштоки торчат свечками, чуть погрузившись в воду.

— Дозвольте скупнуться? — скаля зубы, спрашивает Нестеров — кряжистый и невероятно конопатый матрос.

Он уже расстегнул пуговицы, крючки и ждет только слова начальства, чтобы сбросить одежду.

Холодный ветер рябит воду, продирает даже сквозь шинель. Но иного выхода нет, и Селиванов говорит:

— Давай.

Нестеров, стыдливо прикрываясь красными широкими кистями рук, прыгает в воду с кормы, ахает, секунду стоит, не смея вздохнуть, потом окунается, не то восторженно, не то подбадривая себя, гогочет и медленно бредет поперек реки. Долго он петляет, но ни разу вода не смогла скрыть его белого зада.

— Влипли, — констатирует Селиванов. — Какой черт только выдумал плавать по этой речушке?

— Разрешите кормить команду? — спрашивает Волков.

Селиванов зло смотрит на него, потом его вдруг охватывает апатия и он говорит усталым, безразличным тоном:

— Команду накормить, и пусть отдыхает... Сколько мы прошли за день?

— Пока двенадцать километров.

Остаток дня тоже ушел на бесплодные поиски фарватера.

— Да, дела...

— Хоть на плечах катера тащи, — ворчит Селиванов и сдвигает фуражку на затылок. Этот жест говорит: «Бейся, не бейся — толк один».

— А ведь это идея! — оживляется Гридин. — Положим на дно реки катки — и волоком через перекат!

— Скажешь тоже, — недоверчиво косится на него Селиванов. — Как при царе Горохе работать...

— При чем здесь царь Горох? — обижается Гридин. — Просто у нас нет иного выхода.

— Да ты подумай, что предлагаешь! Интересно, кто полезет в такую воду и станет в ней целый день палькаться? Добро бы еще июль...

— Нестеров снова полезет! Коммунисты полезут! А если прижмет, то и ты!

Поздним вечером на полуглиссере прибыл Голованов. Он молча выслушал оправдания Селиванова, просмотрел составленную им карту глубин, покачал головой и сказал:

— А ты говорил... Да, с кем промашки не бывает... Завтра пришлю тебе два трактора. Выпросил у армии. Пойдешь на буксире у них.

И смешно, и обидно: бронекатера, «водяные танки», — на буксире у тракторов! Слыхивал ли кто-нибудь о подобном плавании?!

— Ты нос не вороти, дурной пример не показывай, — чуть повысил голос Голованов, заметив гримасу недовольства, скользнувшую по лицу Селиванова. — Я до седых волос на флоте дослужился, да и то не гнушаюсь такой помощи, а тебе и сам бог велел!.. День они у тебя работать будут, на весь день и поставь трактористов к себе на питание. И аттестатов не спрашивать. Так и Чернышеву накажи, он ведь у вас жмот порядочный. Даже с меня и то норовит содрать... Чернышев! Слышишь, про тебя говорю!

— Так точно, слышу, товарищ адмирал, — поспешно ответил Чернышев, немного помялся и выпалил: — Только ставлю в известность, что ваше распоряжение незаконно, товарищ адмирал. Кроме того, у нас продуктов тютелька в тютельку!

— Знаю, все знаю, да молчу до поры до времени, — усмехнулся Голованов. Он еще не сердился, хотя в голосе и появились предостерегающие нотки.

— По ведомости проверить можно, — попытался отстоять свое добро Чернышев, не чуя беды.

— Для начала завтра же отдашь Чигареву два ящика консервов. Из тех, что еще под Пинском с базы флотилии незаконно получил. Законник!

— Товарищ адмирал...

— Мало? Я ведь и про обмундирование могу вспомнить.

— Все будет в ажуре, товарищ адмирал! — поспешно заверил Чернышев и как сквозь палубу провалился.

— Дошло наконец-то, — усмехнулся Голованов, посмотрел вслед Чернышеву и сказал неожиданно тепло, сердечно: — Хороший командир базы. Из-под земли достанет, а обеспечит!.. Только глаза и глазки за ним нужны... Все понял, Селиванов?

— Так точно, все.

— И нос не вешай. Сообща и этот переход осилим... Чует мое сердце, что войдет он в историю... А почему бы и нет? Был Ледовый поход флота, почему, допустим, не

быть Каменному? Ведь по камням днищем скребем, по камням, а все же идем вперед!

Селиванова разбудил топот ног над головой. Он взглянул на часы. До подъема оставалось еще около часа. Значит, что-то случилось. Наскоро одевшись, Селиванов вышел на палубу.

— Разрешите доложить, товарищ капитан-лейтенант? — спрашивает Латенко. Его усы свисают к подбородку тощими крысиными хвостиками, лицо осунувшееся, злое. Будто он только что вернулся из боя и разгорячен, взволнован. — Минут пятнадцать назад выстрелом с того берега убит матрос Загоскин.

А на том берегу нежно розовеют стволы берез. Как и на родной земле, беззаботно перекликаются птицы. Будто из-под Москвы перекочевала сюда эта рощица.

— Как это произошло? — спрашивает Селиванов и спиной ощущает неприятный липкий холодок: может быть, сейчас его спину взял на мушку неизвестный стрелок, притаившийся в мирной рощице.

— Обыкновенно произошло, — объясняет вахтенный, выступая из-за спины Латенко. — Он, Загоскин, значит, вышел на корму, постоял. В это время на том берегу словно обухом по сухому дереву кто ударил. Мне и невдомек, а потом сомнение взяло. Подошел, глянул — он лежит...

Тело Загоскина покрыли старым военно-морским флагом. Матросы разошлись по катерам. Селиванов спустился в каюту, прилег на койку, однако уснуть не мог. Странной и страшной показалась ему подобная война. И главное — кто стрелял? Может быть, это он вчера стоял на берегу и приветливо помахивал шляпой?

Нет, что ни говорите, а Мишке везет! Подсунул ему, Селиванову, дивизион, а сам отлеживается в тылу, нагуливает жирок. Конечно, не так-то уж и приятно бродить на костылях, но все равно лучше, чем сидеть на камнях переката и гадать, откуда прилетит очередная пуля.

И еще вспомнились Лене проводы дивизиона из Пинска. На перроне, опираясь на костыли, стоял капитан третьего ранга Норкин. Тот самый Мишка Норкин, с которым в один день надевали новенькую шуршащую робу, — уже капитан третьего ранга! Рядом с ним, гото-

вые помочь ему в любую минуту, держались Ната и Катя. На лице Кати нет ничего, кроме беспредельного счастья и спокойствия. Ната — крепится из последних сил. Она вырвелась ночью и сейчас старается улыбаться, машет Лене издали рукой. Близо не подходит: еще дома условились не обниматься при людях и вообще ничем не расстраивать друг друга.

Паровоз отрывисто свистнул, лязгнули буфера платформ, и поезд тронулся.

— Жми, Ленчик! Чехлов с пушек и пулеметов снять не успеешь, как я догоню! — крикнул Мишка.

Катя немедленно набросилась на него, начала за что-то выговаривать, а Ната несколько раз взмахнула носовым платком, потом поднесла его к лицу, согнулась и спряталась за Мишкину спину...

Что она делает сейчас? Вот в эти минуты?..

— Команде вставать, койки убрать! — зычно прокричал дневальный привычную команду.

Селиванов потянулся и встал: побудка — сигнал начала нового трудового дня — обязательна для всех.

Светлоликое солнце степенно выплыло из-за горизонта, поднялось над рекой. Ожил городок: открылись первые окна, потянулись на рынок домохозяйки, а из ворот штаба бригады выехал мотоциклист.

Асфальт шуршал под шинами, мелькали белые столбики, стоявшие по обочинам. Редкие прохожие, слышав треск мотора, поспешно уходили с дороги и с опаской поглядывали на мотоциклиста, который с сумасшедшей скоростью поспешал куда-то. А он, поглощенный наблюдением за дорогой и чтением мелькающих указателей, не видел ничего, не подарил улыбки ни одному встречному, не подмигнул лукавым глазом ни одной заглядевшейся на него панночке. Только около развилки дорог остановился и спросил у польского солдата, сидевшего за рулем трактора:

— Дзень добжий, пане... Пшепрошу пана бардзе... як маю дзийти до Вишкува?

Солдат заглушил мотор, неторопливо вытер руки ветошью, сдвинул на затылок конфедератку и степенно ответил:

— Туточки, прямиком. А ты, земляк, откуда родом?

— Черниговский.

- А я из Костромы. Перекурим?
- Не время. Дзенькую пана!
- А подь ты к лешему!

Трактор взревел мотором, сверкнул на солнце отшлифованными гусеницами, перевалился через канаву и напрямик через поле пошел к блестящей за кустами полоске Западного Буга. Там его ждали моряки.

А еще немного погода, раздирая гусеницами плотный дерн, трактор медленно пошел по берегу. За ним на длинном буксире по реке тащился бронекатер Волкова.

Так начался второй день плавания по Западному Бугу. А сколько подобных дней еще было впереди? Не счесть.

### 3

Ушел дивизион, и Норкин сразу почувствовал себя вырванным из привычной обстановки, лишенным самого главного, без чего и жизнь не в жизнь. Жил он теперь в маленькой комнатке мезонина. Узенькое, как бойница, окно выходило на реку, и он мог часами наблюдать за катерами. Да что толку? Не его, чужие были эти катера.

Норкин вначале думал, что это чувство одиночества ослабнет со временем, стоит только несколько дней просидеть вот так, ничего не делая, в своей каморке. И он сидел. Глядел в покатый потолок, слушал радио, опух от сна, зачитал до дыр случайно попавшуюся ему книгу, но тоска только усиливалась.

Одно утешение — Катя. Она каждый день навещала его, и, хотя прежние взаимоотношения не были восстановлены, Норкин все больше и больше привязывался к ней, все больше попадал под ее влияние. Катя командовала им, стараясь выставить все это в таком свете, будто он сам хотел сделать именно так, а не иначе, установила строгий режим и даже изредка читала ему нотации.

Сегодня Норкин был явно не в духе. Мелкий дождь нудно стучал о крышу, ветер посвистывал в щелях, и он, накинув на себя шинель, лежал на кровати. Из репродуктора вырывались хриплые звуки, отдаленно напоминающие музыку.

На настроение Норкина повлияло то, что врачи опять отклонили его просьбу, опять прописали постельный ре-

жим, а Голованов, случайно находившийся в штабе флотилии, их решение подкрепил своим приказанием.

— Тошно, Катюша, тошно, — продолжал Норкин начатый ранее разговор. — Отвык я от спокойной жизни. Ты только подумай: целые дни лежу на кровати и гляжу в потолок! С тоски и запить недолго.

— Глупости, — не повышая голоса, сказала Катя. Она сидела на единственном стуле и не спеша пришивала новые нашивки к рукаву кителя Норкина. — Я просто не понимаю, удивляюсь, как ты можешь жаловаться на безделье? Тебе дали заслуженный отдых, ну и используй его по-настоящему.

— Наотдыхался, баста! Все кости болят!

— Неужели для тебя отдых — только лежанье на кровати?.. А я вот больше всего люблю книги. Как много в них интересного!

— Держите меня! Она Америку открыла!

— Оказывается, ты не понимаешь элементарного! — вспыхнула Катя. — Если бы понимал — не хандрил, а радовался бы.

Норкин закрыл глаза и нарочито зевнул, давая этим понять, что разговор осточертел ему и он не прочь вздремнуть.

— Хочешь, Миша, принесу тебе хорошую книгу?

— О чем она? Нежные влюбленные лобзаются под соловьиные трели? Читывал, и неоднократно... А настоящей книги здесь днем с огнем не сыщешь.

— Миша! — мягко, с упреком проговорила Катя. — Откуда у тебя такие злость и пренебрежение? Ты посмотри кругом, вникни в жизнь...

— А ты сама-то знаешь жизнь? — Норкин сел на кровати и продолжал горячо, страстно: — Все мы, фронтовики, не знаем жизни! Разве мы видели ее? Ни минуты свободной!.. За эти дни, Катя, я посмотрел на жизнь и, откровенно говоря, многое узнал... Как-то за боями мы и не заметили своего тыла. Знали, что все работают, ну и так далее. Считали, что раз мы воюем, жизнью своей рискуем, то остальные должны обеспечивать нас и никаких гвоздей!.. А глянул... Немного глянул, одним глазком глянул... Ведь народ-то все силы в войну вкладывает! Недоедает! Недосыпает!.. Одним словом, ничего для победы не жалеет!

— Знаю, давно знаю все это.

— Знаешь? Да откуда ты можешь все это знать?

— Мама писала. Они с сорок первого картофельные очистки варят и едят. Папа снова пошел на завод... В цехе им дополнительный обед дают...

Катя замолчала и подозрительно долго откусывала нитку, закрыв лицо кителем. Норкин закурил. Он мысленно перенесся домой, и острая боль резанула сердце: ведь опять месяца два не посылал домой даже открытки... Как-то живет мама?..

Норкин швырнул окурок на пол, раздавил его каблучком и спросил глухим голосом:

— Почему ты ничего мне не рассказывала?

— О чем?

— Ну... о своих родных. И вообще.

— А ты спрашивал? Разве тебя это интересовало?

Тоже верно. Катина биография интересовала его только с одной стороны: как она дошла до жизни такой? Теперь Норкину стыдно за свою черствость, он мысленно поклялся быть внимательнее к людям, которые дороги ему.

— Ты о чем задумался?

— Так... И разве после всего того, что узнал за эти дни, я могу спокойно отсиживаться в тылу?

— Всему свое время. — Катя сняла с кителя обрывки ниток, встряхнула его и спросила: — Ну как, хорошо пришила?

— Ага... Слушай, Катя... Расскажи о себе... Все расскажи.

— Только не сегодня... Потом...

Скоро Катя ушла, и в комнате сразу стало холоднее, сумрачнее. Норкин подошел к окну. Темно, ничего не видно. Только по стеклу бегут извилистые струйки воды да вдали мерцает одинокий огонек, бессильный рассеять мрак. Неизвестный огонек. Но он манит, влечет к себе.

Так и Катя. Она, как этот огонек, манит к себе, оставаясь неизвестной. И что еще странно — когда он с ней был близок, то думал, будто знает ее, а на поверку — ничего подобного! Душа Кати, оказывается, была скрыта от него за семью замками.

Он считал Катю просто смазливой и взбалмошной бабенкой. А она оказалась красивой, настойчивой и, главное, — душевным товарищем. Все ли это? А не утаила ли она и сейчас от него чего-нибудь?

Норкин задернул штору, прошелся по своей кле-

тушке и сел за стол, чтобы написать маме письмо. Сидел больше часа, но лист бумаги остался чистым: не мог он сегодня писать.

На следующий день Катя долго не приходила. Он уже начал волноваться, хотел звонить в госпиталь, и вдруг она вошла и заявила, едва перешагнув порог:

— Тебе, Мишенька, привет от Мараговского. Большой! Вот такой!

До Норкина не сразу дошло то, что сказала Катя. А потом, когда все стало ясно, он засыпал ее вопросами:

— Где ты его видела? Когда? Оправдали? Почему не пришел сюда?

Катя неторопливо сняла шинель, берет, стряхнула с него дождевые капли и ответила, копошась у вешалки:

— Я к нему ходила. Передачу отнесла.

Норкин нахмурился. Он рассердился на себя: ведь Данька ему гораздо ближе, чем Катя, а навестила его она.

— Почему мне ничего не сказала? Вместе бы пошли.

— Поэтому и не сказала. Решила, что тебе не совсем удобно идти в тюрьму, нести передачу. Кто знает, как взглянет на это начальство? А я — мелкая сошка, с меня взятки гладки.

— Интересно, почему я не могу навестить Мараговского? Что он, гаденыш какой-то?

— Не в этом дело, Миша, — спокойно ответила Катя. — Мараговский не гаденыш, но тебе идти к нему не следует. Это будет похоже на демонстрацию.

— Все равно пойду! Завтра же пойду! Не веришь?

Катя пожала плечами, сняла чайник с плитки и сказала:

— Давай лучше чай пить.

Потом слушали концерт из Москвы, посплетничали немного, и Катя начала собираться домой. Норкин помог ей надеть шинель и вдруг сказал, привлекая ее к себе.

— Оставайся... Совсем...

Катя удивленно посмотрела на него, зарделась, на мгновение прильнула к нему, потом вздохнула, отстранилась.

— Нет, Миша, не останусь.

— Почему?.. Я ведь серьезно...

— Не надо.

— Да ты скажи, почему? — начал сердиться Норкин.

— Потому... Ты хочешь, а не любишь меня. До свидания! — Катя рванулась и сбежала по лестнице.

— Катя! Катя! Ты придешь завтра? — крикнул Михаил, стоя на лестнице и вглядываясь в темноту.

— Приду...

Нет, Норкин не сердился на Катю. Он был готов оправдать даже и не такой ее поступок. Он думал о ней, сравнивал с другими женщинами. Сравнение, разумеется, было не в их пользу.

И вообще Катя исключительная: добрая, красивая, душевная, бережет его авторитет, не навязывается, она... Да разве все перечислишь? Взять, для сравнения, ту же Ольгу. Они — как льдинка и капелька ртути. Ольга — представительная, солидная дама. Многие заглядываются на нее, но она сама — только на Володю. Для нее он — центр мира. Кажется, все в ней хорошо. Однако не лежит душа к ней, и все тут! Каким-то холодом веет от ее рассудительности, от слов, движений. Она бы никогда не осмелилась пойти в тюрьму на свидание с товарищем мужа. Ей семейный уют, тишина и душевный покой — дороже всего.

Да, тюрьма... Много страшного говорено про нее. Как-то там Мараговский?.. Нет, надо обязательно сходить к нему. Обязательно! Трудно Даньке сейчас, очень трудно...

— Стой, кто идет? — в это время кричит вахтенный матрос на Западном Буге.

— Свои! Их превосходительства Копылов и Пестиков из госпиталя пожаловали!

Час был ранний, ни одним распорядком не предусмотрен подъем в это время, но на катерах никто уже не спал, и задорный ответ Копылова слышали многие. Бронекатера Селиванова и тральщики Чигарева шли теперь вместе, будто снова стали одной частью, и много матросов высыпало на берег встречать прибывших. Впереди всех бежал Жилин. Он налетел на Копылова, облапил его, зачем-то несколько раз ударил его кулаком в грудь, а потом с такой же стремительностью набросился на Пестикова. Прибывших затормошили, задержали, засыпали вопросами. Пестиков отмалчивался, потирая руки, иссеченные еще не побледневшими шрамами. Зато Копылов, распахнув бушлат и сверкая новеньким орденом,

охотно и с такой уверенностью отвечал на все вопросы, будто все знал из самых достоверных источников. Особенно много и долго он разглагольствовал о Варшаве. Если верить ему, то Варшаву нам взять — раз плюнуть.

— Понимаете, флотилия ударит вдоль по Висле, армия форсирует реку, и точка! Силищи у нас — не считать!

— Скажи пожалуйста, как все просто, — удивляется Жилин.

— А ты как думал? Я уже говорил, что силища у нас собрана огромная, все готово!.. Только высшему начальству немного побольше решительности — и ударить по немцам. Ходом бы до Варшавы мы шли!

Матросов явно забавляет самоуверенность Копылова, они украдкой посмеиваются, перемигиваются, но не перебивают его: что ни говорите, а это неожиданное развлечение. Да и зачем портить встречу, зачем огорчать товарища? Пусть треплется, раз ему охота. Вреда от этого никому нет.

— У меня, Копылов, вопросик к тебе, — неожиданно говорит Жилин.

Копылову неприятно, что его перебивают, он хмурится, но пересиливает себя и милостиво кивает — дескать, спрашивай.

— Корова и коза ведь траву едят? — совершенно серьезно спрашивает Жилин и смотрит на Копылова своими ясными, добродушными глазами.

— Ну, траву, — осторожно соглашается Копылов, ожидая подвоха.

— Значит, пища у них одинаковая?

— Ну, одинаковая...

— А почему одни лепешками, а другие орешками ходят?

Проще всего — послать Жилина подальше, но любопытно узнать, к чему развел он эту волюнку, и Копылов сдерживается, выжидательно молчит.

— Значит, не знаешь? — уточняет Жилин.

— Откуда мне про это знать?

— Скажи пожалуйста, как интересно получается: в дерьме разобраться не может, а о государственных делах судит, — сокрушается Жилин, прячет усмешку в углах рта и неторопливо идет к катерам.

— Купил, черт плешивый! — громче всех хохочет

Копылов и, перебросив через плечо полупустой вещевой мешок, подымается по трапу на палубу катера.

Чигарев слышал разговор матросов, но не вмешивался в него, хотя Копылов безбожно врал о силах, собранных, по его мнению, около столицы Польши. Не так уж были они велики, как думал Копылов. Конечно, если посмотреть на карту, читать условные знаки, испестрившие ее, то можно вообразить и не это. Но какова цена всем этим цифрам? — вот в чем вопрос. За время летнего наступления все части потеряли ранеными и убитыми почти половину личного состава, и теперь перед противником стояли не грозные дивизии, готовые нанести сокрушительный удар, а полки и даже батальоны, сохранившие знамена и номера своих прежних дивизий. Да и оставшиеся в строю солдаты были далеко не те, которые вели недавно наступление. Правда, и у немцев силы были не ахти какие. Однако на них работала природа: закрепившись на гористых берегах рек, они просматривали и простреливали подступы к ним. Сломить их можно было только мощным огненным ударом, задавить массой, но этого-то и не хватало советским войскам. Осенние дожди так расквасили проселочные дороги, что на них тонули, вязли в грязи не только автомашины. Даже русские лошади, которым ничто не в диковинку, тщетно вытягивались в струнку и налегали на построжки: жидкая грязь засасывала и колеса, и ноги. Вереницы подвод и машин стояли на дорогах. Появись в воздухе фашистские летчики — целей для бомбометания им долго искать не пришлось бы.

В армию поступило и пополнение. Это были в большинстве своем молодые парни, вчерашние школьники. И нужно было время для того, чтобы пополнение влилось в части, освоилось с обстановкой. Время, время и еще раз время сейчас решало все. Передышке были рады обе стороны, и лишь самые отчаянные головушки, вроде Копылова, привыкшие судить обо всем со своей колокольни, не желали смотреть правде в глаза.

Чигарев, как командир дивизиона, знал это лучше своих матросов и теперь, услышав отповедь Жилина, улыбнулся, надел фуражку и вышел из каюты, чтобы встретить Копылова и Пестикова сразу, как только они ступят на палубу катера.

— Товарищ капитан-лейтенант! Матросы Пестиков и Копылов явились для дальнейшего прохождения служ-

бы! — нарочито громко, чтобы порисоваться перед безусым молодняком, отчеканил Копылов и вскинул руку к заломленной набекрень бескозырке.

— Вольно, — ответил Чигарев и растерянно замолчал. Когда шел сюда, намеревался сказать что-то хорошее, а сейчас ничего, кроме казенных фраз, в голову не шло. — Значит, выписались? Окончили курс лечения?

— Так точно!

— Ага... Хорошо... А ты, Пестиков, так и цветешь. Улыбка, румянец во всю щеку.

— У него, товарищ каплейт, пополнение семейства, — немедленно доложил Копылов, искоса поглядывая на Пестикова и легонько толкая его локтем.

Пестиков переступил с ноги на ногу, зачем-то провёл рукой по лицу и сказал, улыбаясь:

— Мать приезжала и Петьку домой увезла... Заместо брата мне будет.

— И еще у него коржики домашние есть, — не унимался Копылов. — Страсть вкусные и в хозяйстве полезные. Когда мы до вас версты меряли, у меня из подошвы гвоздь вылез. Кругом ни одного дома, ни одного камня. Как быть? Я взял один коржик и тюкнул им по гвоздю. Ничего, подходяще. Гвоздь согнулся.

— А ты, смотрю, такой же зубоскал, как и раньше, — невольно улыбнулся Чигарев. — На каком катере служить хотите?

Матросы посерьезнели, переглянулись, и ответил опять же Копылов:

— Если позволите, на прежнем. Привыкли к нему.

— Не возражаю.

Скоро катера опять тронулись в путь. Первые дни плавания по Западному Бугу научили многому. Теперь катера шли не вслепую. Еще вчера, когда они только подходили к этому месту, здесь и дальше работала специальная группа, которая отыскивала фарватер, обозначала его вешками, воткнутыми в песчаные отмели. Но Западный Буг упрявился, не признавал себя побежденным. Он часто расплывался по отлогим пескам, как пролитое молоко по столу, и тогда исчезало даже подобие фарватера. Куда ни глянь — всюду ленивая вода, неспособная даже промыть себе русло. В таких местах вешек не ставили. Не помогут.

У таких перекатов десятки матросов, беззаботно балагурия или безбожно ругаясь (это зависело от погоды и

полноты желудка), стояли в воде и ждали катерá. Вот они появились, с них заметили живую стенку. Катера немедленно останавливались. Потом один из них разбежался и с полного хода выбрасывался на песок между матросами, стоявшими в реке. Шипя и пенясь, накатывалась на него волна, ударяла в корму, приподнимала. Катер делал последний рывок, и тогда — ни раньше ни позже! — матросы облепляли его борта, подхватывали, подпирали вагами, вталкивали на катки и тащили дальше, чтобы, столкнув на глубину, вернуться обратно и так же перетаскать следующий.

Во время этих бесконечных авралов, в которых принимали участие буквально все, и познакомились с местным населением, как правило, — крестьянами прибрежных деревень. Когда катера впервые воевали с мелью вблизи деревушки, все удивились, увидев, что в воду вдруг вошло человек двадцать мужчин, которые сразу же, будто это было обусловлено заранее, включились в работу. Они, польские крестьяне, и научили ставить в реке плетни, собирающие и направляющие струи течения в нужном направлении.

Разумеется, если вместе работали, то разве можно порознь обедать? Вот и сидели вместе на берегу, ели добротное варево или селедку с ржаным хлебом. И, конечно же, разговаривали, как могли. Из этих непринужденных бесед и узнали, что и еще больше народу вышло бы на помощь, но некоторые боятся бандитов, прячущихся в лесах; что у простого польского люда вся надежда на русских братьев: они и германа разгромят, и бандитов из лесов повыживут, и, как многие говорят, дадут хлопам панскую землю.

На это неизменно кто-нибудь из матросов отвечал: дескать, немцев мы разобьем — точнее некуда. И бандитам хвосты повыдерем. А что касается панской земли — пусть решает то ваше правительство, которое вы сами себе выберете: во внутренние ваши дела мы вклиниваться не будем.

Изо дня в день были борьба с мелями и подобные беседы.

А когда вечерние сумерки падали на землю, — останавливались у незнакомого леса. Мокрая одежда, как компрессы, окутывала моторы, а матросы, завернувшись в тощие байковые одеяла, торопливо поедали селедку с хлебом, запивали ее чаем и ложились спать,

стараясь не коснуться телом холодных, ледящих бортов.

Уже четвертую неделю жили так.

Однако никто не жаловался, не роптал. Всем было ясно, что, только вырвавшись на глубокую воду, они вздохнут свободно. Правда, многие тихонько поругивали начальство, заставившее тратить силы на борьбу с песками; но и то вполголоса: на военной службе не любят философии.

Зато Чернышева крыли все, кому не лень. Василий Никитич огрызался, божился в ближайшие дни достать все необходимое, но обиды не держал.

— Такая у меня должность собачья, — говорил он, вздыхая, и при первой возможности исчезал с катеров, чтобы всеми правдами и неправдами раздобыть несколько мешков муки или картофеля.

В день прибытия Копылова и Пестикова настроение у всех было неважное. Во-первых, слегло от простуды несколько матросов, а во-вторых, пережат попался просто на удивление: почти пятьсот метров длиной, потом метров сто хорошей воды, и опять пережатище метров на четыреста. Работали молча, без перерыва на обед, но к вечеру перетащили через оба пережата чуть меньше половины катеров.

— Шабашим, Володя? — спросил Селиванов, присаживаясь на кнехт.

— Приходится, — ответил Чигарев и посмотрел по сторонам. Густой сосновый лес молча взирал с обоих берегов на катера. Солнце уже село. Его невидимые лучи кровью залили белые облачка, которые казались клочьями ваты, приклеенными к темной чаше неба. Слабый ветерок доносил с берега запах смолы, перестоявших трав и грибов.

Почти вровень с палубами катеров раскинулась большая поляна. Она заросла сосенками — мохнатыми, разлапистыми, в рост человека. Очень хотелось посидеть среди сосенок, а еще лучше — разложить бы там сейчас костер, печь картошку и сумерничать, прислушиваясь к ночным шумам. Но нельзя на берег. Между юных и непорочных деревьев торчат колышки с прибитыми к ним дощечками. На них кратко и выразительно написано: «Минное поле».

— Благодать, — тихо сказал Чигарев, и было непонятно, искренне восхищается он или иронизирует.

— И не говори, — в тон ему ответил Селиванов и вздохнул. По его мнению, вся эта природа сейчас выеденного яйца не стоит: матросы измотались за день, да и Чернышев с продуктами не продерется сквозь такой лесище, а тут еще и больные. Особенно плох поляк. Он пристал к катерам еще на прошлой неделе, когда штурмовали перекаат напротив какого-то панского поместья. В плаще, немецких бутсах, он вышел на берег, постоял так, посасывая трубку, и вдруг заявил, что знает реку и берется помочь отыскивать фарватер. Если верить ему, то в армию он не попал по возрасту, дом у него сожгли немцы, и он, как перст, один на свете. Зовут его Юзек. Юзек и только.

И правда, все время Юзек работал вместе с матросами, даже в воду лазил, а вот теперь третий день лежит пластом и с тоской смотрит на потолок. Не дай бог, если умрет!

Жалко Юзека. Он такой работающий, душевный...

— Значит, я пошел, заночую по ту сторону перекаата, — говорит Чигарев.

Селиванов пожимает ему руку и спускается в кубрик. Юзек лежит на матросском рундуке. Услышав шаги, он смотрит на командира, и тот отводит глаза, сознавая свое бессилие помочь ему.

— Плохо, Юзек? — спрашивает Леня, присаживаясь рядом. — Потерпи немного. Завтра доберемся до деревни и сдадим тебя врачу.

Юзек слабо шевелит пальцами и говорит:

— Не надо отдавать в деревню... Армия крайова...

Он не договаривает, но и так все ясно: бандиты никогда не простят ему того, что он помогал морякам. Леня опускает голову. Прав Юзек. Не простят. И невольно вспомнился недавний случай. Тогда ночь тоже разделила катера. Селиванов засиделся у Чигарева, и возвращаясь к себе ему пришлось в полной темноте. Чигарев предлагал ему взять в сопровождающие автоматчиков, но он отказался: неужели без провожатых не пройдет какие-то четыре километра?

Дорога вилась лесом, и едва Селиванов вошел в него, как тьма стала непроглядной. Он в нерешительности остановился. Идти дальше или вернуться? Вернуться — еще назовут трусом. И Леня, переложив пистолет в карман шинели, на ощупь тронулся дальше.

И вдруг из чащи леса донесся страшный крик. Слов не разобрать, но сомнений не было — кто-то зывал о помощи. Селиванов стоял в нерешительности считанные секунды, но успел продумать различные варианты. Самым правильным в его положении было — немедленно вернуться назад, а с другой стороны — неужели отказать в помощи зовущему и опозорить себя? Правда, он ничего не видел, мог сам оказаться в ловушке, но глупое самолюбие заставило сделать необдуманый шаг.

Дорога показалась ему бесконечной. Он уже начал успокаиваться, когда руки, вытянутые вперед, вдруг нащупали ногу висящего человека. Селиванов метнулся в сторону и тотчас почувствовал, как что-то легонько стукнуло его по затылку. Это были ноги второго повешенного.

Дальнейшее Леня помнил плохо. Увлекаемый диким, необузданным страхом, он направил пистолет в ночь и выстрелил.

Пришел в себя Селиванов, только увидев матросов, бегущих к нему с фонарями.

Как выяснилось позже, повешенные были местными активистами.

Да, негоже отдавать Юзека в первые попавшиеся руки, негоже...

— Тогда, Юзек, ты ешь. Понял? Ешь! Скоро придем в Попово-Костельню, там наш госпиталь, и о тебе будет кому позаботиться.

Селиванов выходит на палубу. Ему кажется, что между сосенок ползают люди. Он приглядывается. Так и есть!

— Дежурный! — кричит Селиванов.

— Есть, дежурный, — выходит из рубки Волков.

— Что это?

— Матросы для больных грибы собирают.

— Там же...

— Мины можно вынуть или обойти... Конечно, если осторожно, — Волков говорит спокойно; он не сомневается в правильности действий матросов.

— Взорвется хоть один, — начинает Леня и замолкает: под одной из сосенок вспыхивает пламя, она подпрыгивает и, подрубленная под корень, падает на землю.

Леня всматривается в ползающих матросов и облегченно вздыхает: они чувствуют себя так, словно ничего особенного не случилось.

— Больные слабеют без нормального питания. Не селедкой же их кормить? — ворчит Волков.

Селиванов не спорит.

Ночью больных накормили грибовницей, а сами опять поужинали хлебом с селедкой и легли спать, чтобы завтра с зарей снова лезть в воду и упорно пробиваться к Сероцку, к первому польскому городу, под которым флотилия должна вступить в бой.

#### 4

Норкин догнал свой дивизион в первых числах октября и как раз в тот момент, когда всем стало ясно, что если не сегодня, то завтра придется брать город Сероцк, смотревший на них с того берега реки Нарев.

— Прикажете сыграть боевую тревогу? — спросил Селиванов, прекрасно знавший привычку Михаила проверять все в действии.

— Нет, сначала держи вот это, — ответил Норкин и осторожно извлек из своего чемодана сверток.

— Мне? От кого? — удивился Леня.

— Будто не догадываешься.

А Леня уже распаковал сверток и прежде всего ухватился за письмо, лежавшее поверх белоснежной сорочки с накрахмаленными грудью и воротничком. Он так увлекся письмом Натальи, что совсем забыл про Михаила, не сказав ему даже слова благодарности. Просто вдруг увидел, что он выходит из каюты с двумя пакетами в руках и торопливо спросил:

— Ты куда, Михаил? Извини...

— Читай, наслаждайся, а мне еще надо доставить посылки Чигареву и Гридину.

— Гридину? Ведь его родные в Киеве...

— Или туда наши катера не ходят? — ответил Норкин и прикрыл за собой дверь каюты.

Значит, Мишка и до Киева добрался, чтобы доставить радость товарищу...

А вечером, когда матросы уже готовились ко сну, Норкин, заручившись согласием Чигарева, вызвал к себе Пестикова, тепло поздоровался и спросил:

— Как самочувствие?

— Нормально...

— А служба?

— Тоже нормально.

— Из дома что пишут?

— И там все нормально, товарищ комдив, — ответил Пестиков, немного помолчал и выпалил: — А вы без дипломатии, напрямки валяйте!

— Что ж, и напрямки можно... Понимаешь, вот-вот Сероцк брать придется. Ну и появилась задумка, чтобы совместно с армейцами провести разведку. На тебя, как на разведчика, можно рассчитывать, или...

— Раз надо, то надо, — перебил его Пестиков.

Полковник Муратов — командир дивизии, в оперативном подчинении которой был теперь дивизион Норкина, — выделил в разведку лейтенанта и двух солдат, а Норкин — Пестикова с Копыловым.

Темной и дождливой ночью на плоскодонке разведчики переправились через Нарев, высадились на берег и залегли. Но было слышно только дождь, и они поползли к минному полю, в котором саперы еще вчера сделали проходы.

Как-то так получилось с самого начала, что молодой лейтенант все время старался держать около себя Пестикова, о котором знал, что он уже не раз бывал во вражеском тылу. Вот и по минному полю они ползли голова к голове.

Благополучно добрались до немецкого окопа и тут снова залегли, чтобы отдохнуть. И вдруг в немецком окопе — буквально рядом! — кто-то вздохнул. Сначала разведчики и вовсе припали к земле, потом лейтенант чуть приподнялся, чужь подался вперед и на мгновение заглянул в окоп. А еще через несколько секунд он был снова рядом с Пестиковым и показал ему два растопыренных пальца. Дальше произошел короткий немой разговор: договорились, что лейтенант убивает левого фашиста, а Пестиков с Копыловым берут правого.

Дальнейшее произошло так быстро, что Пестиков и потом, оказавшись уже на катерах, не мог ничего толком рассказать. Сколько ни бились, только одно и выжали:

— Лейтенант ножом сразу прикончил того, ну а мы с Копыловым своего спеленали.

Пленный и сказал, что в ближайшее время они не ждут здесь наступления Советской Армии, что, если оно даже и произойдет, то все равно советские войска не смогут преодолеть сопротивление таких крепостей, какими являются Зегже, Избица, Дембе; это тот рубеж,

где немецкая армия будет стоять насмерть, ибо за спиной у нее уже Германия.

— Это даже хорошо, что они будут стоять насмерть, — усмехнулся полковник Муратов. — Бегать за ними не придется. Или не согласен со мной? — повернулся он к Норкину.

— Возражений не имею, — ответил тот.

А в ночь на 19 октября дивизия полковника Муратова совместно с другими частями и дивизионом Норкина пошла на штурм Сероцка. И к утру над ним в сером небе уже полоскались флаги победителей.

Но разглядывать город было некогда: в нескольких километрах от него топорщилась орудиями крепость Зегже, первая из тех, на которые так надеялся пленный. Глубоко пустив корни в гористый берег, скрытая за толщей земляных валов, она казалась неуязвимой и на первый взгляд прочно, намертво оседлала и реку, и шоссе, вдоль которой костенели трупы фашистов.

Советская Армия продвинулась вперед, крепость угрожала ее флангу, и советское командование решило ночью начать общий штурм. И, как бывало уже много раз, главными козырями опять выдвигались внезапный бросок катеров и ярость морской пехоты, которая, уцепившись за берег, скорее погибнет, чем откатится назад. Все было продумано, решено, и катера только ждали условного часа.

Норкин, заткнув за пояс полы реглана, шагал по обочине дороги и с интересом поглядывал на Нарев, который лениво и методично лизал своими черными волнами глинистые берега. По внешним признакам старался угадать, похож своими глубинами Нарев на Западный Буг или нет. Кажется, не похож. Широкий, он течет ровно, местами покрыт цепочками водоворотов, убегающих к Висле. Плавать по нему вроде бы можно, а вот с крепостью дрянь дело получается. Хотя бы потому, что попробуй-ка вскарабкаться на такой обрывище, да еще если по тебе стреляют! Успокаивало одно: батальон Козлова, как всегда, прибудет с наступлением темноты, погрузится без суеты и шума, а следовательно, можно надеяться, что ночной штурм будет неожиданно для вражеского гарнизона.

— Эй, подбери пятки! Отдавим! — резанул слух чейто задорный крик. Норкин перепрыгнул через канаву и

остановился. Окутанные паром, переваливаясь на ухабах, как утки, шли две полуторки. Номера их и опознавательные знаки были заляпаны, грязь висела сосульками, но любой человек, взглянувший на них, не задумываясь определил бы их принадлежность к флотилии: в кузове сидели матросы. Они беззлобно подсмеивались над чудачком, вышагивающим по самой грязи. Норкин был одет в реглан без погон, вместо фуражки голову обтягивал катерный шлем, но Михаил даже радовался, что никто не угадывает в нем офицера: захотелось хоть немного побыть не командиром, а просто моряком.

Поравнявшись с Норкиным, головная машина остановилась, и шофер спросил, высунувшись в окно кабины:

— Слушай, до Зегже далеко? Сутки маемся в этой грязюке, а ей и конца не видно.

— Километра два и стоп. Дальше все простреливается.

— А до катеров?

— Как встанешь — до них рукой подать.

— Ни хрена, дотопаем! — беззаботно ответили из кузова. — А ты куда? На катера? Лезь к нам!

Норкина забавляла эта непосредственность. Он перепрыгнул через канаву, поставил ногу на колесо, приподнялся над бортом, и тотчас несколько рук помогли ему. В это время машина дернулась, поклонилась очередному ухабу, и Норкин упал на чьи-то ноги.

— Ну ты, полегче! — проворчал матрос, на ленточке у которого было написано: «Красный Кавказ». — Помнешь складочку!

Прошло еще несколько минут, и Норкин узнал, что это «безлошадники», то есть матросы с погибших кораблей, и остатки некоторых бригад морской пехоты, направленные в батальон Козлова.

— Не скажешь, как он тут? — спросил матрос с «Красного Кавказа».

— Обыкновенно, — ответил Норкин излюбленным матросским словечком, потом добавил: — Или легкой работы ищешь?

Матрос пренебрежительно фыркнул, покосился на воротник кителя Норкина, выглядывающий из-под реглана, и сказал:

— А ты кто? Главстаршина, мичман или офицер?.. Хотя, не надо, не называйся: и тебе, и нам так легче

говорить. Встретились случайные попутчики, побалакали по душам, и воспитывать некого... Дело в том, браток, что тут мы все войной мечены. Ты не смотри, что голова, руки и ноги на месте. Душа у нас выворочена. Черная ночь у нас в душе... Гляну сам в нее, и аж дрожь прошибает: как же я с такой лютой злобой после войны жить буду?

— Опять антимионию разводишь, — неодобрительно проворчал щербатый матрос и с особым шиком плюнул через борт кузова. — Еще подумает товарищ, что мы все такие же малохольные.

— Умный не подумает, а дурак... Всего мы насмотрелись за эти годы, всего натерпелись, и ничегошеньки нам не страшно! Убить, говоришь, могут? И на это наплевать. Может, так даже лучше будет... Кому я такой издерганный нужен?

— Наложил стопора! — прикрикнул щербатый и пояснил Норкину: — Он с похмелья завсегда плакаться на душу свою начинает, а до фашистов доберется — пальцы облизете.

— Я, может, душу свою выворачиваю, а ты...

— Последний раз, Петька, предупреждаю!

— Ладно, ладно, кончаю, — усмехнулся матрос и продолжал уже другим тоном: — Катерники-то у вас нормальные или с бору да с сосенки? Нам ведь только за берег зацепиться бы.

— Какие катерники — сам потом скажешь, а насчет берега зря волнуешься. По всем правилам и где положено высадим.

— С этого бы и начинал! Через речку перетащите, а там мы и сами с усами! Адьо, оревуар, гуд бай, мадам! — загготали в кузове.

На опушке Норкин выскочил из машины и пошел к своим катерам, которые, похожие на серые глыбы, прижались к яру.

Остаток короткого дня прошел в хлопотах. Надо было отдать последние приказания, ликвидировать различные мелкие недоделки, которых, как всегда, оказалось очень много, и Норкин забыл о недавней встрече с матросами.

А когда сгустилась темнота, пошли к Зегже. Норкин стоял в рубке рядом с Волковым, вглядывался в ночь и молчал, зло жуя мундштук папиросы: темень — хоть глаза выколи.

Но вот слева замигал огонек.

— Маяк! — почти одновременно крикнули Волков и рулевой.

— Начать поворот! Десантникам приготовиться! — приказал Норкин.

Катер повалился на борт и пошел к правому берегу. Где-то там, залитая чернотой, притаилась крепость. Самое время осветить ее прожекторами, только вот на бронекатерах жалкие мигалки, а не прожекторы, ну и приходится идти вслепую.

Ну, как это иногда бывает, в крепости нашелся солдат, слишком хорошо знающий свои обязанности: ему почудился шум, и он выпустил в небо ракету. С валов рывкнули пушки, затараторили пулеметы, и еще несколько хвостатых ракет повисло над черной рекой. Конечно, катера стали видны как на ладони, но зато и с них увидели лоснящийся обрыв, провалы амбразур, колья проволочных заграждений. На катерах заговорили пушки, и началась та свистопляска, в которой потом хорошо разберутся историки, но сейчас многого не понимают сами участники. Снаряды буровили ночь, трудно было понять, какой катер куда стреляет, да это никого и не интересовало: противники стреляли пока больше для того, чтобы напугать друг друга и приободрить себя.

И все-таки катера успешнее решили свою задачу.

Едва нос одного из них коснулся берега, как откинулся люк кубрика и из него, согнувшись, выскочил матрос, у которого на ленточке была надпись: «Красный Кавказ». Ощерившись в крике, он сделал шага два, выпрямился и рухнул на палубу. Бескозырка свалилась с его головы и, кружась в бесчисленных водоворотах, поплыла к Висле.

Вслед за этим матросом выскочил щербатый. Он мельком глянул на товарища и, крича что-то несуразное, прыгнул с катера. Брызги взметнулись выше палубы. Когда они опали, Норкин увидел щербатого уже карабкающимся на обрыв. Мокрая глина ползла из-под ног, матрос хватался за невидимые бугорки, чахлые кустики увядшей травы и полз, полз кверху, все так же раздирая рот в крике. За ним по всему обрыву лезли десантники.

Десант высажен. Норкин отвел дивизион от берега и обрушил залпы на вспышки орудий и пулеметов кре-

пости. Он теперь ждал условной ракеты Козлова, чтобы перенести огонь в глубину.

А Козлову было не до ракеты. Еще подходя к крепости на катере Селиванова, он заметил лог, идущий в обход крутого склона и в глубь обороны противника. И, очутившись на земле, Козлов повел десантников этой дорогой.

Все, казалось, шло хорошо, и вдруг яркие вспышки замелькали на земле, и почти тотчас вездесущий Аверьянц доложил:

— Минное поле, товарищ майор!

Матросы, словно подкошенные, попадали на землю, зазвенели лопаты; еще немного — батальон окопается, засядет в ячейках, и тогда трудно будет выжить его отсюда не только противнику: матросы, прижатые огнем, вряд ли с первого раза послушаются даже своих командиров. Чтобы не потерять темпа, Козлов приказал не окапываться, а тронуться в обход минного поля. Чертыхаясь, батальон начал поиск. В это время к Козлову и подбежал запыхавшийся связной первой роты.

— Скатываемся с обрыва! — выпалил он одним дыханием, ойкнул и упал.

Аверьянц приподнял его голову и сразу осторожно положил ее на землю. Случайная пуля ударила связному точно в лоб. А случайная ли? Вон сколько матросов распласталось между кустов, а огонь противника все крепнет. Уж не в ловушку ли влез батальон?

— Аверьянц! Туда полным ходом! — сказал Козлов, подталкивая Мишу кулаком в спину, и крикнул уже вслед: — Пусть атакуют! Пусть принимают удар на себя!

Связной шариком скатился к реке, а в воздухе уже нарастал скрипящий, рвущий нервы звук. Вот он замер, и гнетущую тишину разорвал грохот. Земля дыбится, свистят над головой осколки и камни. Козлов вжимает лицо в след чьей-то ноги и замирает. А к шестиствольным минометам присоединяются немецкие пушки и простые минометы. Они так точно кладут снаряды и мины, словно гвозди вколачивают. Земля дрожит и колыхается.

Только несколько залпов дали немецкие «скрипачи», а кажется, что они хозяйничают вечно. Но вот хвостатые мины «катюш» потянулись с реки, артиллерий-

ские залпы сливаются в один несмолкающий рев. На какое-то мгновение грохот разрывов стихает, и Козлов слышит рядом с собой громкую скороговорку:

— Матка бозка Ченстоховска! Матка бозка Ченстоховска!

Козлов оглядывается. Рядом уже лежит Миша и, старательно целясь, бормочет эту тарабарщину.

— Пан — поляк? — немедленно откликается кто-то.

— Поляк, из Еревана, — отвечает Миша матросу. И уже Козлову: — Будут лезть до последнего.

— Как там?

— Больше половины роты как корова языком слизнула...

Только под утро, когда на сером небе обозначились валы крепости, удалось найти проход в минном поле, и батальон снова пошел в атаку. Разозленный неудачей, промокший до нитки и промерзший до костей, Козлов бежал вместе со всеми. Он сейчас не командовал, а был простым бойцом, одним из тех, которые по-прежнему отчаянно лезли прямо на плюющие огнем амбразуры. Как сквозь туман, Козлов видел фашистский танк, остановившийся над обрывом, и Ксенофонтова, бросившего под него гранату. Водитель танка не справился с машиной, потерявшей гусеницу, не смог удержать ее, и она упала вниз, подмяв под себя Ксенофонтова.

Козлов понимал, что говорить о победе еще рано, что противник еще крепко сидит в своих укреплениях. Эх, сейчас бы сюда только одну свеженькую роту! Но роты не было. Не было даже взвода, и наступающие замедлили бег, невольно начали искать прикрытия. Вся надежда была на матросов с катеров. Только они могли помочь. Но догадаются ли?

Норкин внимательно следил за боем и понял, что именно сейчас наступил критический момент, что именно сейчас батальон Козлова ворвется в крепость или... или скатится к реке трупам.

Норкин, охваченный боевым азартом, выскочил из рубки, выхватил пистолет и крикнул, прыгнув на берег:

— Вперед, гвардия!

В это время Козлов вскарабкался на вал и увидел жиденькую цепочку матросов, штурмующих обрывистый склон. Среди них он различил и реглан Норкина.

— Вперед, гвардия! — плыло над рекой и мокрыми валами крепости.

Значит, катерники верны старой дружбе...

Потом Козлов столкнулся с немцем. Тот занес над его головой приклад автомата. И не видать бы майору начала атаки советской пехоты, если бы не Миша Аверьянц. Он неожиданно выскочил откуда-то сбоку, поддел фашиста штыком.

Прямо по шоссе на крепость шла советская пехота. Короткими перебежками она подбиралась все ближе, ближе. Еще немного — и ее серые ручейки потекут в казематы крепости, затопят их.

— Не зарываться! Мой капе здесь! — крикнул Козлов и медленно опустился на землю. Небо вдруг завертелось, все потемнело вокруг. Для Козлова наступила ночь.

Аверьянц склонился над ним и не выпрямился: пуля того же снайпера нашла и его. Так и легли рядом командир батальона и его бессменный личный связной.

Многие матросы остались лежать на подходах к крепости и внутри ее. Они лежали и у черной воды Нарева, и плотно прильнув к обрыву, словно даже мертвые хотели вскарабкаться на него. Угрюмые санитары сносили их к братской могиле, ко второй братской могиле моряков в Польше.

Грохот боя пополз вниз по Нареву, и вместе с ним ушли катера, ушли, чтобы бить врага, бить на берегах этой же реки. но уже под другим городом, под другой крепостью.

## 5

Злой ветер свирепствовал за тонкими стенками каюты, косой дождь нудно барабанил по деревянной крыше. Маленькая баржонка покачивалась на волнах и угрожающе скрипела.

Чигарев уже который час лежал на своей койке, но сон не шел к нему. Это была не первая ночь без сна. И все из-за погоды. Еще дня за два до начала дождей ноги стало ломить, потом боль, казалось, проникла во все тело, и он вынужден был лечь в постель. Вот тут-то и началось! Боль стала еще невыносимее, и, что хуже всего, окончательно испортилось настроение, в голову полезли мрачные мысли. Даже мечты, которым он так любил отдаваться, сейчас почему-то не могли завладеть им. А сегодняшний день казался ему вообще сплетен-

ным из одних неприятностей. Чигарев был недоволен и погодой, и тем, что его дивизион приткнулся около какой-то невзрачной деревушки, и тральщики не участвуют в боях, а Ольга довольна последним обстоятельством. Неужели она не поймет, как тошно ему бездельничать? Ведь только подумать: бронекатера ежедневно сталкиваются с противником, бьют его, а что делают тральщики? Нет мин в польских реках. Вот и превратились краснозвездные катера в обыкновенные буксировщики, день и ночь мотаются по реке, подтаскивают к фронту баржи с продовольствием, боезапасом, обслуживают переправы. Разумеется, все это очень важно. Но разве о таком участии в войне мечтал он, Чигарев? Ни одного минного поля, ни одной десантной операции!

В этот момент баржонка вдруг угрожающе накренилась; застыла на мгновение в таком положении, потом что-то ударило в маленькое окошко. Чигарев услышал звон стекол, посыпавшихся на палубу. В каюту тотчас же ворвался сырой, холодный ветер.

— Ой, что это? — испуганно воскликнула Ольга.

Чигарев, морщась от боли, спустился со своей койки. Ольга сидела, прижавшись к вздрагивающей стенке и укрывшись одеялом так, что было видно только ее лицо.

— Что случилось, Вова? — теперь уже требовательно спросила она.

Чигарев прислушался к топоту ног над головой, попытался разобраться в обрывках фраз, которые швырял в разбитое окно разбушевавшийся ветер. Но в вое ветра не так-то просто было понять что-либо. Чигарев торопливо оделся и вышел из каюты, сказав Ольге как можно ласковее:

— Ты, Оленька, спи, я сейчас...

На палубе ветер свирепствовал так, что Чигарев вынужден был схватиться за леера, широко расставить ноги и наклониться вперед. Еще несколько секунд; и он понял главное: ветром сорвало штабную баржонку, и теперь она, подгоняемая волнами и ветром, выходила на середину реки. Чигарев не успел еще принять решения, как на него налетел оперативный дежурный по дивизиону главный старшина Жуланов, толкнул его за угол будки, где ветер был менее чувствителен, и прокричал:

— Тралы сорвало!

Чигарев оглянулся и в неровном свете выпущенной кем-то ракеты увидел тралы. Большие металлические

трал-баржи, болтавшиеся за кормой катеров на длинном буксире, взбесились, вышли из повиновения, сорвали швартовы, скреплявшие их с берегом, и угрожающе наваливались на катера. Чигарев сразу понял, что если только тралы доберутся до тральщиков, то раздавят их так же легко, как молот скорлупу ореха. Один из тралов, который был прикреплен к штабной баржонке, уже почти подкрался к ней. Еще мгновение — и он своим острым углом врежется в хрупкую обшивку...

Выход был один: отдать буксиры, и пусть волны и ветер сами отбросят тралы на безопасное расстояние.

Чигарев рванулся на корму и чуть не налетел на матроса, склонившегося над буксиром.

— Отдавай! — крикнул Чигарев, махнул рукой, словно рубя трос, и тяжелая петля, скользя с откинувшегося крюка, бесшумно исчезла в клокочущей воде.

Трал, двигаясь бесшумно, как тень, скользнул рядом с бортом штабной баржонки. Но это только один прошел, осталось еще восемь...

В это время матросы завели второй трос, подтянули баржонку к берегу. Чигарев не стал больше ждать и прыгнул в темноту. Земля остервенело бросилась ему навстречу, обхватила корнями подмытых деревьев. Чигарев упал. Горел лоб, расцарапанный сучком. Проторенная тропинка, в обычные дни ровная, гладкая, как асфальт, завалена обломками веток, камнями, скатившимися с высокого обрыва, размыта ручьями. Каждый шаг давался с трудом. Но прежде чем Чигарев добрался до ближайшего катера, у него за спиной вспыхнул луч прожектора, мигнул несколько раз, скрылся за металлическими шторками и снова вспыхнул. Все катера включили прожекторы. Чигарев устало навалился на ствол дерева, прижался к его шершавой коре лицом и чуть не заплакал от обиды. Четыре года учился, три года — командир, в каких только переделках не побывал, а тут так растерялся, что про световую сигнализацию забыл!

Лучи прожекторов пляшут по косматым волнам, выхватывают из темноты то бревно, которое грозно приподнялось из воды одним концом и словно приготовилось таранить маленький перевернутый шитик, прыгающий по волнам, то тралы, плавно качающиеся среди волн.

Как быть с тралами? Пусть плывут по воле волн и ветра? А если хоть один из них налетит на переправу,

по которой идут наши войска? Чигарев отчетливо представил себе, как вдруг из темноты перед понтоном переправы появляется острый угол трала, раздается треск сломанного дерева, скрежет железа, раздираемого страшным клином, в огромную пробойну хлещет вода...

И Чигарев решил. Он, поминутно спотыкаясь и падая, стал пробираться на катер Жуланова.

Наконец Чигарев свалился на палубу катера, дернул Жуланова за полу кителя, кивнул головой и скользнул в люк машинного отделения. Гремя по ступенькам трапа каблуками, за ним сбежал и главстаршина.

Здесь было сравнительно тихо и спокойно. Электрические лампочки бросали ровный свет на блестящие смазкой части машины и на металлические плиты настила. Мотористы, стоявшие на своих боевых постах, повернулись к командирам. В их глазах Чигарев не увидел ни страха, ни растерянности. Катер метался, бился бортами и днищем о берег, но матросы и не думали выглядывать на верхнюю палубу, напомнить о себе: устав требовал, чтобы они находились именно здесь и ждали приказа.

— К выходу готовы? — спросил Чигарев, опускаясь на ящик, намертво прикрепленный к палубе.

— Так точно, — ответил командир отделения мотористов, хотел было по привычке поднять руку к замасленной фуражке, но катер резко качнулся, и он, нелепо взмахнув руками, ухватился за борт.

Решение, зародившееся еще на берегу, теперь созрело окончательно. Тралы нужно было поймать, и Чигарев решил послать за ними катер Жуланова.

— Сможешь, Жуланов, отвалить от берега? — спросил Чигарев, прикладывая платок к кровоточащей царапине на лбу.

Жуланов пожевал губами и ответил:

— Сперва — задним, а потом увалить малость нос под ветер.

— Снимайся и... — тут Чигарев задумался. Ловить тралы — дело трудное, опасное. Еще подумает Жуланов: «Других, товарищ комдив, посылаете, а сами на бережок?» И почему-то вспомнилось лето сорок первого года. Босой Норкин стоит перед Кулаковым, который сурово выговаривает ему: «Разве у нас командиров лишка, чтобы ты во все дыры сам совался?» — Снимайтесь и ловите тралы! — закончил Чигарев твердо, решитель-

но. — Я останусь здесь с остальными катерами. Связь — клотником.

— Когда прикажете выполнять?

— Немедленно.

И снова косой дождь и ветер, валяющий с ног. А катер Жуланова уже посреди Нарева. Проекторы остальных тральщиков освещают его и ближайший к нему трал. Жуланов осторожно подводит к нему свой «532». Вот между носом катера и тралом осталась полоска воды метра в два или три, и тотчас на борт встал матрос, приготовившийся к прыжку. Его окатывает волнами, кажется, вот-вот одна из них сорвет его, закрутит, но матрос, как сжатая боевая пружина, подстерегает мгновение.

Чигарев поймал себя на том, что он тоже согнулся, у него тоже напряглись все мышцы, как и у того матроса.

Неуловимый миг, черная фигура мелькнула над водой, и вот матрос уже на трале. Он торопливо крепит буксир.

Чигарев облегченно вздыхает и только сейчас чувствует, что промок до нитки и замерз. Теперь бы стаканчик горячего чайку или чего другого, покрепче, но сначала доложить начальству о случившемся.

В землянке у матросов-связистов, вырытой в склоне кургана, сухо и даже тепло от маленькой печурки. Чигарев прошел к столу, опустился на чурбак, заменявший стул, и сказал, устало облокотившись на пирамиду для карабинов:

— Вызывай командира бригады.

Вода струйками стекала с его одежды.

— Готово, — сказал матрос, протягивая телефонную трубку.

— Контр-адмирал Голованов? — спрашивает Чигарев, еле шевеля непослушным языком.

— Голованов слушает.

— Докладывает Чигарев... Шторм у нас... Волны и ветер бешеные, — Чигарев не решается сказать о своей беде. Нечто подобное испытывает ныряльщик, забравшийся на непривычную для него высоту. И отступить стыдно, и прыгать страшно.

— Вы не Айвазовский и не Станюкович! Лирическое описание обыкновенного речного шторма оставьте при себе! — перебивает Голованов.

— Тралы у меня сорвало и унесло, — наконец, пере-  
сильв себя, говорит Чигарев, и сразу становится легче.

— Сколько?

— Все.

— Какие меры приняты?

Чигарев торопливо рассказывает, как все это произо-  
шло, о внезапно принятом решении, но Голованов опять  
резко обрывает его:

— Без переживаний! Конкретно!

— «Пятьсот тридцать второй» уже забуксировал  
один.

Голованов, видимо, прикрыл микрофон рукой, так  
как стало слышно лишь его невнятное бормотание. Чи-  
гарев уже хотел напомнить о себе, когда услышал голос  
Голованова:

— Чигарев! Прими все меры к поиску тралов. Ясно?

— Так точно, ясно.

— Где днем будешь?

— У себя... В штабе.

— Там и встретимся, — проговорил Голованов после  
небольшой паузы, и в голосе его теперь слышалась  
обыкновенная усталость человека, который смертельно  
хочет спать.

Телефонная трубка положена на аппарат. Немножко  
знобит. Но Чигарев счастливо улыбается: сам Голова-  
нов говорил с ним на «ты»! А это значит... В бригаде все  
знали, что это значило.

— Разрешите обратиться, товарищ комдив? — спра-  
шивает рассыльный.

— Что у вас?

— Военврач просит вас зайти в каюту.

— Хорошо, идите.

На лице рассыльного растерянность. Наконец он по-  
нял, что комдив не собирается прятаться от непогоды,  
и в глазах его Чигарев уловил новое выражение. Имен-  
но так смотрели матросы на Норкина.

Перед рассветом ветер стих. Только сломанные де-  
ревья на берегу да волны с маленькими пенистыми греб-  
нями напоминали о недавней буре. Солнце, как всегда,  
поднялось румяное, широколицее, и все кругом засвер-  
кало.

Чигарев еще раз осмотрел катера, тралы, баржи. Ка-  
жется, все в порядке.

И только теперь он почувствовал, что чертовски

устал, что теперь можно и отдохнуть. И, припадая на большую ногу, пошел в каюту.

Ольга встретила его градом упреков. Она сердилась и за то, что он, больной, пробыл всю ночь на ветру, под дождем, что она бог весть чего не передумала, сидя в каюте, что он, как и Норкин, прежде всего думает о службе, а семьи для него будто вообще не существует.

Чигарев молча выслушал ее упреки. Он был доволен: Ольга ухаживала за ним, беспокоилась о его здоровье.

## 6

Осень кончилась внезапно: еще вчера размокшая земля липла к ногам, а сегодня она покрылась твердой колючей коркой, окаменела. Ветер с залихватским свистом налетал на полуразрушенные войной деревни, безжалостно срывал листья с деревьев и гнал их перед собой, в порыве безрассудной расточительности устилал ими землю.

Потом хлопьями повалил мокрый снег. И уже к вечеру Нарев огромной извилистой траурной лентой бежал между белых берегов.

Берега словно вымерли. Только около фронта, который еще ближе подошел к Висле, над землей стелется сизоватый дымок, похожий на легкий туман раннего летнего утра. Это топятся печурки в солдатских землянках. Сидят солдаты под тремя и более накатами, покуривают около раскаленной печурки и тихонько, чтобы не спугнуть сон спящих товарищей, судачат о том, скоро ли кончится война и всех ли сразу отпустят по домам. Но еще чаще гадают, когда наступит настоящая зима. Сейчас для солдат самая проклятая пора: в сапогах ноги мерзнут, а если валенки наденешь, да еще промочишь их — пиши пропало. Чего доброго, и на култышках домой вернешься.

И если трудно солдатам, то на катерах и вовсе хоть плачь. Тонкие борта нисколько не спасают от холода. В кубриках стоят «буржуйки». Пока они топятся, можно сидеть раздетым, душно и влажно, как в парилке. Но только погас огонек — колючий иней мгновенно расползается повсюду и матросы поспешно натягивают полушубки.

Бывало и так: отрывает, отрывает матрос свой полушубок от борта, потом выругается, махнет рукой, схва-

тит шинельку, подбитую рыбьим мехом, и бежит на вахту.

А если катера в походе — и того горше. Волны сбрасывают свои гребни на палубы, и те становятся бугристыми, скользкими. Один неосторожный шаг — и окажешься за бортом. Но хуже всего — опять-таки с ногами. Тонкие подошвы ботинок и сапог промерзают за несколько минут. Одно спасение — нырнуть в машинное отделение и поблаженствовать там, пока не окликнут с вахты.

А плавать приходится. Вот и сейчас, хотя река забита салом и льдины со скрежетом налезает друг на друга, среди них пробиваются тральщики. Нет даже подобия строя, и какой-нибудь ярый приверженец порядка с ужасом схватился бы за голову, увидев их. Каждый катер идет там, где надеется проскочить. Вперед вырвался бывший тральщик Мараговского. Теперь им командует мичман Никишин. Выписавшись из госпиталя и попав в Пинск, он зашел к Норкину. Встретились как любящие братья. Не обошлось даже без неуклюжего мужского поцелуя. Поговорили о жизни вообще, о планах на будущее, а потом Норкин и предложил:

— Иди, Саша, ко мне?

Никишин отвел глаза и с интересом стал рассматривать эмблему на своей фуражке. Норкин истолковал его замешательство как невысказанное чувство благодарности и продолжал уже увереннее:

— Чигарев возражать не станет, с Головановым тоже договорюсь... Ну, что молчишь? Решай.

— Не обижайтесь, Михаил Федорович, а я иначе думаю, — ответил Никишин и положил фуражку на стол. — Получается, вроде бы подшефным я у вас... А мне хочется самому дорожку по жизни протаптывать. Ведь не все же время вы будете меня за ручку водить?

Норкин не ожидал отказа, был поражен словами Александра и нахмурился, обиженно засопел. От всей души предлагал, а Сашка... Однако здравый рассудок взял верх, Норкин пересилил себя и ответил даже равнодушным тоном:

— А я и не настаиваю. Просто предложил, и все...

Вот и оказался Никишин опять командиром тральщика. Он не обижался ни на команду, ни на отсутствие работы: матросы один к одному, а задания и того лучше. Сначала подвозили к фронту боеприпасы, продовольст-

вие, участвовали в высадке десантов, а сегодня пробиваются к катерам Норкина. Засел Михаил Федорович со своими катерами у Дембе! Который день драка идет, снаряды вот-вот кончатся, а от фронта не отойдешь: десантники и пехота все время просят подбросить огоньку,

Никишин стоит в рубке и постукивает ногой о ногу. Руки его засунуты в карманы шинели, плечи приподняты. Хочется поднять воротник, но он сдерживается: Копылову, который с утра торчит у пулемета, и вовсе тошно.

Фронт уже близко. Орудия бьют с обоих берегов, и снаряды, противно воя, то и дело проносятся над катером. А он, то забираясь на льдины, то зарываясь в них, идет вперед. Его борта покрыты глубокими царапинами: осенний лед крепок, упрямя, сдаваться не хочет. Того и гляди, прорежет тонкую обшивку.

Сало идет гуще. Оно временами так сжимает катер, что он почти останавливается. Это нервирует: еще затрет, чего доброго, и протащит через фронт прямо в лапы к фашистам, под залпы их пушек. Никишин то и дело выходит из рубки, всматривается в левый берег. Где-то здесь должен быть штаб дивизиона Норкина.

Снежный заряд обрушился на катер неожиданно. Белая пелена вдруг закрыла правый берег, напозла на нос катера, и мокрые хлопья снега залепили смотровое стекло.

— Ориентиров не вижу, — доложил рулевой.

Никишин открыл дверь рубки, хотел выйти, но кто-то из матросов уже протирал стекло.

Наконец нашли штаб дивизиона Норкина. Тральщик подошел к берегу, и Никишина сразу засыпали вопросами:

— Что привез?

— Куда раненых грузить?

— Где комдив? — в свою очередь спросил и Никишин.

— В штабной землянке. Как на обрыв подымешься, сразу направо.

Никишин прыгнул на землю и, неуклюже переваливаясь на замерзших ногах, направился искать штаб. Но все обошлось благополучно: тропинка, протоптанная в снегу, оборвалась у штабной землянки. Никишин толкнул дверь, шагнул вперед и замер у порога. Только грубый окрик: «А дверь за тобой кто закрывать будет?» —

вывел его из столбняка. Да и было чему удивляться: посреди землянки Норкин отбивался от матросов, которые сдирали с него обледеневшую одежду. Рядом с Норкиным суетился Чернышев. Против обыкновения, в его действиях не замечалось робости. Он так же бесцеремонно, как и матросы, покрикивал на комдива.

Сначала Никишин ничего не мог понять в этой сутолоке, но потом догадался: Норкина недавно вытащили из воды, заставляют переодеться, а он все рвется к микрофону радиостанции, чтобы отчитать за что-то Гридина.

— А ну! — вдруг выкрикнул Чернышев. И два матроса сорвали с комдива мокрую тельняшку, а третий набросил ему на голову свитер. Норкин обрушил на них поток брани, одним рывком натянул свитер на себя и крикнул:

— Кому сказано — не мешать?

— Теперь валенки, — невозмутимо командовал Чернышев, и, как по мановению волшебного жезла, на ногах Норкина оказались валенки.

— Оставьте вы меня в покое или нет? — взревел Норкин.

— Еще вот эту кружечку выпейте.

Норкин залпом осушил вместительную кружку водки, придержал дыхание и уже значительно спокойнее спросил у радиста:

— Связался с Гридиным?

— Готово, товарищ комдив.

— Гридин! Гридин!.. Какого дьявола ты там мудришь? Я требую от тебя конкретной обстановки, а ты шлешь мне обтекаемую фразу!

Гридин, должно быть, начал оправдываться, так как Норкин замолчал и лишь сопел, глядя на микрофон.

— Я тебе, когда вернешься, голову оторву! — наконец отрывисто бросил он, выпрямился и тут увидел Никишина. — Пришел? Все в порядке? Где Чигарев?

— Он болен, который день лежит, — ответил Никишин.

Норкин поморщился. Жалко Вовку. Сырая осень, резкая смена температур в кубрике — все это доконало его. Слег окончательно. Нет, видно, не командовать дивизионом с таким здоровьем.

— А я прибыл, все в порядке, — продолжал Никишин.

— Немедленно сниматься. Сам с тобой пойду.

Темно. Почти не видно узких разводьев между льдинами. Катер фактически идет на ощупь. Впереди — кажется, за следующим поворотом реки — отрывисто лают пушки бронекатеров. Стреляют редко, будто грызаются.

— А у меня, Саша, Ястребкова убило, — неожиданно говорит Норкин. — Прямое попадание, взрыв боезапаса — и нет катера!.. Меня в воду сбросило... Я пошел прикурить на камбуз, а он в это время и вклепил...

Никишин не отвечает. Соболезнование не поможет. Да и непонятно, удивляется или радуется комдив, что именно в это время ушел прикурить.

— А Лешенька-то мой тоже отчудил! — перескакивает Норкин на другой волнующий его вопрос. — Я у него спрашиваю по рации, как дела, а он отвечает: «Деремся по-гвардейски!» Каково, а? Догадывайся комдив сам, то ли он погибает, то ли побеждает по-гвардейски!

Дверь рубки распахивается, появляется Жилин и докладывает:

— Товарищ мичман, льдом забило приемник, мотор перегревается!

Какая-то шальная мина рвется, ударившись об лед.

— Нельзя останавливаться, Жилин, нельзя, — говорит Норкин. Он не кричит, не приказывает, но тон у него такой, что сразу становится ясно: останавливаться нельзя.

— Разрешите идти? — спрашивает Жилин.

— Там последние снаряды расходуют, — говорит Норкин.

Жилин закрывает дверь рубки и одиноко стоит на палубе. Да, останавливаться нельзя. Но ведь и идти на перегревшемся моторе невозможно. Где же выход?

Конечно, можно тянуть, мотор пока терпит. А потом что? Лазаря петь? Заглохнет мотор — тогда смерть. Затрет льдинами катер и потащит за собой. Где он остановится? Кто воспользуется снарядами, которые везет он?

Весь катер окутан паром...

Жилин спустился в машинное отделение. Молодой моторист, прибывший с последним пополнением, выжидающе смотрит на своего начальника и, желая предупредить его приказание, берется за рычаг, чтобы выключить мотор. Жилин нагибается, выхватывает из

гнезда массивный гаечный ключ, заносит его над головой ничего не понимающего моториста и кричит:

— Только троны!

Моторист шарахается в сторону. Жилин смотрит на мотор, прикладывает руку к его кожуху и тотчас отдергивает.

— Без меня не самовольничать! — грозит Жилин мотористу и уходит.

Норкин и Никишин, вглядываясь в сверкающие впереди вспышки выстрелов, настороженно прислушиваются к шуму мотора. Нет, с ним пока все в порядке. Вроде бы даже лучше стал работать.

Прямо по курсу катера обозначился темный силуэт. Норкин выскочил из рубки. Так и есть, глаза не обманули: один из бронекатеров выходит из боя.

— На бронекатере! Подойти к борту! — кричит Норкин.

Но бронекатер и сам подворачивает к тральщику.

— В чем дело? Куда идете? — спрашивает Норкин.

— Снарядов нет.

— Принимай боезапас! — командует Норкин и удивляется: почему-то все матросы бегут на корму тральщика, почему-то никто не спешит выполнить его приказание. Норкин тоже бежит туда.

На палубе тральщика лежит человек. Его волосы и туловище покрыты ледяной корочкой. Руки опущены в воду, словно ловит он там что-то.

Пестиков и Копылов бережно поднимают его, завертывают в полушубок, несут в машинное отделение. Норкин узнает Жилина и понимает все: он руками очищал ото льда приемник заборной воды.

Ящики со снарядами исчезли в кубриках бронекатера. Норкин спустился в машинное отделение, подошел к Жилину. Тот лежал около теплого мотора и ласково и немного виновато смотрел на толпящихся моряков. Норкин протянул ему руку и тотчас опустил: обе руки Жилина — как белые куклы.

— Спасибо, Жилин, — тихо и проникновенно сказал Норкин.

Жилин заморгал веками, слабо улыбнулся и ответил:

— Стоит ли... Свои люди...

Многое хотелось сказать, но время подгоняло, и Норкин, простившись с командой тральщика, перешел на

бронекатер. А еще через секунду оттуда донесся его приказ:

— Вперед, гвардия!

## *Глава одиннадцатая*

### **ЗДРАВСТВУЙ, ПОБЕДА!**

#### 1

Замерзли реки в Польше — остановились катера флотилии. Не похожа была эта зимовка на все предыдущие: всего два месяца. Да и не могла она продолжаться дольше: американцы и англичане, которые — наконец-то! — все же осмелились начать наступление в Европе, получили крепкий удар в Арденнах, и, чтобы спасти союзников от окончательного разгрома, советские войска вновь начали мощное, всеокрушающее наступление. Висло-Одерская, Сандомиро-Силезская, Восточно-Прусская и Будапештская операции создали все условия для решительного удара в сердце фашизма — по берлинской группировке врага.

Подготовка к этому наступлению началась в феврале, когда войска первых Белорусского и Украинского фронтов вышли на реки Одер и Нейсе. Готовились быстро, но основательно: враг тоже не спал, он тоже стягивал к Берлину силы, укреплял его. Огромный город опоясали три оборонительные полосы глубиной от 20 до 40 километров; каменные здания немецкие инженеры превратили в мощные опорные пункты; вросли в землю огневые точки, сделанные из железобетона и брони; поперек улиц города легли баррикады, за которыми и около которых притаились солдаты с фаустпатронами; мины, колючая проволока, надолбы, волчьи ямы подстерегали наступающих на каждом шагу; около миллиона вооруженных до зубов гитлеровцев собирались дорого продать свою жизнь.

В апреле советские войска уже были готовы нанести удар. Под Берлином командование советскими войсками сосредоточило крупные войсковые соединения, более 42 000 орудий и минометов, более 6250 танков и самоходных орудий и 7500 самолетов.

Вместе с армией к решительному штурму Берлина приготовилась и Днепровская флотилия. Она пополнилась людьми, техникой и вышла к Кюстрину, откуда и намеревалась ударить в назначенный час. Здесь же стояла и бригада Голованова. Моряки знали, что впереди последние бои, но бои тяжелые, бои не на жизнь, а на смерть.

— Тебе, Норкин, придется опять сдать дивизион Селиванову, — сказал Голованов и, заметив, что Норкин нахмурился, добавил: — Временно сдать. Понимаешь, не хочется нам, чтобы батальоном Козлова командовал человек, пришедший к нам только сейчас. Да и многих катерников мы туда направляем. Тебе-то легче будет столкнуться с ними.

— Есть принять батальон Козлова, — ответил Норкин и через час или около того уехал на левый берег Одера, где располагалась морская пехота.

Кате о своем новом назначении сказал, заехав в госпиталь. Катя побледнела, глаза ее налились тоской.

— Возьмешь? — так тихо спросила она, что Норкин скорее понял, чем услышал это слово.

— Не возьму. Из-за него не возьму, Катюша...

Катя обняла, поцеловала и сказала, всхлипывая:

— Иди... Иди... Только береги себя, Миша... Я ведь с сыном буду ждать тебя... Иди!

Норкин торопливо поцеловал Катю и побежал к машине. Он не мог оставаться здесь больше ни минуты: зачем мучить себя и Катю? Ей сейчас никак нельзя волноваться...

Катя, закрывшая лицо руками, и сейчас стоит перед глазами Михаила, хотя произошло все это семь дней назад. Неделя минула с тех пор... Да, неделя. Сегодня шестнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Сегодня начнется штурм Берлина. Норкин смотрит на часы и выходит из землянки: нужно успокоиться перед боем.

В окопах, прижавшись к стенкам, сидят матросы. Сидят молчаливые, сосредоточенные.

— Еще десять минут, — говорит кто-то и вздыхает.

И, глядя на матросов, Норкин вдруг понял, почему сегодня все так взволнованы, почему и сам он не может найти себе места: все давно готово, все рассчитано до мелочей. За четыре года войны бывало всякое, но никогда еще не было такой подготовки, как перед этими боя-

ми; всегда в последнюю минуту приходилось что-то уточнять, дотягивать, а тут... Тут все готово! Даже направление атаки указано почти каждому матросу!

— Сейчас, — опять шепчет кто-то.

Кажется, все затаили дыхание...

Земля вдруг будто треснула там, где стояли пушки и минометы, треснула, выбросив огонь, который, полыхая, стоит над трещиной. Грохот такой, что ничего, кроме него, не слышно.

Так продолжалось ровно двадцать минут. Потом земляная завеса, поднятая рвущимися снарядами и стоявшая над немецкими окопами, поползла к Берлину, а сзади окопов, в которых сидели советские солдаты, ожидавшие сигнала атаки, враз вспыхнули двести прожекторов, враз уставились своими глазищами на немецкие окопы, освещая путь своим и слепя врага. Легли на землю лучи прожекторов — на позиции немцев покатились огнедышащая волна танков и самоходных орудий.

Прошли танки и самоходки через советские окопы — поднялась советская пехота. Поднялась пехота, молчаливая, уверенная в своем превосходстве и поэтому особенно страшная врагу.

Норкин тоже выскочил из окопа и крикнул:

— Вперед, гвардия!

Он сам не слышал своего голоса, но был уверен, что его поняли: матросы шли дружно, напористо, быстро подавляя всякое сопротивление.

Фронт немцев дал трещину, которую советские войска умело расширили и пошли вперед. Все дни стали похожи друг на друга. Опомнился Норкин только двадцать первого апреля. Его батальон, поредевший за дни боев, вошел в Берлин. Кругом полуразрушенные серые коробки домов, скрюченные взрывами фонарные столбы, груды битого кирпича и белые флаги, свисающие из окон. На углу улицы фанерный щит. На нем написано:

**«21 апреля 1945 года  
войска**

**- 1-го Белорусского фронта  
вступили в Берлин!**

**Да здравствует наша великая  
Советская Родина!»**

А в углу его, чтобы не испортить основной надписи, еще одна строчка, написанная химическим карандашом:

«Точно, вошли! Коробов».

Очень хорошо, Коробов, что и ты здесь. Вместе с тобой били фашистов под Москвой и в Сталинграде, вместе доколачиваем их и в Берлине!

Однако отдыхать и радоваться рано: враг еще не добит, впереди еще рейхстаг.

— Вперед, гвардия! — кричит Норкин, и начинается штурм новой баррикады, перегородившей улицу.

Много в Берлине улиц, еще больше домов и баррикад, но ничто не может остановить гвардию, рвущуюся к рейхстагу, купол которого возвышается над серыми домами.

— Даешь рейхстаг! — Эти два слова призывно и требовательно мечутся в улицах города, и люди, черные от усталости и пороховой копоти, опять бросаются вперед.

Так было все дни наступления, а сегодня, тридцатого апреля, когда до рейхстага рукой подать, остановился батальон. Пятый час лежат матросы в развалинах дома! Еще на рассвете они выбили немцев отсюда, попытались идти дальше и... залегли. Широкая площадь преградила дорогу. Площадь — «ничья». Гладкая, без скверов и памятников, она просматривается со всех сторон.

Разгоряченные боем матросы попробовали с ходу пробежать через нее, но из отдушин в фундаменте, из окон огромного дома, стоявшего на противоположной стороне площади, ударили пулеметы и автоматы, к ним присоединились минометы, рассыпавшие по мостовой дробь разрывов, — и батальон отступил. Он залег в развалинах дома в ожидании, пока артиллерия не подавит огневые точки противника.

Конечно, морская пехота могла преодолеть это препятствие, ей приходилось брать и более укрепленные участки. Но сегодня... Умирать сегодня... Сегодня только жить и жить...

Прижавшись щекой к холодному шершавому камню, Норкин время от времени бросает взгляд на распластанные на площади тела. Это его бойцы. Еще утром, полные сил, выскочили они из развалин, а сейчас лежат неподвижно на иссеченных пулями и осколками чужих камнях.

Дом дрожит от взрывов. Но не от того, что в него попадает много снарядов. Нет! В его крепкие стены только изредка ударяются мины. Дрожит он потому, что

словно молот невиданной силы бьет по всей берлинской земле, и от его ударов, как игрушечные, покачиваются большие каменные дома.

Матросы лежат у проломов в стене. Одни злыми глазами смотрят на площадь, другие, положив кирпичи под голову, пытаются уснуть. Лица хмурые. Соседи давно ушли вперед, а они лежат тут и ждут, пока пушки расчищают дорогу.

Вокруг валяются жалкие остатки мебели: разбитый стол, сломанные стулья, распоротый матрац. Все это чужое, ненужное. Берлинская пыль лежит на обмундировании, оружии, на лицах и вот уже которые сутки скрипит на зубах.

Дома рушатся то и дело, но тот, на дальней стороне площади, все еще стоит. В его стенах огромные проломы, едва держатся изогнутые взрывом балки, но дом стоит!

Вот по его темной стене мелькнула огненная змейка. Мелькнула и исчезла. В стене появилась маленькая трещина. Зигзагом пошла она от одного пролома к другому... Стала шире, шире, стена покачнулась, вдруг наклонилась — и упал угол дома, рассыпался по мостовой битым камнем, взметнув тучу пыли.

«Еще немного, и пойдем», — подумал Норкин.

— Гляньте, товарищ капитан третьего ранга, как они ныряют, — говорит Копылов. Он связной командира батальона и лежит рядом с ним.

В небе много самолетов. Непрерывно летят к центру Берлина бомбардировщики, над самыми крышами проносятся штурмовики, а выше их, как орлы, парят истребители. Они то взмывают вверх, то стремительно бросаются вниз. В их полете заметна закономерность. Самолеты носятся чаще всего парами. Один догоняет другого. Выстрелов же не слышно. Видны лишь светлые точки, летящие от самолета к самолету. Вот один самолет задымил и, выйдя из боя, пошел на восток.

— Наш! — как вздох вырвалось у всех.

— Дотяни, милый! Дотяни!

И самолет «тянет». Но вот на его плоскости показались пламя...

— Еще немного! Еще! Да-ва-ай!!!

Повалил густой дым, и черный хвост потянулся за самолетом. Огненные языки переплелись с черными прядями дыма...

От самолета отделилась точка, понеслась к земле, и вдруг закачался человек на стропах под раскрывшимся парашютом. Видно, как летчик натягивает стропы и старается скользить к фронту...

Все ближе и ближе... Скоро он будет вне опасности. Но светлые нити вдруг поднялись от земли к парашюту... Даже зенитная пушка выпустила по нему несколько снарядов!

Норкин не выдержал. Он сорвал с телефонного аппарата трубку и закричал что есть силы:

— «Сирень»? Соединяй с «Громом»... Я тебе дам занято!.. «Гром»? Ты ослеп, что ли?.. Приказа нет?.. Ах ты... Что?.. Даешь?.. Давно бы так. Всю душу вымотал!

Положив трубку, Норкин вытер ладонью вспотевшее лицо.

И грянул «гром». Новые столбы пыли встали там, откуда стреляла зенитка, и она, тьякнув еще раз, замолчала.

Летчик немного не дотянул до своих. Он опустился на середину площади. Норкин отчетливо видел, как подогнулись ноги летчика, как он пластом упал на мостовую, на несколько метров впереди матросских трупов. Тугой, упругий купол парашюта обмяк, сморщился и осторожно лег на землю, прикрыв летчика.

На той стороне площади словно только этого и ждали. Темные провалы окон замигали вспышками очередей. На этот раз пули не свистят, а как-то жалобно взвизгивают: они направлены в летчика и рикошетят от камней.

Несколько минут моряки лежали неподвижно. Первым поднялся Норкин, высокий, сутулый, рванул ворот кителя и крикнул:

— Ах, так?!

Крикнул не командир, а человек, потерявший терпение, но для матросов это было как долгожданный сигнал. На площадь выскочил один, другой, третий...

Пули и осколки мин, как град, падают на камни, высекая искры. Искрится вся площадь, но батальон бежит. Бежит вперед, пересекая огромную площадь, и ничто, никакая сила не способна остановить его сейчас.

Упал один, вытянув вперед руки, упал другой, откинувшись назад. К трупам подползают раненые, прячутся за них и ведут огонь по вспышкам, мелькающим в окнах... А остальные, перепрыгивая через раненых и уби-

тых, бегут вперед. Они не думают о смерти. Прочь все! Война еще не кончена!

— Даешь! Полундра! — несется над площадью, и гневный крик матросов заглушает порой и разрывы мин, и треск выстрелов.

Что-то белое мелькнуло перед Норкиным. Он остановился и провел рукой по лицу, словно смахнул что-то. Осмотрелся с удивлением. Где он? Как попал сюда?

У ног его лежал парашют.

Матросы, более быстрые на ногу, уже пересекли площадь. Они швыряют гранаты в окна, лезут туда, не дожидаясь взрывов. Из дома доносится глухая, сдавленная воркотня автоматов.

Когда в доме стало тихо и Норкин опустился на камни, к нему подошел Копылов.

— Он вас требует, — сказал Копылов, кивнув в сторону площади. И тогда Норкин вспомнил белое пятно парашюта. Матросы уже догнали соседей, командир батальона минует на пять или десять может передать командование заместителю. И Норкин поднялся.

— Идем.

— Разрешите, я здесь останусь! — не спросил, а выкрикнул Копылов и показал автоматом в сторону купола рейхстага. Впервые он отказывался сопровождать своего командира, и тот не настаивал.

Летчик лежал все там же на камнях. Под его голову кто-то сунул свой бушлат. Лицо у летчика серое, осунувшееся. Губы сжаты. В углах рта струйки крови. Дышит он прерывисто. Каждый вздох — подавленный стон.

Летчик медленно приподнял веки. На Норкина глянули глаза — строгие, глубокие. Что-то забулькало, заклокотало в его горле.

— Возьмите...

Глазами летчик показал на нагрудный карман. Норкин, стараясь сдержать дрожь пальцев, осторожно достал из его кармана партийный билет и пачку документов.

— Вот... тут все... передайте...

Глаза опять закрылись. Пальцы рук судорожно комкают комбинезон.

Норкин махнул рукой врачу и санитарам, шедшим от дома.

Они подбежали. Врач, молодой, с узенькими погонями на плечах, опустился на колени рядом с раненым.

Увидев, что ранение тяжелое, он заговорил тем тоном, каким родители уговаривают маленьких детей:

— А мы сейчас перевязочку сделаем, доставим в госпиталь, а месяца через два и полетишь снова...

Летчик, не открывая глаз, отчетливо проговорил:

— Не тронь... Я знаю... Не боюсь ее...

— Даешь рейхстаг! — пронеслось над площадью. Это батальон опять пошел в атаку. Норкин еще раз глянул на летчика и побежал через площадь к знакомому дому. Когда он был уже возле него, то над куполом самого высокого в этом квартале здания уже развевалось огромное красное полотнище. Ветерок ласково перебирал его складки. Рейхстаг взят! Теперь остается только сломить сопротивление последних фашистов!

— Вперед, гвардия! — восклицает рядом какой-то незнакомый майор.

— Вперед, гвардия! — кричит и Норкин.

Из развалин домов выскакивают одинаково решительные солдаты и матросы. Они бегут вперед, чтобы водрузить красное знамя Победы и над другими зданиями Берлина, часы которого сочтены.

## 2

Еще вчера небо было в грязных хлопьях разрывов зенитных снарядов, еще вчера на нем черными шлейфами дыма расписывались горящие немецкие и наши самолеты, еще вчера здесь, казалось, стреляла сама земля, а сегодня — тишина. До звона в ушах тишина.

И это не случайно: вчера Берлин капитулировал, сегодня моряки заслуженно отдыхали, вот поэтому и чистили оружие, латали обмундирование там, где его куснули пуля или осколок.

А первым делом они похоронили своих товарищей. Похоронили утром, когда солнце, поднявшееся в родной их стороне, смотрело прямо в свежую братскую могилу.

На могиле установили некрашеный обелиск-пирамидку и химическим карандашом написали имена всех тридцати семи советских парней, что пали вчера в бою, пали на самом пороге Победы. Над могилой не произносили пышных речей, не клялись отомстить: к этому времени уже хорошо знали, что никакие самые красивые слова не заменят живого дела. Вот поэтому и чистили оружие, латали обмундирование. Они не намере-

вались останавливаться в павшем Берлине: на меньшее, чем полная и безоговорочная капитуляция всей фашистской Германии, они не были согласны.

А под вечер, когда были закончены все приготовления к грядущим боям, моряки собрались около дота, развороченного бомбой, собрались на партийное собрание. На глыбе бетона, из которой торчали погнутые, скрюченные взрывами железные прутья арматуры, сидел старший лейтенант Алексей Гридин — в недавнем прошлом матрос, защитник Ханко.

Норкин с матросами расположился перед разбитым дотом прямо на земле, на которой поблескивали патронные и снарядные гильзы. Завтра их подберут дотошные интенданты. Но сегодня гильз много; рябит в глазах, как на иное место глянешь.

— А теперь, товарищи, заявление старшего матроса Калугина Александра Ивановича. Он просит принять его кандидатом в члены нашей Коммунистической партии, — говорит Гридин.

Калугин встает, почему-то снимает бескозырку и мнет ее в руках. Товарищи смотрят на него строго, ни одного смешка, ни одной реплики, до которых все обычно охочи.

— Пусть биографию расскажет, — предлагает Мусатов — матрос из того же взвода, что и Калугин; вместе два пуда соли давно съели, вместе воюют с 1942 года, а теперь подавай биографию!

Калугин — невысок. Плечами тоже похвастаться не может. Одним словом, по внешности — юнец, а не матрос пятого года службы. Вот только обмундирование на нем подогнано и выутюжено, как это умеют делать лишь настоящие моряки.

— Биография у меня, значит, такая, — начал он сильным от волнения голосом, откашлявшись в бескозырку. — Родился в двадцатом году на станции Чусовская. Окончил семь классов... Больше на «пос» учился... Потом работал слесарем в электродепо. В одна тысяча девятьсот сороковом вступил в комсомол... А как война началась, на фронт пошел... Вот и вся моя биография.

Сказал это и вздохнул с облегчением.

— Еще вопросы к товарищу Калугину есть? — спрашивает Гридин.

На западе, где-то за Берлином, лупят пушки. Если судить по звуку — наши.

Норкин волнуется, даже злится, что, к сожалению, не один Сашка Калугин, а многие так же о себе рассказывают в подобные торжественные и ответственные моменты. Будь это дозволено, он, Норкин, сейчас встал бы и так рассказал биографию Калугина...

1941 год. В те дни казалось, что небо вот-вот брызнет кровью. Таким багровым оно было от многих пожаров, которые сутками накаляли его с земли. С обломанными ветвями, расщепленные, будто жеванные стальными зубами, стояли деревья на берегу речушки. На карте она обозначалась голубым волоском без названия, а в жизни — мутный ручейко, спрятавшийся в трещину с обрывистыми берегами.

Здесь, на берегу этой речушки-ручья, вторые сутки держит оборону батальон морской пехоты. Вернее, не батальон, а то, что от него осталось: сорок пять матросов и старшин и лейтенант Норкин — единственный из уцелевших к тому времени командиров. Их было только сорок шесть, но по молчаливому уговору они решили стоять здесь сколько смогут: им казалось, что они последний заслон на пути фашистов к Ленинграду.

Моряки пришли сюда ночью и сразу же стали готовиться к бою: рыть окопы, выбирать ориентиры, распределять секторы ведения огня.

На востоке уже начали светлеть облака, а окопа все еще не было. Вместо него — сорок шесть ячеек. И лишь с колена можно было стрелять из них.

И все понимали, что немцы, как обычно, полезут в шесть часов. Эту их особенность уже хорошо усвоили. Значит, в распоряжении моряков оставалось только около двух часов тишины. Надо было подналечь, поднавалиться, но сил нет: позавчера и вчера были бои, потом ночные переходы на новые позиции. Почти трое суток без сна, без горячей пищи, на случайных сухарях!

Но моряки все же вгрызались в каменистую землю. Из последних сил вгрызались. Им было приказано здесь удерживать немцев целый день, только с наступлением ночи им разрешалось отойти. И они поклялись, что ни минутой раньше не тронутся с места.

Кроме того, им надоело отступать. Хотя их было и мало, в душе каждый из них таил надежду, что, может быть, на этой безымянной речушке и будет наконец-то остановлен враг.

Рядом с Норкиным рыл ячейку молодой матрос

Александр Калугин. Норкин нарочно так распорядился: мало верил в выдержку салажонка.

Калугин упорно долбил лопатой землю, хотя было видно, что он с минуты на минуту в изнеможении может грохнуться. И после этого уже не встанет.

Чтобы подбодрить его, Норкин и сказал глупость. Вернее, потом понял, что это глупость:

— Оборона, товарищ Калугин, дело важное. Зароемся в землю — и смерть не страшна...

— А я и не боюсь.

В его голосе не было ни страха, ни растерянности. Ответил человек, уставший — дальше некуда.

А потом, ровно в шесть, немцы сначала, как это бывало уже не раз, засыпали ячейки моряков минами и снарядами, а когда им, должно быть, показалось, что моряки все убиты, срезаны под корень и расщеплены, как деревья на берегу речушки-ручья, они пошли и в атаку. Моряки подпустили их метров на двести и враз ударили из автоматов и пулеметов. Сорок шесть человек стреляли, веря в свою победу, и поэтому — метко.

Тогда, откатившись, немцы бросили на моряков семь бомбардировщиков. Эти прекрасно знали вооружение моряков и шли так низко, что было хорошо видно, как каждая бомба отделялась от самолета.

И еще — самолеты торопливо и злобно таякали из пушек, пулеметными очередями срезали брустверы ячеек. Взрывы бомб вздыбили землю и воду. Солнце казалось морякам мутно-красной тарелкой.

Появились раненые. Были и убитые.

Одним из первых ранило Калугина: осколок впился в левую ногу. Норкин, сделав перевязку, разрешил ему: — А теперь отходи, пробирайся к нашим тылам.

Но Калугин никуда не ушел.

Весь день немцы лезли на остатки батальона моряков. Последнюю их атаку отбивали гранатами, ножами, прикладами. Отбили.

Потом шли всю короткую летнюю ночь. Шли, чтобы соединиться со своими. Теперь в батальоне было только двадцать три человека. Среди них и Александр Калугин.

За сорок первым подкрался и сорок второй год. Летом немцы вышли к Сталинграду, ворвались в его улицы. Чтобы хоть немного ослабить напор врага, советское командование решило донимать его небольшими де-

сантами парашютистов. В десантники брали и моряков, и пехотинцев. Как правило, лучших. Норкин рекомендовал Александра Калугина.

После выполнения задания Александр Калугин с орденом Красной Звезды вернулся в дивизион.

— За что наградили? — спросил Норкин.

Он ответил:

— В наградном все обсказано.

Командовал теми парашютистами-десантниками старший лейтенант Белоцерковский — хороший знакомый Норкина. От него и узнали...

Когда распахнулся люк, Калугин торопливо подошел к нему и нырнул в грохочущую черноту.

Еще в воздухе проверил, хорошо ли закреплено оружие, не выпало ли чего из карманов, и стал всматриваться вниз, откуда черной горой наваливалась земля.

Ударившись о землю, он упал. А когда сел — прямо над собой увидел немецкого солдата, который направил автомат ему в грудь.

Что делать? Одно движение — немец прошьет очередью...

Только не отказываться от надежды!

— Встать! Руки вверх! — пролаял фашист и чуть приподнял ствол автомата, будто в самое сердце целился.

Калугин поспешно встал, вроде бы с готовностью поднял руки.

Немцу понравились покорность и поспешность русского десантника, но он еще приказал, почти касаясь стволом автомата его груди:

— Брось оружие!

Может, это тот самый подходящий момент, который должен использовать ты, матрос Александр Калугин? Может, другого не будет?

Нет, подожди, Сашка, подожди, сейчас немец с тебя глаз не сводит...

И падают на землю, твердую как камень, автомат, гранаты и даже нож десантника.

Немец снисходительно усмехается, делает шаг вперед, чтобы обыскать русского.

И тут Калугин смачно плюнул в его глаза. Да, да, просто плюнул, а тот, успокоенный покорностью русского, уверенный, что пленный в его руках, разумеется, не ждал ничего подобного. Поэтому отшатнулся. На

одно мгновение снял руки с автомата, прикрыл ими лицо.

Этого мгновения оказалось достаточно Саше Калугину, чтобы вернуть себе свободу...

Но для Норкина и эти два эпизода еще не вся биография Александра Калугина. Он прекрасно помнит и то, что было совсем недавно...

Батальон морской пехоты, которым Норкин теперь командовал, тогда вел бои еще на Кюстринском плацдарме под местечком, от названия которого в памяти только и зацепилось его окончание — «...дорф».

Пятые сутки рвались бомбы и снаряды. Пятые сутки моряки сдерживали натиск фашистов, которые с отчаянностью обреченных пытались сбросить их в Одер.

Пятые сутки земля дрожала от тяжелой поступи танков, а в воздухе сновали десятки самолетов. Может быть, и сотни: морякам считать было некогда, но что в небе их полно кружилось, это не только видели, это на своей шкуре почувствовали.

Окоп Александра Калугина был хорошо виден с командного пункта батальона. Калугин — истребитель танков. Он обязан, когда они появятся, встретить их гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью. Вернее — он не раз уже встречал их так за эти пять дней. И три танка даже уничтожил.

Ночью, когда умолкло последнее осипшее за день пальбы орудие, Норкин решил пройтись по окопам, поговорить с матросами, посмотреть, где и что случилось. Конечно, заглянул и к Калугину.

— Слышите, товарищ капитан третьего ранга? — спросил Калугин, когда Норкин встал рядом с ним.

Норкин прислушался. Ночь как ночь. Пахнет стorerшей взрывчаткой и остывающим железом.

И вдруг Норкин услышал голос. Кричал немец. Между нашими и немецкими окопами. На помощь звал.

— Не доби́ли гада, — заметил Калугин. Однако Норкин уловил, что в голосе его слышалось только раздумье. Человеческое раздумье над судьбой другого человека.

Крики немца слышали многие, они всех волновали. Командир роты даже приказал:

— Прекратить освещение переднего края ракетами!

Он давал немцам возможность подобрать своего раненого. Норкин мог бы своей властью отменить это при-

казание, но смолчал: он видел от немцев много зла, не испытывал к ним жалости в бою, а вот сейчас, как и остальные его товарищи, хотел, чтобы того дурака поскорее унесли с поля недавнего боя.

А немец все звал товарищей. Долго звал...

— Уши они там позатыкали, что ли? — злился Калугин.

Молчали немецкие окопы, будто вымерли.

Все жалостливее и слабее кричал тот...

— Не стреляйте! Мы сами его вытащим! — теперь уже этот вариант предложил командир роты.

У Норкина еще звенело в ушах от его крика, а десятки ракет уже взвились из немецких окопов. В их неровном мерцающем свете видны разбитые и обгоревшие танки, искалеченные орудия и трупы. Много трупов накопилось на «ничьей» земле за эти пять суток. И где-то среди них валялся тот немец, который звал на помощь. Звал настойчиво, теперь уже именем матери заклинал.

Огонь немцы ведут такой, что воздух стонет от пуль и осколков. Разве высунешься из окопов в таком аду?

Потом снова был день. Снова фашисты лезли на моряков, и снова те отбросили их.

Едва стихла пальба, моряки стали вслушиваться в ночь. И слышали:

— О-о-о... Муттер...

Теперь только ее изредка и слабым голосом звал раненый.

А еще немного погодя стоны прекратились, легкий шумок прошелестел с той стороны, где был окоп Александра Калугина. Кто-то уже побежал туда. Это заинтересовало Норкина, и он пошел следом.

В окопе он прежде всего увидел врача, а затем немца, откинувшегося на чьи-то ноги.

Рядом стоял Калугин. Встретив взгляд Норкина, он потупился. Похоже, чувствовал себя виноватым. Но перед кем? Может быть, перед своей матерью? За то, что рисковал ее счастьем, спасая врага?

Мать Саша Калугина... Норкин никогда не встречался с нею, но одно ее письмо еще в прошлом году случайно попало ему в руки и с тех пор стоит перед глазами. Вот оно, то письмо: «Дорогой наш ненаглядный сыночек Саша! Материнское тебе спасибо за слова ласковые, что в письме прислал. Прочитала я их и все плачу от радости, что не забыл ты меня, что заботаешься обо мне,

хотя над тобой самим смерть хороводом ходит. И за деньги тебе спасибо. Коляшке с Татьянкой учебники будут теперь, за что они и шлют низкий благодарный поклон тебе, старшему братику...»

Саша! Старший матрос Александр Калугин! Да расправь ты свои плечи, смотри прямо в глаза товарищей и расскажи им все это!

Так думал Норкин, глядя на Калугина, который по-прежнему комкал в руках свою бескозырку. Но сказал другое:

— Даю справку: товарищ Калугин с боями прошел от Сталинграда до Берлина. И еще под Ленинградом дрался. Это, как мне кажется, о многом говорит.

— Справка принимается, — кивнул Гридин и тут же предложил: — Может быть, выскажетесь и по существу заявления товарища Калугина?

— А я уже высказался. Когда наградной лист на него заполнял, — ответил Норкин.

Собрание одобрительно зашумело.

Дружно проголосовали коммунисты за то, чтобы Александр Калугин стал кандидатом в члены Коммунистической партии. Не успели опустить рук, — дежурный по батальону прокричал:

— Боевая тревога!

А еще через несколько минут от места недавней дневки батальона тронулась колонна грузовиков. В кузове каждого из них плотными рядами сидели моряки.

### 3

В распахнутое окно видны мутная Шпрее и катера, стоящие у одетой в камень кромки берега. Катера будто новенькие: недавняя покраска уничтожила подпалины, замаскировала шрамы, полученные в боях. И чехлы на орудиях и пулеметах. Белоснежные, еще похрустывающие. А флаги и вымпела — и того новее, и того краше.

Когда смотришь на катера, даже сам сомневаться начинаешь: а действительно ли это те самые, что еще в Сталинградской битве участвовали?

Есть и такие. Правда, немного. Норкин, глядя на них, невольно думает, что в скором времени они обязательно должны уйти на покой, обязательно должны стать памятниками. И стоять им надлежит там, где в жарких

боях покрыли они себя славой. И у проходных заводов. Тех самых заводов, которые даровали им жизнь.

Да, заслужили катера-ветераны почет. На века заслужили.

А что касается его, Норкина, то ему пока остается только мечтать об отдыхе. Насколько помнится, он всю войну мысленно и вслух твердил, что только наступит мир — немедленно завалится спать. Суток на двое. Или даже побольше того. Чтобы все тело сном насытилось.

Это пока только мечта. Хотя фашистская Германия и капитулировала безоговорочно, хотя вторая мировая война уже почти угасла, дел у него предостаточно. Да и только ли у него? И прежде всего потому, что здесь, в Германии, зачастую попирается самое элементарное, чему положено лежать в основе человеческого общества. Ну, допустимо ли, чтобы дети ходили голодными? Допустимо ли, чтобы пекарни не работали несколько дней, имея на складах муку?

А ведь все это встречается ежедневно. И только потому, что здесь, в Германии, за годы, пока у власти фашисты были, каждый о себе, о своей выгоде думать привык.

Конечно, заботы о местном населении возложены на советского коменданта. Но и ему, Норкину, кое-что делать приходится: на кого, как не на советскую воинскую часть, опираться коменданту?

И ночи сейчас, хотя мир и подписан, редкая без пальбы обходится. Поэтому ночами бронекатера и патрулируют по реке, а пешие матросы — по городу. Чтобы помешать какой-нибудь фашистской банде черное дело свершить.

Самое же главное и очень волнующее — что-то назревает на Дальнем Востоке. Матросы даже узнали, что некоторые армейские части в полном составе уже убыли из Германии. Куда убыли? Говорят, в Россию. Дескать, там их переформируют и отпустят по домам первую очередь демобилизованных.

Может быть, кого-то действительно демобилизуют. Но он, Норкин, сам лично видел, как солдат мелом написал во всю дверь теплушки: «Даем Порт-Артур!».

Правда, к нему тотчас подбежал ефрейтор, нашумел, заставил все написанное смыть начисто. Но не только он, Норкин, ту надпись успел прочесть. Вот и поползли по дивизиону шепотки, дескать, пора, давно пора указать самураям их место. А лично у него с Гридиным да-

же состоялся такой разговор, который начал он, Норкин:

— Я, Лешенька, навоевался — дальше некуда. И Катя с Витюшкой меня ждут, все глаза проглядели. Но просто неразумно сейчас, когда мы в такой силе, не сломать хребет и японским воякам. Или мало мы от них горя видели? Чтобы раз и навсегда поняли, что с нами жить нужно только в мире!.. Ты чего улыбаешься?

— Как не улыбаться, если это же самое мне и матросы, и офицеры ежедневно твердят? — засмеялся Гридин. — И все обязательно под это политическую платформу подводят: «Не для того наш народ в этой войне столько убитыми потерял, чтобы лет через десять его в новую войну втянули!».

Да, очень многих, невероятно многих мы потеряли...

Какая это страшная цифра, если помнить, что речь о людях идет. Леня, который уже после победы побывал в наркомате, поинтересовался судьбой тех, кто вместе с ним выпущен был из училища. Пошли навстречу, просмотрели списки и сказали, что к концу войны в строю осталось их только восемнадцать. А ведь было несколько сотен. Молодых, здоровущих, которым только бы жить и жить...

И сегодня дивизион волнует тот же вопрос: неужели командование обойдет его вниманием, откажет в доверии?

Чтобы не травить душу подобными мыслями, Норкин решительно отвернулся от окна, снова склонился над бумагами, лежавшими на столе. Сколько их, этих бумаг! И все нужные, срочные.

Он попытался сосредоточиться, но глаза невольно бежали к настольному календарю, останавливались на завтрашнем числе — 24 июня; оно было дважды подчеркнуто красным карандашом.

Да, завтра в Москве состоится Парад Победы. Как пояснил недавно Ясенов, каждый фронт на этом параде будет представлять сводный полк. И во главе его пойдет сам командующий фронтом! Самое же примечательное, уже сегодня радостно щемящее сердце, — к подножию Мавзолея будут брошены многие фашистские знамена и штандарты, захваченные в боях!..

И почему некоторым людям так везет? Они едут на Дальний Восток, чтобы сокрушить последнего врага, бряцающего оружием, или в Москву, на Парад Победы!

А вот ему, Норкину, на сей раз фортуна нахально спину показывает...

Долго в ту ночь не мог уснуть Норкин, а едва задремал — разбудили, принесли радиограмму:

«Комдиву-3 замполитом немедленно прибыть штаб». Прошло еще несколько минут — и они с Гридиным уселись в трофейный «мерседес», закрепленный за дивизионом.

— Как думаешь, Михаил Федорович, зачем вызывают? — спросил Гридин, когда машина вышла на шоссе и, чуть покачиваясь, понеслась между двух рядов кудрявых лип, готовящихся набрать цвет.

— А тебе, Лешенька, не кажется, что в подобных ситуациях ты всегда один вопрос задаешь?

— Может, все же туда перебросят? — продолжал наседать Гридин, не обратив внимания на то, что Норкин сейчас не расположен разговаривать.

— Твои слова да богу бы в уши, — буркнул в ответ Норкин теперь уже таким тоном, что Гридин обиделся и замолчал.

Какое-то время только и было слышно шуршание асфальта под шинами и гудение ветра, цеплявшегося за приопущенное стекло. Наконец шофер спросил:

— Прикажете через Берлин или по окружной?

За эти полтора месяца, что промелькнули после окончания войны, уже несколько раз Норкин побывал в Берлине. Нарочно ездил и один, и с матросами, чтобы на всю жизнь запомнить этот город, где долгие годы располагалась штаб-квартира кровавого фашизма, где бесноватый принимал военные парады, откуда на весь мир орала, что святой долг настоящего арийца — уничтожение с лица земли целых народов.

Но внешне Берлин — город как город. Большой, культурный. И народ в нем вроде бы обыкновенный. Настолько обыкновенный, что даже непонятно, как он смог столько лет терпеть такое вопиющее безобразие.

И Норкин ответил:

— Держись по окружной.

К штабу бригады подъехали около восьми часов. Думали, что успеют почиститься после дороги и поесть, пока начальство их примет, однако Голованов был уже в своем кабинете. Он поздоровался без обычной сердечности. Просто сунул свою ладонь в руку каждого и по-

казал глазами на стулья, стоявшие около его письменного стола.

Норкин с Гридиным переглянулись и замерли на стульях. Как им показалось, очень долго молчал Голованов. Недвижимо сидел за столом, навалившись на него грудью, и молчал. Потом все же еле выдавил из себя:

— Нет больше Ясенева, Михаил Федорович. Убили его.

Ясенева? Убили?!..

— Полчаса назад. — И тут адмиралу изменила поддержка, он закричал гневно, даже истерично: — Сколько раз я говорил вам всем, что ни офицерам, ни матросам нечего торчать на верхней палубе, если обстановка того не требует! Сколько раз твердил всем вам, что хотя безоговорочная капитуляция и подписана, здесь есть еще и фашистские банды и одиночки-фанатики!

Убили Ясенева... Убили сегодня, в день Парада Победы... Убили, когда после окончания войны минуло полтора месяца...

— Извините... Не затем я вас вызвал, чтобы сообщить эту трагическую новость, не затем, — опять вроде бы спокойно заговорил Голованов, однако Норкин почувствовал, каких усилий адмиралу стоило это кажущееся спокойствие. — Очень скоро в Потсдаме произойдет важнейшее событие. Такой важности событие произойдет, что... Короче говоря, Михаил Федорович, твоим людям там службу нести придется... Больше пока ничего сказать не могу. Не имею права... И тебе уже сегодня надлежит двигаться вот по этому адресу, — и Голованов протянул листок, где была напечатана только одна строчка. — Надеюсь, вопросов нет?.. Тогда идите, не теряйте времени. Оно, брат, такая штука...

## ЭПИЛОГ

Отшумел, отзвенел своими славными днями 1945 год. Только еще один год стал достоянием истории, а разве можно полностью перечислить все, что свершилось в его месяцы? Он оказался чрезвычайно богатым на события, повлиявшие на судьбу всего человечества.

В этот год рухнула не только фашистская Германия, ее участь постигла и милитаристскую Японию;

Потсдамская конференция по настоянию советской

делегации была вынуждена пойти на утверждение новых границ Польской Народной Республики и обсудить вообще широкий круг самых различных проблем, волновавших все человечество;

следствием победы Советской Армии над германским фашизмом явилось и то, что на социалистический путь развития встали некоторые страны Европы.

К сожалению, в этом же, столь славном 1945 году, на мировом небосклоне зло засверкали и первые зарницы холодной войны.

Отшумел, отзвенел своими славными днями 1945 год. И весело застучали по рельсам колеса эшелонов, в которых ехали по домам советские воины-победители. А вот сейчас, в 1946 году, настал черед и капитана третьего ранга Чигарева Владимира Петровича. И стоит он на перроне, стоит около того самого вагона, который доставит его в Саратов.

— Иди в вагон, Володя, — говорит Ольга. — Через десять минут поезд отходит.

— Через пятнадцать, — поправляет Чигарев и смотрит вдоль перрона. Да, через пятнадцать минут поезд отойдет, а Михаила все еще нет. Обещал прийти проститься и не пришел. Почему? Что могло помешать ему?

Чигарев достает из портсигара новую папиросу, закуривает, и немедленно Ольга говорит:

— Ты очень часто куришь... Может быть, он только пообещал?

Чигарев пожимает плечами: и откуда Ольга взяла такое? Просто пообещал! Разве можно обещать просто так, из вежливости? Нет, на Норкина это не похоже. Кроме того, и не такие у них взаимоотношения, чтобы расстаться не простившись. Четыре года вместе учились, да еще пять лет вместе служили, и не пожать друг другу руки при расставании? Скорее всего — занят Мишка... Даже смешно — Мишка! Не Мишка, а капитан второго ранга Норкин Михаил Федорович! Да и он, Чигарев, уже капитан третьего ранга. Отстал, конечно, от Михаила, но тут, пожалуй, здоровье виновато. Болит нога, болит. Из-за нее и демобилизуется капитан третьего ранга Чигарев. Едет к месту жительства в Саратов. Ох, и переполох же сейчас, наверное, дома! Мама загоняла отца, все готовится к встрече сыночка... Как-то пойдет гражданская жизнь?..

— Вовка, дьявол! — слышит Чигарев голос Норкина и оглядывается.

Сдвинув белую фуражку на затылок, Норкин продирается к вагону сквозь толпу провожающих. Нарядился как на парад: черная тужурка, все ордена, кортик. Сзади, прижимая к себе Витюшку, идет Катя. Она улыбается тепло, ласково. Чигарев невольно думает, что эти двое созданы друг для друга: оба непосредственные, прямые в словах и делах, оба непоседы.

— Заждался? — смеется Норкин, обнимая Чигарева. — Ей-богу, не виноват! В наркомат вызывали, — тут Норкин понизил голос. — Получил назначение на Тихий.

— И вы согласились? — спрашивает Ольга.

— Конечно! — отвечает Норкин.

— Разве он усидит на одном месте? — вступает в разговор Катя. — Он убежденный морской бродяга.

Ольга улыбается, но в душе удивлена: семейный человек, заслуженный, и едет в какую-то дыру! Неужели нельзя было попросить назначение хотя бы в Ленинград?

— Понимаешь, Вовка, бригаду предлагали, — с жаром продолжает Норкин.

— Рад за тебя, — говорит Чигарев. И он действительно рад и приходу Норкина, и его новому назначению, и тому, что Катя радуется вместе с мужем.

— Отказался я от бригады, — неожиданно говорит Норкин и смеется.

Чигарев удивленно поднимает бровь.

— Сначала начальником штаба послужу. Понимаешь...

— Товарищ капитан второго ранга, держите Витьку. У меня руки устали, — перебивает его Катя.

Норкин берет на руки сынишку. Тот восторженно улыбается и шлепает отца ладошкой по щеке.

— За что? — спрашивает Норкин и смеется.

— Не хвастайся! — отвечает Катя за сына.

— Помнишь, Вовка, когда он родился? — спрашивает Норкин.

Чигарев кивает. Он помнит не только то, что Виктор родился двадцать первого апреля, в тот день, когда Мишка вошел в Берлин, но и то ошалело-радостное лицо, какое было у Мишки, когда он впервые взял своего сына на руки. Больше года прошло с тех пор...

Разговор оборвался. Да и о чем говорить? Вчера все обсудили, а сегодня просто прощанье. Когда-то придется встретиться вновь, да и придется ли? Вот и стоят они у вагона, пряча грусть за обыденными фразами. Только Ольга неизменно покровительственно и снисходительно улыбается из окна вагона.

— От Сашки письмо получил. Грозится ко мне на практику приехать, — говорит Норкин.

— От Никишина? — оживляется Чигарев. — Как у него дела?

— Пишет, что хорошо. В нашем классе побывал, кубрике...

Да, училище. Сколько связано с ним воспоминаний...

— А Мараговский демобилизовался, — продолжает Норкин. — Сегодня случайно узнал. Выпустили его из тюрьмы по амнистии, год отслужил, а теперь демобилизовался.

О чем еще говорить?

— Володя, поезд сейчас отходит, — торопит Ольга.

— Ну, Вовка, — говорит Норкин и смотрит на Чигарева. Тот молча обнимает его.

— Не поминай лихом...

— Дружба не ржавеет, — отвечает Норкин.

Вот и тронулся поезд. На площадке мягкого вагона стоит Чигарев и машет рукой. Норкин прижимает к себе сынишку, который играет его орденами и медалями, и смотрит вслед поезду. Еще один товарищ по прошлым боям уехал от него... Где-то сейчас другие?

— Давай, Миша, Витюшку мне, — говорит Катя.

— Я не устал, — отвечает он и, нежно прижимая к себе сына, идет в город, помолодевший за этот год, в город, полный сил.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| Глава первая. Пока орудия не заряжены . . . . .   | 5   |
| Глава вторая. Готовность номер три . . . . .      | 40  |
| Глава третья. В ожидании бури . . . . .           | 79  |
| Глава четвертая. Под гвардейским флагом . . . . . | 108 |
| Глава пятая. Гвардия вошла в прорыв . . . . .     | 135 |
| Глава шестая «Карусель» . . . . .                 | 169 |
| Глава седьмая. Трое суток подвига . . . . .       | 200 |
| Глава восьмая. Даешь Пинск! . . . . .             | 230 |
| Глава девятая. Сокрушая врага . . . . .           | 263 |
| Глава десятая. Вперед, гвардия! . . . . .         | 303 |
| Глава одиннадцатая. Здравствуй, Победа! . . . . . | 345 |
| Эпилог . . . . .                                  | 363 |

Олег Константинович  
СЕЛЯНКИН

## ВПЕРЕД, ГВАРДИЯ!

Роман

Редактор И. Лепин  
Художник В. Аверкиев  
Художественный редактор Н. Горбунов  
Технический редактор В. Чувашов  
Корректоры Е. Евсеева, З. Капелькина,  
Л. Крамаренко

Сдано в набор 23/I-1975 г. Подписано в  
печать 14/IV-1975 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. типогр. № 2. Бум. л. 5,75; печ. л.  
11,5; усл.-печ. л. 19,32; уч.-изд. л. 20,277.  
ЛБ06301. Тираж 30000 экз. Цена 72 коп.  
Темплан 1975 г. Изд. № 19. Зак. 182.  
Пермское книжное издательство. 614000,  
Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типо-  
графия № 2 управления издательств, по-  
лиграфии и книжной торговли. 614001,  
Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Селянкин О. К.

С 29 Вперед, гвардия! Роман. Пермь, Кн. изд-во,  
1975.

366 с.

Роман о боевых действиях Днепровской речной флотилии во  
время Великой Отечественной войны.

С 0732—35  
М152(03)—75 19—75

Р 2

72 коп.